

Серия: «ПРАВО»

Bruno LEONI

FREEDOM AND THE LAW

Liberty Fund
Indianapolis

Бруно ЛЕОНИ

СВОБОДА И ЗАКОН



Москва 2008

УДК 340.13+34(37)

ББК 67.0

Л47

Редакционный совет серии:

В. Завадников (председатель),

П. Горелов, Дж. Дорн, М. ван Кревельд, Д. Лал,

Б. Линдси, Я. Романчук, Т. Палмер

Редколлегия: Ю. Кузнецов, А. Якимчук, Е. Болотова,

И. Комарова, А. Нагайцев, Е. Белова

Редактор серии: Ю. Кузнецов

Перевод: В. Кошкин

Научный редактор: А. Куряев

Леони Бруно

Л47 **Свобода и закон** / Бруно Леони ; пер. с англ. В. Кошкина под ред. А. Куряева. — М.: ИРИСЭН, 2008. 308 с. (Серия «Право»)

ISBN 5-91066-014-8

«Свобода и закон» — главное сочинение выдающегося итальянского юриста и общественного деятеля Бруно Леони, увидевшее свет в 1961 г. В этой книге автор утверждает, что главным препятствием для реализации принципа верховенства права является избыточное законодательство. На основе обзора римского права автор показывает, что, по мнению древних римлян, право представляло собой процесс открытия, а не набор официально принятых приказов. То есть исторически и традиционно «право» рассматривалось как нечто, открываемое судьями и юристами, а не отождествлялось с тем, что создают и за что голосуют группы законодателей. Это то, что использовали частные стороны судебного процесса для урегулирования разногласий и конфликтов друг с другом, а не воля государства или некоторых групп людей, силой навязываемая остальной части общества. Автор демонстрирует близкие параллели между рынком и обычным правом, с одной стороны, и социализмом и законодательством — с другой.

Вторая книга, входящая в этот том, называется «Закон и политика» и состоит из нескольких лекций, прочитанных автором в 1960-х годах. В них он анализирует идеи только что появившейся в то время школы общественного выбора, представленной Дунканом Блэком, Джеймсом Бьюкененом и Гордоном Таллоком.

Книга будет полезна студентам и преподавателям юридических специальностей, экономистам, социологам, политологам и всем, кто интересуется теорией и историей государства и права.

УДК 340.13+34(37)

ББК 67.0

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

ISBN 0-86597-097-X

ISBN 5-91066-014-8

© 1991, Liberty Fund, Inc.

© АНО «Институт распространения информации по социальным и экономическим наукам», 2008

Оглавление

От издателя	7
Предисловие к третьему изданию	9

СВОБОДА И ЗАКОН

Введение	17
Глава 1. О КАКОЙ СВОБОДЕ ИДЕТ РЕЧЬ	41
Глава 2. «СВОБОДА» И «ПРИНУЖДЕНИЕ»	59
Глава 3. СВОБОДА И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА	75
Глава 4. СВОБОДА И ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЗАКОНА	95
Глава 5. СВОБОДА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	115
Глава 6. СВОБОДА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО	133
Глава 7. СВОБОДА И ОБЩАЯ ВОЛЯ	155
Глава 8. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЕЙ	177
Заключение	197

ЗАКОН И ПОЛИТИКА

Введение	214
Глава 1. ЗАКОН КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИТЯЗАНИЕ	215
Глава 2. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЗАКОНА И ЭКОНОМИКИ	231
Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЛИТИЧЕСКОМУ	247
Глава 4. ГОЛОСОВАНИЕ VS. РЫНОК	265
Глоссарий	281
Предметно-именной указатель	291

От издателя

Серию «Право» продолжает книга выдающегося итальянского правоведа XX в. Бруно Леони «Свобода и закон», ставшая самой знаменитой работой этого автора. Она была изначально написана на английском языке на основе курса лекций, который Бруно Леони прочел в США в 1958 г., где выступал по приглашению Института свободы и конкурентного предпринимательства. Книга является классическим трудом по теории права, созданным в рамках европейской правовой традиции.

Одна из ключевых идей, на которых основывается концепция, представленная в книге Бруно Леони «Свобода и закон» — это проведение различия между правом и законодательством. Автор утверждает, что главным препятствием для реализации принципа верховенства права является избыточное законодательство. На основе обзора римского права он показывает, что, по мнению древних римлян, право представляло собой процесс открытия чего-то, существующего независимо от законодателя, а не набор официально принятых приказов или декретов. Понимание данного различия чрезвычайно актуально для совершенствования процесса правотворчества и правовой реформы в России и многих других постсоветских странах. К сожалению, от социалистической правовой системы нам в наследство досталось господство позитивистки-легистского понимания закона. Именно оно является одной из причин того, что до сих пор в рамках политической и правовой системы не удается преодолеть произвол со стороны законодателей, судей и правоприменителей, ведущий в конечном итоге к правовому хаосу.

Как показал Бруно Леони в данной книге, его подход может быть эффективно применен для анализа важнейших проблем правовой теории. Например, он демонстрирует, что кодификация права, которая была задумана как способ добиться большей определенности законов, на самом деле, в конечном счете влечет прямо противоположные результаты. Существование жесткого кодекса приводит к тому, что адаптация правовой системы с целью достижения справедливости в изменившихся обстоятельствах оказывается возможной только путем законодательства, а гипертрофия законодательной деятельности в долгосрочной перспективе служит причиной неустойчивости правовой системы.

Являясь одной из лучших аналитических работ, в которых сравнивается англосаксонская и континентальная системы, книга Бруно Леони представляет большой интерес с точки зрения сравнительного изучения правовых систем. Автор явным образом предпочитает системы, близкие первой из них, англосаксонской, так как в них роль законодательства сведена к минимуму, а правовые нормы не столько декретируются, сколько «открываются» в ходе разрешения правовых конфликтов, когда суд стремится найти справедливое решение. В этом отношении данная работа представляет большой интерес для России, где дискуссия о роли судов в создании новых и толковании существующих правовых норм регулярно вспыхивает со всевозрастающей интенсивностью.

В данное издание включена также серия лекций, объединенных названием «Закон и политика», прочитанных автором в 1960-х годах. Эта часть книги носит междисциплинарный характер и посвящена так называемой «школе общественного выбора», созданной американскими экономистами и юристами (один из них, Джеймс Бьюкенен, был отмечен за это нобелевской премией по экономике в 1986 г.). Эта работа Бруно Леони является ценным вкладом не только в правовую и политическую, но и в экономическую науку, а именно, в те ее разделы, которые ныне носят название «конституционная политическая экономия», «экономика и право» и «институциональная теория».

Редакционный совет серии принял решение издать книгу Бруно Леони на русском языке ввиду ее непреходящей ценности для современной правовой теории, а также актуальности для решения современных проблем, стоящих перед Россией и другими постсоветскими странами. Книга будет полезна и интересна всем читателям, интересующимся теорией права и современными политико-правовыми проблемами.

Валентин ЗАВАДНИКОВ
Председатель Редакционного совета
Ноябрь 2007 г.

Предисловие к третьему изданию

Вся жизнь Бруно Леони была служением либеральным идеалам. Бруно Леони исключительно был талантливым, умным, работоспособным, обладавшим даром убеждения и чрезвычайно разносторонним человеком, которого вполне можно было бы назвать «ренессансной личностью», если бы эти слова не употреблялись к месту и не к месту.

Бруно Леони родился 26 апреля 1913 года и прожил динамичную, насыщенную, мужественную и яркую жизнь ученого, юриста-практика, коммерсанта, архитектора-любителя, музыканта, знатока искусств, полиглота и прежде всего — защитника принципов личной свободы, в которую он так страстно верил. Он был деканом факультета политических наук и профессором теории права и теории государства Университета Павии, директором Института политических наук, а также основателем и редактором ежеквартального журнала *Il Politico* («Политик»). Как ученый он был востребован во всем мире: он читал лекции, например, в Оксфорде и Университете Манчестера (в Англии), в Вирджинском университете и Йеле (в США). Его адвокатская контора находилась в Турине, где он жил. Он принимал активное участие в работе туринского Центра методологических исследований. Иногда не находил время, чтобы писать колонки для миланской экономической и финансовой газеты «24 часа» (*24 Ore*). Его усилия по спасению жизни военнопленных союзников во время немецкой оккупации Северной Италии принесли ему не только золотые часы с гравировкой «Бруно Леони за доблестную службу союзникам, 1945», но и вечную благодарность людей, которых слишком много, чтобы упоминать здесь их имена. В сентябре 1967 года он был избран президентом Общества Мон-Пелерен на съезде Общества во французском городе Виши. Это произошло после того, как он долгие годы работал секретарем Общества, посвящая ему значительную часть своего времени и энергии.

Бруно Леони трагически погиб ночью 21 ноября 1967 года — на пике карьеры, в расцвете своих жизненных и творческих сил. От того, что ему не было дано завершить начатое им, стало беднее все мировое сообщество ученых.

Любому, кто хочет оценить глубину и широту интересов Леони, лучше всего начать со знакомства с двумя источниками. Избранные труды Бруно Леони, а также воспоминания его друзей и коллег можно найти в сборнике под названием «Памяти Бруно Леони» (*Ommagio a Bruno Leoni*), составленном и изданном доктором Паскуале Скарамоццино (Ed. A. Giuffrè, Milan, 1969). Даже поверхностное знакомство с текстами Леони убедит скептиков в широте его интересов и научной эрудиции. Другой источник — это составленный с большой тщательностью профессором Скарамоццино полный указатель к *Il Politico*, междисциплинарному ежеквартальному изданию, которое Леони основал в 1950 году.

С 1954 по 1959 год я имел честь, обязанность и удовольствие быть администратором шести программ под названием «Институт свободы и конкурентного предпринимательства», которые проходили в мужском колледже Клэрмонт (ныне — Клэрмонт Маккенна Колледж) в городе Клэрмонт, штат Калифорния. Цель ежегодных семинаров Института состояла в том, чтобы представить программу лекций по экономической теории и политическим наукам, рассчитанную на преподавателей смежных дисциплин в американских колледжах и университетах. Для каждой программы мы приглашали в качестве лекторов трех известных исследователей, так чтобы каждый из них представил свой анализ свободы как источник экономических и политических принципов, анализ развития механизмов свободного рынка и его функционирования, а также исследование философских оснований, особенностей, достоинств и недостатков системы частного предпринимательства.

Ежегодно в программе принимали участие примерно по 30 человек, отобранных из длинного списка кандидатов — большинство были профессорами и преподавателями экономической теории, политических наук, бизнес-администрирования, социологии и истории. Некоторые были сотрудниками исследовательских центров, писателями, время от времени среди участников встречались даже деканы. Всего в работе программы за шесть лет приняли участие 190 человек из 90 различных колледжей и университетов, расположенных в сорока разных штатах США, Канаде и Мексике.

Кроме Бруно Леони, лекции читали Армен Алчиан, Гётц Брифс, Рональд Коуз, Херрелл Де Графф, Аарон Директор, Милтон Фридмен, Фридрих Хайек, Герберт Хитон, Джон Джукс, Фрэнк Найт, Феликс Морли, Жак Рюэфф и Дэвид Маккорд Райт.

Каждый год, как минимум, один из лекторов был представителем европейской научной традиции, чтобы увеличить количество и улучшить качество международной интеллектуальной коммуникации.

Впервые я встретился с Бруно Леони в сентябре 1957 года на конференции Общества Мон-Пелерен в Сант-Морице (Швейцария). Мы оба были относительно новичками в Обществе и оба выступали с докладами на одном из заседаний. Вернувшись в США, я убедил моих коллег в том, что нужно пригласить Леони читать лекции на предстоящем семинаре Института свободы. Леони с готовностью согласился. В 1958 году Леони — вместе с Милтоном Фридменом и Фридрихом Хайеком (которые делали это во второй раз) — прочитал курс лекций в ходе пятого семинара Института свободы и конкурентного предпринимательства, проходившего с 15 по 28 июня. Это был впечатляющий состав преподавателей. Лекции Хайека впоследствии стали частью его книги «Конституция свободы», лекции Фридмена — книгой «Капитализм и свобода», а лекции Леони превратились в «Свободу и закон».

Те, кто имел возможность слушать эти лекции, вряд ли забыли их. Стимулирующая интеллектуальная атмосфера, дискуссии, продолжавшиеся далеко за полночь, дух товарищества — все вместе это было почти совершенством. Леони, великолепно владевший английским, французским, немецким и, конечно же, своим родным итальянским, читал свои лекции по-английски, пользуясь рукописными заметками. Я подозреваю, что он делал эти заметки, когда выдавалась свободная минута, и точно знаю, что он пользовался для этого теми клочками бумаги, которые попадались ему под руку. По мере того, как он больше узнавал аудиторию, он вносил в свои заметки поправки. Он даже привез с собой книжечку, которая принадлежала его отцу, — словарь американского сленга 20-х годов. Лекции и часть обсуждений были записаны на магнитофон.

Подгоняемый Флойдом (Болди) Харпером, при финансовой поддержке Фонда Уильяма Волкера (William Volker Fund), я подготовил черновой вариант «Свободы и закона» на основе этих заметок и магнитофонных записей. Позже с рукописью работал также профессиональный редактор. Эта работа велась с согласия автора, и мы пытались, насколько это возможно, сохранить соответствие оригиналу. Содержание этого тома настолько близко к курсу лекций, насколько позволяет письменное воспроизведение устной речи.

Исходные заметки, рукопись и аудиозаписи первоначально хранились в Институте гуманитарных исследований (Менло-Парк, Калифорния). Когда архив Института был перемещен в Университет Джорджа Мейсона, эти материалы поступили в архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета.

Первое издание «Свободы и закона» было опубликовано D. Van Nostrand Company (Принстон, Нью-Джерси) в 1961 году в издававшейся Фондом Уильяма Волкера серии по гуманитарным наукам. Второе издание, отличавшееся от первого новой версией написанного мной предисловия, было издано Nash Publishing Company (Лос-Анджелес) при поддержке Института гуманитарных исследований в 1972 году. Для настоящего издания я добавил к предисловию часть моего выступления, посвященного наследию Бруно Леони, на общем собрании Общества Мон-Пелерен в Сент-Винсенте (Италия) 1 сентября 1986 года.

Хотя большая часть работ Леони написана по-итальянски, это не относится к «Свободе и закону». На одной из встреч Общества Мон-Пелерен какой-то человек из Италии спрашивал меня: можно ли получить разрешение на итальянский перевод? Я с большим энтузиазмом согласился, но, насколько я знаю, из этого ничего не вышло*. Книга дважды переводилась на испанский: издательством *Centro de Estudios Sobre La Libertad* в Буэнос-Айресе в 1961 году и издательством *Biblioteca de la Libertad, Union Editorial* в Мадриде в 1974-м. Оба варианта носят название «La Libertad y La Ley».

Со времени первого издания «Свобода и закон» привлекала к себе значительное внимание специалистов по юриспру-

* В 1995 г. книга вышла в итальянском переводе в издательстве *Liberilibri* под названием *La liberta e la legge*. — Прим. перев.

денции и экономической теории. Например, в 1986 году «Фонд Свободы» (*Liberty Fund, Inc.*) провел две посвященные ей конференции. Одна состоялась в мае в Атланте, а другая — в сентябре в Турине. Большой доклад, подготовленный для конференции в Атланте Питером Эренсоном, — «Бруно Леони: оглядываясь назад» впоследствии был опубликован в летнем выпуске *Harvard Journal of Law and Public Policy* в 1988 году вместе с текстом Леонарда Лиджио и Томаса Палмера «“Свобода и закон”: заметка по поводу статьи профессора Эренсона».

По мнению многих читателей, «Свобода и закон» — это наиболее оригинальная и самая смелая из всех работ Леони, которая обещала, как писал Ф. А. Хайек, проложить мост «над пропастью, образовавшейся между теорией права и теориями общественных наук... Возможно, обилие идей, которые содержит эта книга, будет полностью очевидно только для тех, кто и сам уже работает в том же направлении. Сам Бруно Леони был бы последним, кто стал бы отрицать, что его книга только намечает путь и что остается еще много работы до того времени, как семена новых идей, которых в ней так много, смогут расцвести во всем своем великолепии».

Этот многообещающий мост, к сожалению, так и не был построен. В связи с публикацией третьего издания «Свободы и закона», а также некоторых лекций 1963 года мы искренне надеемся, что многочисленные ученики, коллеги, друзья и почитатели Бруно Леони продолжают его так внезапно оборвавшиеся труды, развивая и дополняя идеи и гипотезы, которые содержатся в этой книге.

Бруно Леони был выдающимся исследователем права и политической науки, который прекрасно разбирался в ключевых понятиях экономической теории. Я вспоминаю разностороннюю личность Бруно Леони — человека, которым я восхищался, которого я любил, общение с которым приносило мне наслаждение — со смешанным чувством скорби и радости.

Артур КЕМП,
почетный профессор экономической теории,
Клэрмонт Маккенна Колледж,
Клэрмонт, Калифорния.
Июнь 1990 г.

СВОБОДА И ЗАКОН

Введение

В наше время личную свободу защищают в основном экономисты, а не юристы и не специалисты в области политических наук.

Что касается юристов, то причина, возможно, в том, что они, можно сказать, вынуждены высказываться, используя свои профессиональные знания, то есть в терминах современных правовых систем. Как сказал бы лорд Бэкон: «Они говорят так, как будто они связаны». Современные правовые системы, с которыми они связаны, оставляют для свободы пространство, постоянно сокращающееся, подобно шагреневой коже.

Специалисты в области политических наук, с другой стороны, часто склонны думать о политике как об определенном рода технологии, подобной инженерным технологиям; такой подход включает представление, что специалистам по политической науке следует обращаться с людьми приблизительно так же, как инженеры обращаются с машинами и с заводами. Инженерный подход к политическим наукам действительно имеет очень мало общего с идеей личной свободы.

Конечно, отождествление политических наук с технологиями — это не единственная точка зрения. Политические науки можно также воспринимать как средство дать людям возможность вести себя так, как им нравится, а не так, как это считает правильным горстка технократов. К сожалению, такой подход сегодня встречается все реже и реже.

В свою очередь, знание законов можно рассматривать не только с точки зрения адвоката, который, защищая клиента, должен говорить так, как будто он связан. Если юрист достаточно хорошо знаком с законом, он очень хорошо знает, как работает правовая система в его стране (а иногда и как она не работает). Более того, если он знаком с историей вопроса, ему нетрудно сравнить между собой различные правовые системы, которые последовательно сменяли друг друга в одной и той же стране. Наконец, если ему известно, как работают или работали другие правовые системы в других странах, он может провести много ценных сравнений, что обычно недоступно ни экономисту, ни специалисту в сфере политических наук.

В действительности, свобода — это не только экономическое и политическое понятие; прежде всего, это понятие правовое, потому что из него с неизбежностью следует целый комплекс правовых последствий.

В то время как политический подход в указанном выше смысле является дополнительным по отношению к экономическому с точки зрения любой попытки переопределить понятие свободы, правовой подход является дополнительным по отношению к ним обоим.

Как бы то ни было, для успеха такой попытки не хватает еще чего-то. В течение столетий было сформулировано множество определений свободы, и не все из них были совместимы друг с другом. В результате однозначного определения свободы не существует.

Каждый человек может дать определение тому, что он считает свободой, но если он хочет, чтобы с его формулировкой согласились, он должен привести в ее пользу какие-нибудь действительно убедительные доводы. Разумеется, эта проблема не ограничивается определением свободы; она возникает применительно к любому определению, и, с моей точки зрения, несомненная заслуга современной аналитической философии состоит в том, что она указала на значение этой проблемы. Таким образом, для анализа понятия свободы, кроме экономического, политического и правового, потребуются еще и философский подход.

Достичь сочетания всех этих подходов — непростая задача. Дополнительные сложности связаны со спецификой сферы общественных наук и с тем, что их данные, по сравнению с данными так называемых естественных наук, нельзя однозначно подтвердить.

Несмотря на это, анализируя свободу, я попытался, насколько это возможно, рассматривать ее как некий параметр, а именно как психологическую установку. Я поступил так же с принуждением, которое, в некотором смысле, противоположность свободы, но также является психологической установкой: и со стороны тех, кто пытается осуществить принуждение, и со стороны тех, кто ощущает, что их принуждают.

Вряд ли можно отрицать, что в ходе изучения психологических установок обнаруживаются различия между ними, а также их возможные вариации, поэтому построенную на подтвержденных фактах универсальную теорию свободы и, соответственно, принуждения сформулировать затруднительно.

Это означает, что люди в политической системе, где свобода всех и каждого защищается от принуждения, все равно не могут избежать принуждения, как минимум, из-за того, что их собственная интерпретация свободы и, соответственно, принуждения не совпадает с доминирующей в этой системе интерпретацией.

Тем не менее было бы разумно предположить, что разные интерпретации разных людей в общем случае не различаются настолько, чтобы любая попытка создать теорию политической свободы была обречена на неудачу. Логично предположить, что по крайней мере внутри общества люди, которые пытаются принудить к чему-то других, и люди, которые пытаются избежать принуждения со стороны других, примерно одинаково понимают, что такое принуждение. Отсюда следует, что они примерно одинаково понимают, что такое отсутствие принуждения. Это предположение очень важно для теории свободы, понимаемой как отсутствие принуждения, которую мы развиваем в этой книге.

Чтобы избежать недопонимания, следует добавить, что теория свободы как отсутствия принуждения не проповедует отсутствия принуждения абсолютно во всех случаях, хотя это может показаться парадоксом. Есть такие ситуации, когда людей нужно принудить к чему-то, чтобы сохранить свободу других людей. Это совершенно очевидно, когда людей надо защитить от убийц и грабителей, хотя это совсем не так очевидно, когда такая защита распространяется на меры принуждения и, попутно, на свободы, которым не так просто дать определение.

Так или иначе, непредвзятое изучение происходящего в современном обществе показывает не только то, что принуждение неразрывно переплетается со свободой в попытке ее защитить, но, к несчастью, и то, что, согласно некоторым доктринам, по мере увеличения принуждения увеличивается и свобода. Или я глубоко заблуждаюсь, или это не просто явное недоразумение, но и зловещее предзнаменование для судьбы личной свободы в наше время.

Люди часто понимают под «свободой» (*freedom, liberty*) не просто отсутствие принуждения, но еще что-то — например, как сказал бы один уважаемый американский судья, «надежное состояние, позволяющее его обладателю получать удовольствие от жизни». Именно такие люди очень часто не осознают противоречий между этими двумя различными значениями

слова «свобода» и отказываются признавать неприятный факт, который заключается в том, что нельзя обрести свободу во втором смысле, не пожертвовав до известной степени свободой в первом смысле, и наоборот. Их синкретический взгляд на свободу основан на терминологической путанице.

Люди другого типа, те, кто борется за то, чтобы в обществе увеличилось принуждение ради увеличения «свободы», умалчивают о том, что «свободу» они имеют в виду свою собственную, а принуждение, которое они хотят увеличить, распространяется исключительно на других. В итоге «свобода», которую они проповедают, заключается в том, чтобы принудить других людей делать то, чего бы они никогда не сделали, если бы у них была свобода выбора.

Сегодня свобода и принуждение все в большей степени вращаются вокруг законодательства. Обычно люди хорошо понимают исключительную роль технологий в происходящих в современном обществе переменах. С другой стороны, они плохо представляют себе роль законодательства в происходящих переменах, при том что часто изменения в законодательстве не связаны с технологическим прогрессом. Еще меньше они осознают, до какой степени эти перемены в современном обществе зависят от тихой революции, которая произошла в современных представлениях о функции законодательства. Действительно, растущее значение законодательства почти во всех правовых системах мира составляет, вероятно, самую яркую особенность нашей эпохи наряду с технологическим и научным прогрессом. Пока в англосаксонских странах обычное право и суды ординарной юрисдикции теряют влияние по сравнению со статутным правом и административной юстицией, в странах с континентальной системой гражданское право переживает параллельный процесс и медленно тонет под грузом массового принятия законодательных актов, ежегодно пополняющих своды законов и собрания законодательства. Спустя всего 60 лет после принятия Гражданского кодекса в Германии и через 150 лет после принятия Кодекса Наполеона сама идея, что закон может не совпадать с законодательством, кажется странной и правоведам, и непрофессионалам.

Сегодня быстрое, рациональное и далеко идущее средство против всех зол и неудобств видят именно в законодательстве, по сравнению, скажем, с судебными решениями, частным арбитражем, обычаями, кутюмами и другого рода стихийными приспособи-

тельными реакциями индивидов. Почти никогда не замечают, что законодательное лекарство, возможно, действует слишком быстро, чтобы быть эффективным, слишком непредсказуемо, чтобы не иметь побочных последствий; кроме того, оно чересчур непосредственно связано с мнениями и интересами мизерной кучки людей (законодателей), кто бы они ни были, чтобы быть лекарством для всех. Даже когда это замечают, критика обычно направлена против конкретных законодательных актов, но не против законодательства как такового, а новое средство всегда ищут в новых, «улучшенных», законах, вместо того чтобы обратиться к чему-нибудь, совсем непохожему на законодательство.

Сторонники законодательства — имеются в виду сторонники законодательства как панацеи — оправдывают полное отождествление законодательства и права в современном обществе указаниями на непрерывные изменения, связанные с развитием технологий. Промышленное развитие, говорят нам, приносит огромное количество проблем, которые не в состоянии были бы решить ранее существовавшие в истории общества с их правовыми идеями.

Я полагаю, что у нас до сих пор нет доказательств того, что множество новых проблем, на которые указывают адвокаты раздутого законодательства, действительно связано с развитием технологий¹, а также того, что современное общество, считающее законодательство панацеей, имеет лучшие инструменты для их решения, чем предшествовавшие общества, которые никогда не отождествляли так нагло право и законодательство.

Внимание всех сторонников раздутого законодательства как якобы неизбежного спутника технологического и научного прогресса современного общества следует привлечь к тому, что развитие науки и технологий, с одной стороны, и развитие законодательства — с другой основаны на двух совершенно разных и даже противоречащих друг другу идеях. В самом деле, развитие науки и технологий в начале современной эпохи стало возможно именно потому, что стали применяться совсем не такие процедуры, как те, которые обычно приводят

¹ Например, вполне разумно утверждение, что всеобщее избирательное право породило такое же множество проблем, как и технологическое развитие, если не больше, хотя можно признать, что между технологическим прогрессом и всеобщим избирательным правом существует взаимосвязь.

к изменениям в законодательстве. Научные и технические исследования нуждались и продолжают нуждаться в личной инициативе и личной свободе, которые позволяют мнениям и идеям индивидов восторжествовать, часто над противостоящей им властью. С другой стороны, законодательство — это конечный пункт процесса, в котором власть всегда торжествует, часто над индивидуальной инициативой и свободой. В то время как научные и технические открытия всегда совершает относительно небольшое меньшинство конкретных людей, которые часто, если не всегда, противостоят невежественному или безразличному большинству, законодательство, особенно сегодня, всегда отражает волю сложившегося большинства в собрании законодателей, которое совсем не обязательно состоит из более просвещенных и образованных людей, чем его оппоненты. Там, где торжествуют власти и представители большинства, например, в законодательстве, индивиды должны покориться — вне зависимости от того, правы они или нет.

Другая характерная черта законодательства в современном обществе (кроме нескольких примеров прямой демократии в маленьких политических общинах типа швейцарских *Landsgemeinde*) состоит в том, что законодатели в процессе законотворчества как бы представляют граждан. Что бы это ни значило — а что это значит, мы постараемся выяснить в этой книге — совершенно очевидно, что представительство, как и законодательство, не имеет ничего общего с процедурами, установленными в интересах научно-технического прогресса. Сама мысль о том, что ученого или изобретателя в ходе научных или технологических исследований должны «представлять» другие люди, не менее нелепа, чем мысль, что научные исследования следует доверить не конкретным индивидам, которые действуют как отдельные люди, даже когда объединяются в команду, а какому-нибудь законодательному собранию, уполномоченному принять решение большинством голосов.

Тем не менее тот способ принятия решений, который был бы немедленно отброшен в сфере научных и технологических исследований, все больше и больше применяется в сфере права.

В итоге современное общество находится в ситуации своего рода шизофренической раздвоенности, которую, однако, не только не осуждают, но даже почти не замечают.

Люди ведут себя так, как если бы их потребности в личной инициативе и в праве лично принимать решения почти полно-

стью удовлетворялись фактом их личного доступа к плодам научно-технического прогресса. Как ни странно, их потребности в личной инициативе и праве лично принимать решения в правовой и политической сфере удовлетворяются с помощью церемониальных и чуть ли не магических процедур вроде выборов «представителей», которые, как предполагается, видимо, по наитию, обладают знанием о том, чего действительно хотят их избиратели, и в состоянии принимать решения, исходя из этого знания. Действительно, отдельные люди, по крайней мере на Западе, еще имеют возможность во многих отношениях принимать решения и действовать как личности: в торговле (как минимум, в значительной степени), в разговорах, в личных отношениях и во многих других видах социального взаимодействия. Однако они как будто бы раз и навсегда согласились с тем, что горстка людей, с которыми они, как правило, лично не знакомы, может решать, что должен делать каждый из них, причем границы компетенции этих людей либо неопределенно широки, либо практически отсутствуют.

То, что законодатели, как минимум, на Западе, пока не вмешиваются в такие области жизни людей, как их высказывания, выбор брачного партнера, путешествия или манера одеваться, обычно позволяет не обращать внимания на то, что на практике у них есть полномочия, чтобы вмешаться в любую из них. Однако другие страны, которые уже представляют собой картину совершенно другого рода, демонстрируют, насколько дальше в этом отношении могут зайти законодатели. С другой стороны, сегодня все меньше и меньше людей осознает, что, подобно тому как язык и мода возникают в результате стихийных действий и решений огромного числа отдельных людей, законы тоже могут быть результатом похожего процесса в других сферах.

Сегодня то, что нам не нужно доверять другим людям право решать, например, как нам разговаривать или проводить свободное время, мешает нам понять, что то же самое должно быть верно для огромной области других действий и решений, которые мы относим к сфере права. Наше нынешнее представление о законе находится под большим влиянием того, насколько огромное значение мы придаем законодательной функции, то есть воле других людей (кто бы они ни были) в отношении нашего повседневного поведения. Далее в этой книге я попытаюсь объяснить одно из главных последствий этого образа мыслей. Собственно, мы далеки от того, чтобы с помощью законодательства

достичь идеальной определенности закона, в том практическом смысле, который этот идеал должен иметь для каждого, кто планирует свое будущее и в силу этого обязан считаться с юридическими последствиями своих решений в будущем. Законодательство почти всегда является четко определенным до тех пор, пока оно «действует», но люди никогда не могут быть уверенными, что действующее (на сегодняшний день) законодательство будет действовать завтра или даже завтра утром. Правовая система, в центре которой находится законодательство, не просто включает возможность того, что другие люди (законодатели) имеют право каждый день вмешиваться в наши действия; эти люди также имеют право каждый день менять способ своего вмешательства. В результате люди не только не могут свободно решать, что им делать, они не в состоянии даже предвидеть юридических последствий своих действий.

Невозможно отрицать, что причины сегодняшнего положения дел — в раздутом законодательстве и в огромном росте квазизаконодательной или псевдозаконодательной деятельности со стороны правительства. Нельзя не согласиться с такими исследователями, как Джеймс Бернем из США, Дж. У. Китон из Англии и Ф. А. Хайек, которые в последнее время с горечью констатировали ослабление традиционных законодательных полномочий конгресса США и «смерть» британского парламента в результате расширения квазизаконодательных полномочий исполнительной власти. Однако нельзя упускать из виду того, что в основе непрерывно увеличивающихся полномочий чиновников исполнительной власти всегда лежит какой-нибудь законодательный акт, позволяющий им, в свою очередь, действовать в роли законодателей, а также вмешиваться в этом качестве, почти без ограничений, в любые частные действия и нарушать любые интересы частных лиц. Парадокс нашего времени состоит в том, что нами управляют люди, но не потому, что, как утверждала бы классическая теория Аристотеля, нами не управляют законы, а потому что как раз законы нами и управляют. В этой ситуации было бы практически бесполезно апеллировать к закону для защиты от таких людей. Сам Макиавелли не придумал бы более хитроумного устройства, чтобы облагородить волю тирана, который притворяется простым чиновником, действующим в рамках совершенно законной системы.

Тот, кто ценит личную свободу действий и решений, не может избежать вывода, что в системе что-то не в порядке.

Я не утверждаю, что следует вообще отказаться от законодательства. Вероятно, такого никогда не случилось ни в одной стране. Однако я настаиваю на том, что с того момента, когда оно достигает некоторого предела, за который современное общество вышло уже давно, законодательство практически несовместимо с личной инициативой и правом принятия решений.

Я вполне серьезно полагаю, что *те, кто ценит личную свободу, должны пересмотреть место индивида внутри правовой системы как таковой*. Это более не вопрос защиты той или иной конкретной свободы — торговать, высказываться, объединяться с другими людьми и т.п.; это более не вопрос о том, какое «хорошее» законодательство мы должны принять вместо «плохого». Это вопрос о том, совместима ли в принципе личная свобода с нынешней системой, в которой законодательство является центром правовой системы, а правовая система практически отождествляется с законодательством. Такая точка зрения может показаться радикальной. Я не отрицаю этого. Но иногда радикальные взгляды более продуктивны, чем синкретические теории, которые гораздо лучше скрывают проблемы, чем способствуют их решению.

К счастью, нам не нужно искать убежище в Утопии, чтобы найти правовые системы, отличающиеся от современных. Например, история Древнего Рима и Англии учит нас совсем не тому, что проповедуют современные сторонники раздутого законодательства. Сегодня на словах все превозносят законодательную мудрость древних римлян и англичан. Однако мало кто понимает, в чем заключалась эта мудрость, а именно, насколько независимы от законодательства были их системы в том, что касалось повседневной жизни людей, и насколько обширна была сфера личной свободы и в Древнем Риме, и в Англии в те века, когда их правовые системы переживали максимальный расцвет. Даже удивительно, для чего продолжать изучать историю римского и английского права, если не обращать внимания на эту ключевую особенность.

И римляне, и англичане разделяли мысль о том, что закон — это нечто, что нужно *открыть*, а не *вести в действие*, и что в обществе нет никого настолько могущественного, чтобы он мог отождествить свою волю с законом всей страны. В этих странах задача «открытия» закона была доверена юрисконсультам и судьям, соответственно; эти две категории людей сопоставимы, до определенной степени, с современными экспертами

в области права. Это кажется особенно поразительным в свете того, что римские магистраты, с одной стороны, и британский парламент, с другой стороны, в принципе обладали (а второй обладает и поныне) почти деспотической властью над гражданами.

В течение столетий даже на континенте правовая традиция совершенно не сводилась к законодательству. Принятие Свода гражданского права Юстиниана в странах континентальной Европы стало вызовом для местных юристов, перед которыми в очередной раз встала задача выяснить, в чем состоит закон, причем в значительной степени без оглядки на волю правителей этих стран. Таким образом, континентальное право вполне обоснованно получило название «права юристов» (*Juristenrecht*) и никогда не теряло своего характера, даже в эпоху абсолютизма, предшествовавшего Французской революции. Даже новая эпоха законодательства в начале XIX века началась с очень скромной мысли о том, что надо бы пересмотреть и переформулировать право юристов, переписав его заново в форме кодексов, но ни в коем случае не извратив его с их помощью. Считалось, что законодательство будет представлять собой компиляцию предшествовавших судебных решений, а его сторонники постоянно подчеркивали, что его главное достоинство — четкость и особенно краткость, по сравнению с хаотической массой отдельных юридических сочинений, принадлежащих перу разных юристов. В качестве параллельного феномена, писанные конституции были приняты на континенте в основном для того, чтобы зафиксировать на бумаге принципы, по частям уже сформулированные английскими судьями в отношении основ законодательства Англии. В континентальных странах Европы XIX века и кодексы, и конституции воспринимались как средство выразить закон, который никоим образом не совпадал с волей большинства людей, которые вводили эти кодексы и конституции.

Тем временем возрастание значимости законодательства в англосаксонских странах в основном имело ту же функцию и воплощало ту же идею: переформулировать и сократить тот закон, который сложился на основе многовековой практики судебных решений.

Сегодня и в англосаксонских странах, и на континенте картина изменилась почти до неузнаваемости. Обычное законода-

тельство и даже кодексы с конституциями все в большей и большей степени представляются в качестве прямого выражения воли большинства людей, которые их вводят, в то время как в основе часто лежит мысль о том, что роль этих актов в фиксации не тех законов, которые являются итогом многовекового развития, а тех, которые должны появиться в результате совершенно нового подхода и решений, не имеющих прецедента.

По мере того как человек с улицы постепенно привыкает к новой роли законодательства, он все больше и больше приучается к мысли о том, что оно соответствует не «общей» воле, то есть воле, которая по умолчанию присутствует у всех граждан, а выражению конкретной воли совершенно определенных людей и групп, которым повезло иметь на своей стороне в данный момент большинство законодателей.

Таким образом, законодательство претерпело весьма специфическую эволюцию. В результате оно все больше и больше напоминает диктат победившего большинства законодательных собраний по отношению к меньшинству; результатом этого часто бывает то, что привычные ожидания людей опрокидываются, а на смену им приходят совершенно новые. Проигравшее меньшинство, в свою очередь, приспосабливается к своему поражению только потому, что оно надеется раньше или позже стать победившим большинством и получить возможность относиться как к меньшинству к людям, которые пока составляют большинство. На самом деле, в законодательных собраниях большинство может создаваться и разрушаться в соответствии с регулярной процедурой, которую в наши дни методично анализируют некоторые американские исследователи; американские политики называют ее «взаимными услугами», а мы бы назвали «торговлей голосами». В каждом случае, когда группы представлены в законодательном собрании в недостаточной степени, чтобы навязать свою волю какой-либо не согласной с ними группе, они начинают торговлю голосами с максимально большим количеством нейтральных групп в законодательном собрании, чтобы группа-«жертва» оказалась в меньшинстве. Каждая из «нейтральных» групп, которая получает взятку сегодня, в свою очередь готова дать взятку другим группам, чтобы завтра навязать свою волю другим запланированным «жертвам». С помощью этой процедуры большинство законодательного собрания меняется, но всегда имеются «жертвы» и бенефициары, получающие выгоду за счет «жертв».

К несчастью, это не единственный серьезный недостаток раздувания, то есть инфляции, современного законодательного процесса. Законодательство всегда предусматривает определенного рода использование силы и неизбежное принуждение по отношению к индивидам, которые являются его объектами. Попытка рассматривать акты выбора, совершаемые индивидами в качестве членов группы, принимающей решения (например, избирательного округа или законодательного собрания), как эквивалент актов выбора, совершаемых в других областях человеческой деятельности (например на рынке), которую приняли в последнее время некоторые ученые, игнорирует фундаментальное различие между двумя этими типами выбора.

Это правда, что успех как акта выбора индивида на рынке, так и актов выбора индивидов в качестве членов группы, зависит от поведения других людей. Например, если никто ничего не продает, то никто ничего не может купить. Индивиды, выбирающие на рынке, так или иначе, всегда вольны отказаться от своего выбора целиком или частично в каждом случае, когда им не нравятся его возможные результаты. Хотя это и не бог весть что, но у индивидов, которые пытаются сделать выбор в качестве членов группы (избирательного округа, законодательного собрания или какой-нибудь другой), нет даже такой возможности. Решение, которое принимает часть, победившая внутри группы, считается решением, принятым группой; и проигравшие члены не вольны даже отбросить результат выбора, если он им не нравится, до тех пор пока они не покинут группу.

Сторонники раздутого законодательства могли бы утверждать, что все это — необходимое зло, если группы должны принимать решения и их решения должны иметь силу. Альтернатива состояла бы в том, чтобы разбивать группы на уменьшающиеся части, вплоть до отдельных индивидов. В этом случае группа не могла бы больше принимать решения как единое целое. Таким образом, потеря личной свободы — это цена, которая платится за подразумеваемые выгоды от того, что группа работает как единое целое.

Я не отрицаю, что часто групповые решения могут быть приняты только ценой утраты индивидом свободы выбора и одновременно свободы индивида отказаться делать выбор. Я хочу подчеркнуть только то, что групповые решения стоят такой цены гораздо реже, чем это могло бы показаться поверхностному наблюдателю.

Замена законодательством стихийного применения не введенных законодательными актами правил поведения оправдана только в том случае, если доказано, что правила поведения либо являются неопределенными и недостаточными, либо приводят к какому-то злу, которого законодательство позволит избежать, одновременно сохраняя преимущества предшествующей системы. Современным законодателям такая предварительная оценка просто не приходит в голову. Наоборот, они как будто считают, что законодательство — это благо само по себе, а бремя доказывания лежит на людях, которые выступают против него. Мое скромное замечание состоит в том, что подразумеваемый ими тезис «закон (даже плохой) лучше, чем ничего» должен быть в несколько большей степени, чем сейчас, подтвержден доказательствами.

В то же время вопрос о том, насколько далеко можно заходить с введением какого-либо законодательства, пытаясь одновременно сохранить личную свободу, можно решить только в том случае, если мы полностью осознаем, в какой степени самим процессом законодательства подразумевается принуждение.

Представляется бесспорным, что на этом основании необходимо отказаться от законодательства *во всех тех случаях, когда его используют исключительно как средство подчинить меньшинства и обращаться с ними как с проигравшими*. Также представляется бесспорным, что необходимо отказаться от законодательного процесса *во всех тех случаях, когда люди могут достичь своих целей вне зависимости от решений какой-либо группы и не принуждая других людей делать то, чего они никогда бы не сделали без принуждения*. Наконец, представляется совершенно очевидным, что *во всех тех случаях, когда возникает хотя бы тень сомнения относительно преимуществ законодательного процесса по сравнению с каким-либо иным процессом, имеющим целью определение правил нашего поведения, обращение к законодательному процессу должно быть итогом очень тщательной оценки*.

Интересно, что осталось бы от существующего законодательства, если бы его подвергли испытанию в соответствии с этими правилами.

Как провести такое испытание — совершенно иной вопрос. Я не утверждаю, что это легкая задача. Очевидно, что истеблишмент готов встать на защиту инфляции законодательного

процесса в современном обществе; не следует забывать и о пред-
 рассудках. Однако, если я не заблуждаюсь, рано или поздно
 каждый из нас столкнется с печальным результатом, который
 не обещает ничего, кроме постоянной нестабильности и общей
 подавленности.

Кажется, что в современном обществе нарушается очень древ-
 ний принцип — принцип, который есть уже в Писании и, задол-
 го до него, в конфуцианской философии: «Не делай другим того,
 чего ты не хотел бы, чтобы другие сделали тебе». Я не знаю ни
 одного принципа в современной философии, который был бы
 таким же ярким и кратким. Он может показаться примитивным
 по сравнению со сложными, иногда с украшениями в виде непо-
 нятных математических символов, формулами, которые так нра-
 вятся людям сегодня и в экономической теории, и в политичес-
 ких науках. Тем не менее принцип Конфуция и сегодня подходит
 для возрождения и сохранения личной свободы.

Несомненно, сложно обнаружить то, чего люди не хотели
 бы, чтобы с ними сделали другие. Но это все-таки легче, чем
 определить, что люди хотели бы сделать сами совместно с дру-
 гими. Общую волю, то есть волю, общую для каждого члена
 общества, гораздо легче определить в плане ее содержания «не-
 гативным» способом, как в конфуцианском принципе, чем
 любым из «позитивных» способов. Никто не стал бы оспари-
 вать то, что опрос любой группы с целью установить, что ее чле-
 ны *не* хотели бы претерпеть в результате прямого действия дру-
 гих людей, дал бы более ясные и более точные результаты, чем
 любой опрос людей относительно их желаний. В самом деле,
 знаменитое правило «самозащиты» (*self-protection*) Джона
 Стюарта Милля не просто можно свести к конфуцианскому
 принципу — только в таком виде его и можно применять, по-
 тому что никто не смог бы окончательно решить, что опасно,
 а что нет, для каждого отдельного индивида в данном обществе,
 не узнав в конце концов мнения каждого члена общества. Они
 все должны решить, что является опасным, и это на самом деле
 то, чего каждый не хотел бы, чтобы другие с ним сделали.

Опыт показывает, что в каком-то смысле в любой группе не
 существует меньшинств по отношению к целой серии того, что
 «нельзя делать». Даже те люди, которые, вероятно, готовы сде-
 лать это с другими, не хотят, чтобы другие делали это с ними.

Указать на эту простую истину — это не то же самое, что ска-
 зать, что в этом отношении разницы между группами или меж-

ду обществами не существует; и совсем не то же самое, что утверждать, что любая группа или общество на протяжении всей своей истории сохраняет одни и те же чувства и убеждения. Но никакой историзм и никакой релятивизм не могут помешать нам признать, что в любом обществе чувства и убеждения, относящиеся к действиям, которых нельзя делать, являются гораздо более однородными, чем любые другие чувства и убеждения, и что их гораздо легче идентифицировать. Законодательство, защищающее людей от того, что они не хотят, чтобы с ними делали другие люди, вероятно, будет легче определяемым и в большей степени успешным, чем любое законодательство, основанное на иных, «позитивных», желаниях тех же самых людей. Действительно, такие желания обычно не только куда менее однородны и совместимы друг с другом, чем «негативные», но, кроме того, их часто очень трудно определить.

Конечно, как подчеркивают некоторые теоретики, «всегда есть какая-то взаимосвязь между государственным аппаратом, который производит изменения в законодательстве, и общественным мнением сообщества, в котором планируется их применять»¹. Единственное затруднение состоит в том, что эта взаимосвязь может очень мало значить относительно «общественного мнения сообщества» (что бы это ни значило) и даже меньше — относительно выражения реальных мнений людей, которых эти изменения затрагивают. Во многих случаях такой вещи, как «общественное мнение», не существует; нет никаких оснований удостоивать титулом «общественного мнения» частные мнения групп и индивидов, которые случайно оказались в положении, позволяющем им принять закон, часто с ущербом для других групп и индивидов.

Утверждение, что законодательство «необходимо» во всех тех случаях, когда другими средствами не удастся «обнаружить» мнение заинтересованных лиц, было бы просто одним из способов уклониться от решения проблемы. Если другие средства не действуют, нет оснований предполагать, что подействует законодательство. Мы либо предполагаем, что «общественного мнения» по данному вопросу не существует, либо предполагаем, что оно существует, но его очень сложно обнаружить. В первом случае обращение к законодательству подразумевает, что

¹ W. Friedmann, *Law in a Changing Society* (London: Stevens & Sons, 1959), p. 7.

законодательство является хорошей альтернативой отсутствию «общественного мнения»; во втором случае обращение к законодательству подразумевает, что законодатели знают, как обнаружить то «общественное мнение», которое нельзя обнаружить другими способами. И в том, и в другом случае следует тщательно проверить соответствующее предположение до того, как прибегать к законодательному решению, но абсолютно очевидно, что как раз этого никто и не пытается делать, и уж меньше всех — законодатели. То, что альтернативный вариант (то есть законодательство) является пригодным или даже необходимым, просто принимается как данность, в том числе теоретиками, которым следовало бы быть разумнее. Им нравится заявлять, что «то, что некогда считалось более или менее техническим правом юристов, сегодня может быть основанием для насущных экономических и политических мер», то есть для нормативных актов¹. Так или иначе, и способ определить, что является «насущным», и критерии, которые требуются для того, чтобы признать нечто насущным, включая ссылки на «общественное мнение» по этому поводу, остаются не проясненными, в то время как возможность достичь удовлетворительного результата с помощью законодательного акта воспринимается как данность. Нужно только принять законодательный акт — и всё.

Исходя из рационального предположения о том, что у разных обществ не бывает одинаковых убеждений и, более того, многие чувства и убеждения трудно различить внутри одного и того же общества, нынешние сторонники раздутого законодательства приходят к поразительному заключению, что *вследствие этого* теми решениями, которые принимают живущие в обществе реальные люди, можно вообще пренебречь и заменить их решениями, которые принимает вместо них та кучка законодателей, которая в данный момент находится в большинстве.

С этой точки зрения, законодательство воспринимается как надежное средство сделать однородным то, что не было однородным, и установить правила там, где их не было. Таким образом, законодательство кажется рациональным или, как выразился бы Макс Вебер, является «одним из характерных компонентов процесса рационализации... проникающим во все сферы коллективного действия». Однако и Вебер позаботился о том, чтобы подчеркнуть это, с помощью расширения сферы за-

¹ Ibid., p. 30.

конодательства и угрозы применения силы, которая обеспечивает его эффективность, можно достичь только ограниченного успеха. Это объясняется не только тем, что, как отмечал Вебер, «самые жесткие меры принуждения и наказания обречены на неудачу там, где субъекты отказываются подчиняться», и тем, что «власть права над экономическим поведением субъектов во многих отношениях ослабла, а не выросла по сравнению с более ранними условиями». Сегодня во многих случаях законодательство может оказывать и оказывает негативное влияние на эффективность правил и на однородность чувств и убеждений, *уже господствующих* в обществе. Дело в том, что законодательство может также намеренно или случайно разрушить однородность, уничтожив традиционные правила и отменив существующие конвенции и договоренности, которые до его принятия действовали и сохранялись по добровольному согласию. Еще более разрушительное влияние оказывает то, что сама возможность отмены договоренностей и обычаев с помощью законодательного вмешательства в долгосрочной перспективе обычно приводит к тому, что люди перестают опираться на любые существующие конвенции и соблюдать любые согласованные договоренности. При этом постоянное изменение правил, вызванное раздутым законодательством, не позволяет последнему успешно и на длительное время заменить собой те не оформленные законодательно правила (традиции, обычаи, договоренности), которые разрушаются по ходу процесса. Таким образом, то, что можно было бы в начале назвать «рациональным» процессом, в конце оказывается процессом саморазрушения.

И это невозможно игнорировать, просто сказав, что идея «ограниченной» сферы государственного нормотворчества «утратила юридическую действительность и значение в современном обществе, все более индустриализирующемся и обретающем голос для выражения собственных интересов»¹.

Можно констатировать, что прозвучавший в начале прошлого века протест Савиньи против тенденции к кодификации и письменным нормативным актам в целом растаял в облаках истории. Можно также заметить, что в начале нашего века похожая судьба была уготована идее Ойгена Эрлиха об опоре на «живое право народа», а не на законодательство, принятое «представителями» народа. Тем не менее и по сей день не прозвучало

¹ Ibid., p. 4.

серьезных возражений на критику Савиньи и Эрлиха в адрес законодательства; более того, те проблемы, которые они поднимали в свое время, в нашу эпоху становятся все сложнее, а не замечать их становится все тяжелее.

Несомненно, одна из причин этого — в конвенциональной вере нашего времени в добродетели «представительной» демократии, которой не мешает то, что «представительство» кажется крайне сомнительным процессом даже тем экспертам, которые не рискнули бы повторить за Шумпетером, что современная представительная демократия — это «обман». Эта вера может препятствовать признанию того факта, что чем больше количество людей, которых пытается «представлять» законодатель в законодательном процессе, и чем больше количество вопросов, по которым он пытается их представлять, тем меньше слово «представительство» сохраняет связь с волей реальных людей, а не с волей людей, которые называются их «представителями».

Доказательство того, что централизованная экономика под управлением комитета директоров, который подавляет рыночные цены и действует без оглядки на них, не работает, оттого что в отсутствие непрерывной работы рынка директора не могут знать, какими будут спрос и предложение, полученное в начале двадцатых годов экономистами Максом Вебером, Б. Бруцкусом и, в более полном виде, Людвигом фон Мизесом, до сих пор выдержало все доводы оппонентов, в частности Оскара Ланге, Фреда Тейлора, Х. Д. Дикинсона и других сторонников решения проблемы посредством псевдоконкуренции*. На самом деле, это доказательство можно назвать самым существенным и долговечным вкладом экономистов нашего времени в дело личной свободы. *Тем не менее выводы из него можно рассматривать как частный случай более общего утверждения о том, что ни один законодатель не смог бы самостоятельно, без постоянного сотрудничества со всеми людьми, которых это касается, установить правила, регулирующие реальное поведение каждого человека в тех бесконечных отношениях, которые связывают каждого с каждым.* Никакие опросы общественного мнения, никакие референдумы, никакие консультации не смогут обеспечить законодателям возможность устанавливать эти правила, точно так же, как аналогичная процедура

* См.: Уэртаде Сото Х. Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция. Челябинск, М.: Социум, ИРИСЭН, 2008.

не смогла дать директорам в плановой экономике возможность обнаружить, какими будут спрос и предложение всех товаров и услуг. Реальное поведение людей состоит в том, что они постоянно приспосабливаются к меняющимся условиям. Более того, реальное поведение людей не следует путать с их мнениями, полученными, например, в результате социологических опросов; это не более разумно, чем отождествление словесного выражения желаний потребителей с «реальным» спросом на рынке. Отсюда следует неизбежный вывод: для того, чтобы вернуть слову «представительство» его исходное значение, следует радикально сократить или количество тех, кого «представляют», или количество вопросов, по которым якобы осуществляется «представительство», или и то, и другое.

Однако сложно допустить, что сокращение количества тех, кого представляют, можно совместить с личной свободой, если исходить из предположения, что они имеют право выразить свою волю, по меньшей мере как избиратели. С другой стороны, сокращение количества вопросов, по которым люди должны иметь представительство, определенно приводит к соответствующему расширению круга вопросов, по которым они могут свободно принимать решения в качестве индивидов, без всякого «представительства». *Таким образом, последний вариант — это, по-видимому, единственный путь, который остался для личной свободы в наше время.* Я не отрицаю, что те, кто привык пользоваться преимуществами процесса представительства в качестве представителей или членов представленных групп, после такого сокращения кое-что потеряют. Тем не менее очевидно, что они также должны выиграть от него во всех тех случаях, когда они стали бы запланированными «жертвами» неограниченного законодательного процесса. Конечный результат будет так же благоприятен для дела личной свободы, как, по Гоббсу, благоприятно для него эффективное ограничение, которое лишает все человеческие существа возможности посягать на жизнь и собственность других, тем самым освобождая их из достойного жалости состояния, которое он описывает как «войну всех против всех».

Действительно, то, с чем мы часто сталкиваемся сегодня, это не что иное, как потенциальная законодательная война всех против всех, которая ведется с помощью законодательства и представительства. Единственной альтернативой ей может быть такое положение дел, при котором эту войну невозможно

было бы вести или по крайней мере не в таких масштабах или не настолько опасными способами, как те, угроза которых существует сейчас.

Конечно, просто сокращение законодательной сферы не решило бы полностью проблему правовой организации нашего общества в пользу сохранения личной свободы; не в большей степени, чем законодательство сегодня разрешает эту проблему, шаг за шагом подавляя эту свободу.

Обычаи, неписанные правила, подразумеваемые условности, общие критерии, относящиеся к уместным решениям частных правовых проблем, с учетом изменений во мнениях людей в любой данный момент времени и в материальном фоне, на котором эти мнения сложились, — все это еще ждет открытия. Конечно, можно сказать, что этот процесс чрезвычайно сложен, иногда мучителен и очень часто обладает большой временной протяженностью. Да, он всегда был таким. Согласно опыту наших предков, обычный способ преодоления этих трудностей, как мы уже отмечали, — не только в англосаксонских странах, но повсюду на Западе — состоял в том, чтобы доверить этот процесс специально обученным людям, например, юристам и судьям. Сам по себе характер деятельности таких людей и степень их персональной инициативы в сфере выработки правовых решений — это до сих пор открытые вопросы. Невозможно отрицать, что юристы и судьи — тоже люди и их ресурсы ограничены, так же как нельзя отрицать, что они могут подвергаться искушению подменить непредвзятость ученого личной волей во всех тех случаях, когда дело неясное и касается их собственных заветных убеждений. Более того, можно сказать, что деятельность таких типов *honoratiore* («почтенных людей»*) в современном обществе, как представляется, с точки зрения истинной интерпретации воли народа, так же лишена основания, как и деятельность законодателей.

Однако положение юристов и судей в странах Запады, так же как и других *honoratiore* в подобных обществах в прошлом, фундаментально отличается от положения законодателей, как минимум, в трех очень важных аспектах. Во-первых, судьи,

* Возможно, автор употребляет этот термин в знак признательности Максy Веберу, который использовал его в качестве синонима для слова «нотабли», поскольку сравнение с римской знатью звучит все-таки чересчур радикально. — *Прим. перев.*

юристы или другие лица, находящиеся в том же положении, обязаны вмешиваться только тогда, когда их просят об этом заинтересованные в их вмешательстве люди, а их решение должно достигаться и вступать в силу только в процессе постоянного сотрудничества между сторонами и в рамках соответствующих ограничений, как минимум, в гражданских делах. Во-вторых, решение судей вступает в силу только по отношению к сторонам дела, и лишь иногда — по отношению к третьим сторонам, и практически никогда — по отношению к людям, которые никак не связаны с участниками дела. В-третьих, такие решения со стороны судей и юристов в очень редких случаях могут быть достигнуты без обращения к решениям других судей и юристов в похожих делах, в силу чего участники процесса находятся в состоянии косвенного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, и в прошлом, и в настоящем.

Все это означает, что у авторов этих решений нет реальной власти над другими гражданами, за исключением той власти, которую сами эти граждане готовы предоставить им своим требованием вынести решение по конкретному делу. Это также означает, что их власть дополнительно ограничена необходимостью для каждого решения ссылаться на решения, принятые по похожим делам другими судьями¹. Наконец, это означает, что весь процесс можно описать как непрерывное, широкое и в основном стихийное сотрудничество между судьями и судимыми, с целью в ходе судопроизводства обнаружить, в чем состоит воля народа в конкретном вопросе; сотрудничество, которое во многих аспектах можно сравнить с тем, которое существует между всеми участниками свободного рынка.

Если мы сопоставим положение судей и юристов с положением законодателей в современном обществе, нам будет легко понять, насколько большей властью над гражданами обладают последние и насколько менее верными, непредвзятыми и надежными являются их попытки «истолковать» волю народа, если они вообще пытаются это сделать.

В этом отношении юридическая система, в центре которой находится законодательство, в свою очередь, напоминает, как мы уже отметили, централизованную экономику,

¹ Особая позиция верховных судов в этом отношении — это только разновидность описанного выше общего принципа, и мы вернемся к этому позже.

в которой все существенные решения принимает кучка директоров, чьи знания об общей ситуации фатально ограничены и чье уважение к желаниям народа, если они вообще уважают его желания, страдает от последствий этой ограниченности.

Никакие торжественные титулы, пышные церемонии и энтузиазм аплодирующих масс не в состоянии скрыть того, что и законодатели, и директора в централизованной экономике такие же отдельные люди, как вы и я, не имеющие понятия о 99% того, что происходит вокруг них — о реальных сделках, договоренностях, установках, чувствах и убеждениях людей, которых все это затрагивает. Один из парадоксов нашей эпохи состоит в непрерывном отступлении традиционной религии перед наступлением науки и технологий, перед подразумеваемой требовательностью холодного и практического образа мыслей, которое сопровождается *не менее непрерывным отступлением от этой установки и образа мыслей в правовых и политических вопросах*. Мифология нашего времени — не религиозная, а политическая, и ее главные мифы — это «представительство» народа, с одной стороны, и харизматические претензии политических лидеров на обладание истиной и право действовать в соответствии с ней — с другой.

Парадокс также в том, что те самые экономисты, которые в настоящее время поддерживают свободный рынок, не включают в рассмотрение вопрос о том, может ли свободный рынок существовать на практике внутри правовой системы, центром которой является законодательство. Экономисты очень редко бывают юристами, и наоборот; вероятно, это объясняет, почему анализ экономических систем, с одной стороны, и анализ правовых систем — с другой, происходит отдельно друг от друга и почему в процессе редко учитываются взаимосвязи двух систем. Вероятно, в этом состоит причина, по которой жесткая взаимосвязь между рыночной экономикой и правовой системой, основанной на судьях и/или юристах, а не на законодательстве, осознается настолько хуже, чем следовало бы, хотя не менее жесткая связь централизованной экономики и законодательства является слишком очевидной, чтобы ее, в свою очередь, могли не замечать и специалисты, и публика.

Если я не заблуждаюсь, *между рыночной экономикой и прецедентным правом, или правом юристов, существует нечто большее, чем аналогия, так же как нечто гораздо боль-*

шее, чем аналогия, существует между плановой экономикой и законодательством. Если принять во внимание, что рыночная экономика была наиболее успешной в Риме и в англосаксонских странах в рамках, соответственно, права юристов и прецедентного права, представляется разумным вывод, что дело не в совпадении.

Все это, конечно, не означает, что законодательство не приносит пользы — за исключением тех случаев, когда оно сводится к определению того, чего «нельзя делать» в соответствии с общими чувствами и убеждениями людей, — в делах, по отношению к которым может иметься широкая заинтересованность в том, чтобы существовали какие-то определенные правила поведения, даже если те люди, которых они затрагивают, еще не пришли ни к каким выводам относительно того, каким должно быть содержание правил. Хорошо известно, что иногда люди предпочитают наличие хоть какого-нибудь правила его отсутствию. Это может происходить, например, в некоторых непредвиденных ситуациях. Именно потребность в каких-нибудь определенных правилах, возможно, является причиной, по которой, как говорил Карл Гильдебранд об архаических правовых установлениях древних римлян или как говорил Ойген Эрлих по поводу Свода гражданского права Юстиниана в Средние века, люди иногда склонны соглашаться терпеть негибкое, устаревшее или неудовлетворительное в других отношениях правило до тех пор, пока они не найдут более подходящего.

Проблема нашего времени, как представляется, является диаметрально противоположной; она заключается не в том, что приходится удовлетвориться неподходящими правилами из-за их фундаментальной нехватки и «нормативного голода», а в том, как избавиться от множества вредных или, как минимум, бесполезных правил из-за их гигантского перепроизводства и, так сказать, избытка правил, которые невозможно переварить.

В то же время невозможно отрицать, что право юристов или прецедентное право могут приобретать характеристики законодательства, в том числе нежелательные, во всех тех случаях, когда юристы или судьи правомочны принимать окончательное решение по делу. Что-то в этом роде, вероятно, произошло в постклассический период развития римского права, когда императоры даровали некоторым юрисконсультам полномочия

принимать судебные решения (*jus respondendi*^{*}), которые имели обязательную силу в данных обстоятельствах для всех судей. В наше время механизм судопроизводства в тех странах, где существуют «верховные суды», приводит к навязыванию личных мнений членов этих судов, или большинства членов такого суда, всем остальным людям, которых это касается, во всех тех случаях, когда имеются существенные разногласия между мнением первого и убеждениями последних. Однако, как я пытаюсь подчеркнуть в главе 8 этой книги, эта возможность не только не подразумевается с необходимостью природой права юристов или прецедентного права, но является скорее неким отклонением и несколько противоречивым случаем внедрения под невинной этикеткой законодательного процесса в право юристов или в прецедентную систему на их высшей ступени. Но этого отклонения можно избежать, и поэтому оно не представляет собой непреодолимого препятствия для удовлетворительного исполнения судебной функции, то есть установления воли народа. В конце концов, внутри сферы, предназначенной для исполнения судебной функции, а именно на высших ступенях правовой системы, вполне можно использовать сдержки и противовесы, точно так же, как они используются применительно к различным функциям и полномочиям нашей политической системы.

Необходимо сделать одно заключительное замечание. Здесь я имею дело в основном с общими принципами. Я не предлагаю конкретных решений для конкретных проблем. Однако я убежден, что найти такие решения гораздо проще, если пользоваться предложенными мной общими принципами, а не какими-нибудь другими.

Однако никакие абстрактные принципы не будут успешно работать сами по себе: чтобы они заработали, людям обязательно надо что-то сделать. Это относится к принципам, выдвинутым мной в этой книге, не меньше, чем к любым другим. Я не стремлюсь изменить мир, я хочу просто сформулировать несколько скромных идей, которые, если я не заблуждаюсь, следовало бы тщательно и без предвзятости рассмотреть перед тем, как сделать вывод, как делают сторонники раздутого законодательства, о том, что изменить ситуацию нельзя в принципе, и, хотя она не самая лучшая, но это неизбежная реакция на потребности современного общества.

* Право давать заключения по судебным делам. — *Прим. перев.*

Глава 1

О КАКОЙ СВОБОДЕ ИДЕТ РЕЧЬ

Выступая в Балтиморе в 1864 году, Авраам Линкольн признал и то, что понятие свободы трудно сформулировать, и то, что Гражданская война между Севером и Югом произошла, в каком-то смысле, из-за недоразумения, связанного с этим словом. «Мир, — сказал он, — никогда не имел хорошего определения слова “свобода”. ...Употребляя одно и то же слово, мы имеем в виду разные вещи»¹.

Действительно, дать определение «свободы» непросто; не просто и полностью осознать, что мы делаем, когда даем ей определение. Чтобы дать определение «свободы», нужно сначала решить, с какой целью мы это делаем. «Реалистический» подход снимает предварительные вопросы: «свобода» — это то, что просто «есть», и единственный вопрос состоит в том, чтобы найти правильные слова для ее описания.

Пример «реалистического» описания «свободы» можно найти у лорда Актона в начале его сочинения «История свободы»: «Под свободой я понимаю уверенность, что каждый человек, делающий то, что он считает своим долгом, должен быть защищен от влияния большинства, власти, мнения и обычая». Многие критики заметили бы, что нет оснований называть «свободой» только уверенность, что должен быть защищен каждый человек, делающий то, что он считает своим долгом (а не, например, своим *правом* или своим *удовольствием*); нет также оснований полагать, что ему должна быть гарантирована защита исключительно от большинства и власти, но не от меньшинства и не от отдельных граждан.

Собственно говоря, когда лорд Актон в 1877 году в Бридж-норте выступал со знаменитыми лекциями об истории свободы, уважение прав религиозных меньшинств большинством англичан и английскими властями продолжало оставаться одной из ключевых проблем политической жизни викторианской

¹ Цит. по: Maurice Cranston, *Freedom* (London: Longmans, Green & Co., 1953), p. 13.

эпохи в Великобритании. Только что, с отменой таких дискриминационных законов, как Акт о корпорациях (*Corporation Act*) 1661 года и Акт о присяге (*Test Act*) 1673 года, а также с началом допуска с 1870 года протестантских диссентеров и католиков (папистов, как их называли) в Оксфорд и Кембридж, так называемые свободные церкви выиграли битву, которая длилась два столетия. До того эти университеты были открыты только для студентов, принадлежавших к англиканской церкви. Как известно, лорд Актон сам был католиком и по этой причине не смог, хотя и хотел, пройти курс в Кембридже. Та «свобода», которую он имел в виду, была свободой, которую Франклин Делано Рузвельт в самом знаменитом из своих лозунгов назвал «религиозной свободой». Лорд Актон, католик, принадлежал к религиозному меньшинству в то время, когда в Англии уважение к религиозным меньшинствам начинало побеждать враждебность англиканского большинства и законодательные акты властей, такие, как, например, «Акт о корпорациях». Таким образом, под «свободой» он имел в виду «религиозную свободу». Вполне возможно, что так понимали «свободу» и члены «свободных церквей» Великобритании и многие другие люди викторианской эпохи, когда этот термин был явным образом связан в том числе с такими нормативными документами, как «Акт о корпорациях» и «Акт о присяге». Однако в своих лекциях лорд Актон изложил свою идею «свободы» как идею свободы как таковой.

Такое случается довольно часто. История политических идей демонстрирует целую серию определений, подобных определению лорда Актона.

Более тщательный подход к проблеме определения «свободы» будет включать предварительное расследование. «Свобода» — это прежде всего слово. Я не рискнул бы утверждать, что это *всего лишь* слово, как могли бы заявить некоторые представители современной аналитической школы под флагом того, что им кажется философской революцией. Мыслители, которые начинают с утверждения, что нечто — просто слово, и заканчивают заключением, что нечто — ничего, кроме слова, приводят мне на ум поговорку о том, что не следует выплескивать ребенка вместе с водой.

Однако то, что «свобода» — это прежде всего слово, требует, я полагаю, предварительных замечаний лингвистического характера.

Лингвистический анализ вызывает возрастающее внимание в некоторых сферах, особенно после Второй мировой войны, но он пока не очень популярен. Многим людям он не нравится, или же они не обращают на него внимания. Ученые мужи, не посвятившие себя философии и филологии, смотрят на него в большей или в меньшей степени как на праздное времяпрепровождение. Пример современной аналитической школы в философии также не внушает воодушевления. После того как аналитические философы обратились к лингвистическим проблемам и поставили их в центр своих исследований, они стали в большей степени склонны не к анализу, а к абсолютному разрушению самого значения слов, принадлежащих к политическому лексикону. Кроме того, лингвистический анализ — это непросто, но я бы сказал, что в наше время с его терминологической путаницей он особенно необходим.

Когда мы пытаемся дать определение или просто имя тому, что обычно называется «материальным» предметом, мы обнаруживаем, что нам довольно просто найти понимание у наших слушателей. Если возникает неопределенность относительно значения наших слов, то во избежание недоразумения достаточно просто указать на тот предмет, которому мы даем имя или определение. Таким образом, можно доказать, что два разных слова, относящихся к одному предмету, одно из которых употребляем мы, а другое — наш слушатель, имеют одинаковое значение. Можно заменить одно слово другим и тогда, когда мы говорим на том же языке, что и наш слушатель (как в случае синонимии), и тогда, когда мы говорим на разных языках (как в случае перевода).

Этот простой метод указывания на материальные предметы является основой для разговора между людьми, говорящими на разных языках, или между теми, кто говорит на языке, и теми, кто еще не говорит на нем, например, детьми. Именно благодаря этому европейские путешественники и естествоиспытатели достигали понимания с жителями других частей света; сегодня этот метод позволяет тысячам американских туристов отдыхать, к примеру, в Италии, не зная ни слова по-итальянски. Несмотря на это, их прекрасно понимают итальянские официанты, таксисты и швейцары. Общий фактор в разговоре — это возможность указывать на материальные предметы, например, еду, багаж и т.п. Конечно, не всегда возможно указать на материальные предметы, к которым относятся наши

слова. Но в каждом случае, когда два разных слова относятся к одному материальному предмету, они взаимозаменяемы. Представители естественных наук без особых трудностей договариваются об употреблении слов для обозначения новооткрытых явлений. Обычно они выбирают греческие или латинские слова, и этот метод вполне успешен, потому что неопределенность можно устранить, указав на то, какие именно явления обозначаются этими словами.

На ум приходит мудрый ответ старого конфуцианского учителя своему небесному ученику, очень юному китайскому императору. Учитель попросил его сказать, как зовут животных, которые повстречались им во время прогулки. «Это овцы», — сказал крошка император.

«Сын неба совершенно прав, — вежливо сказал педагог. — Мне следует только добавить, что этих овец обычно называют “свиньи”».

К несчастью, возникает гораздо больше трудностей, когда мы пытаемся дать определение нематериальным предметам и если наш слушатель не знает значения слова, которое мы употребляем. В этом случае мы не можем указать ему на какой-либо материальный объект. Мы понимаем друг друга совершенно другим способом, и нужно прибегнуть к совершенно другим способам, чтобы обнаружить общий фактор (если он есть) между нашим и его языком. Это кажется настолько банальным и самоочевидным, что не замечается или по крайней мере недостаточно подчеркивается, когда мы рассматриваем использование языка. Мы настолько привыкли к словарям, что забываем, как важно для нас было указывать на предметы в начале процесса обучения. Мы склонны думать о наших лингвистических достижениях в основном в терминах определений, которые можно просто прочесть в книге. В то же время, поскольку многие из этих определений относятся к материальным предметам, мы часто ведем себя так, как если бы нематериальные предметы просто «имелись» и вопрос заключался бы исключительно в том, чтобы прикрепить к ним словесное определение.

Это объясняет метафизические склонности тех греческих философов, которые занимались нематериальными вещами — например, справедливостью — так, как если бы они были подобны видимым, материальным вещам. Это также объясняет более поздние попытки дать определение «закону» и «государству», как если бы они были вещами вроде солнца и луны. Как

отмечает Гленвил Уильямс в своей недавно изданной (1945) статье о дискуссии вокруг слова «закон», английский юрист Джон Остин, прославленный отец юриспруденции, утверждал, что его определение «закона» соответствует «закону, определенному правильным образом», нимало не сомневаясь в существовании такого предмета, как «закон, определенный правильным образом». В наши дни очень близкий к взглядам Остина подход пропагандирует хорошо известный Ганс Кельзен, который хвалился в своей книге «Общая теория права и государства» (Hans Kelsen, *General Theory of Law and the State*; 1947) и продолжает хвалиться по сей день своим открытием: то, что «правильно» называть «государством», на самом деле представляет собой законный порядок.

Наивная вера в то, что можно легко дать определение нематериальным вещам, сразу кончается, как только мы пытаемся перевести, например, на итальянский или на французский, *юридические* термины, скажем, «траст» (*trust*), «право справедливости» (*equity*) или «обычное право» (*common law*). Во всех этих случаях мы не только не в состоянии указать ни на какой материальный предмет, который позволил бы итальянцу, французу или немцу понять, что мы имеем в виду; мы еще и не сможем найти такой итальянский, французский или немецкий словарь, в котором будут даны соответствующие слова этих языков. Таким образом, мы чувствуем, что при переходе от одного языка к другому что-то теряется. На самом деле, ничего не теряется. Проблема в том, что ни у французов, ни у итальянцев, ни у немцев нет таких понятий, которые обозначаются английскими словами *trust*, *equity* и *common law*. В каком-то смысле, *trust*, *equity* и *common law* — это *вещи*, но поскольку ни американцы, ни англичане не могут просто указать на них французам или итальянцам, им трудно достичь взаимопонимания.

Именно по этой причине до сих пор практически невозможно перевести английский или американский юридический текст на немецкий или итальянский языки. Многие слова невозможно перевести, потому что соответствующих им слов просто не существует. Вместо перевода следовало бы давать длинные, громоздкие и сложные *объяснения* исторического происхождения многочисленных институтов, их современного функционирования в англосаксонских странах и аналогичного функционирования похожих институтов (в случаях, когда они имеются) в странах континентальной Европы. В свою очередь, европейцы

не могут указать американцам или англичанам на какой-нибудь материальный предмет, чтобы объяснить им, что такое *conseil d'état* (государственный совет), *prefecture* (префектура), *cour de cassation* (кассационный суд), *corte costituzionale* (конституционный суд) и т.п.

Эти слова настолько сильно укоренены в определенных исторических реалиях, что мы не можем найти им соответствия в языках с другими историческими реалиями.

Конечно, те, кто изучает сравнительное право, неоднократно пытались преодолеть пропасть между континентальной и англосаксонской правовыми традициями. Например, существует совсем недавно появившаяся статья в составе «Право Соединенного королевства: библиографический указатель» (*Bibliographical Guide to the Law of the United Kingdom*), который издается Лондонским институтом правовых исследований (*London Institute of Advanced Legal Studies*) и предназначен в основном для иностранных ученых, то есть для теоретиков «гражданского права». Но статья — это не словарь, что, собственно, я и хотел подчеркнуть.

Таким образом, взаимное незнание связано с тем, что в разных странах существуют разные институты, а незнание собственной истории — с изменением институтов внутри страны. Как напоминает нам в своей недавно изданной книге «Аспекты справедливости» (Carleton Kemp Allen, *Aspects of Justice*; 1958) Карлтон Кемп Аллен, большинство средневековых английских отчетов о судебных делах сейчас невозможно читать не только потому, что, как он выражается, они написаны на «собачьей латыни» и «сучьем французском», но еще и потому, что у англичан (и у всех остальных) сейчас нет таких институтов.

К сожалению, это не единственная трудность, вытекающая из невозможности объяснить юридические понятия, указав на материальные предметы. Слова, которые звучат одинаково, могут иметь совершенно разное значение в зависимости от места и времени.

Так часто происходит со словами, которые не являются терминами, или со словами, которые изначально употреблялись терминологически, но вошли в обычный язык и стали употребляться без учета их терминологического смысла или даже без учета того, что у них вообще есть такой смысл. Очень жаль, что термины в узком смысле слова, например, термины юридического языка, вообще нельзя перевести на другие языки, но еще

больше жаль, что слова, которые не являются терминами или являются не только терминами, чересчур просто «перевести» на тот же самый язык, а также перевести их на другой язык родственными словами, имеющими схожее звучание. В первом случае начинают смешиваться слова, которые не являются синонимами, а во втором — люди, говорящие на другом языке, думают, что значение слова в их родном языке соответствует тому, на самом деле отличному, значению, которое имеет похожее слово в вашем языке.

С этой точки зрения, типичны многие термины, которые относятся и к языку экономики, и к языку политики. Немецкий философ Гегель однажды сказал, что каждый человек, не будучи юристом, может определить, является ли приемлемым институт права, так же как каждый человек может решить, подходит ему пара обуви или нет, и для этого не нужно быть сапожником. Этого нельзя сказать обо *всех* юридических институтах. Мало кого интересует подробное устройство таких юридических институтов, как контракты, доказательства в судебном процессе и т.п. Но многие люди считают, что политические и экономические институты — это как раз их дело. Например, они высказывают мнение, что правительства должны принять или не принимать такие-то и такие-то меры для того, чтобы улучшить, например, экономическую ситуацию в стране, или чтобы изменить условия международной торговли, или и то, и другое сразу.

Все эти люди используют то, что мы называем «обычным языком», в котором много слов, первоначально имевших терминологическое значение, скажем, в языке права или в языке экономической науки. В этих языках термины употребляются определенным и недвусмысленным образом. Но как только они начинают употребляться в обычном языке, они быстро становятся «не-терминами» или «недотерминами» (я употребляю приставку «недо» в том смысле, какой она имеет в слове «не-пропеченный»), потому что никому недосуг узнать, в чем состояло их терминологическое значение, или зафиксировать их новое значение в обычном языке.

Когда, например, люди говорят об «инфляции» в Америке, они обычно имеют в виду рост цен. Но до недавнего времени люди подразумевали под «инфляцией» (и в Италии это значение сохранилось) увеличение количества денег, находящихся в обращении в стране. Поэтому те экономисты, которые, как

Людвиг фон Мизес, считают, что рост цен является следствием увеличения количества денег, находящихся в обращении, горько сожалеют об этой терминологической путанице. Эти экономисты рассматривают употребление одного и того же слова «инфляция» как стимул для того, чтобы путать причину со следствием и принимать неправильные меры.

Другим поразительным примером подобного рода путаницы является современное употребление слова «демократия» разными людьми в разных странах. Это слово относится к языку политики и к истории политических институтов. Сейчас оно вошло также и в обычный язык, что стало причиной множества недоразумений, возникающих от того, что люди — для примера, простой американец и политические руководители России — используют одно и то же слово в совершенно разных значениях.

Я бы предположил, что причина, по которой со словами «недотерминами» часто возникает путаница, связана с тем, что в профессиональных языках (например, в языке политики) значение этих слов было изначально связано с другими терминами, которые не вошли в обычный язык по той простой причине, что их было трудно или невозможно «перевести». Таким образом, приложения, которые однозначно определяли слово в его исходном употреблении, были утрачены.

Например, «демократия» — термин, принадлежавший к политическому языку Греции времен Перикла. Мы не можем понять его значение, не обращаясь к таким терминам, как «полис», «демос», «эκκλησία», «изономия» и т.п., так же как мы не можем понять значение современного швейцарского «демократия», не обращаясь к таким терминам, как *Landsgemeinde*, референдум и т.д. Нужно заметить, что слова типа *эκκλησία*, полис, *Landsgemeinde* и референдум в других языках обычно цитируются, а не переводятся, потому что их нельзя перевести удовлетворительным образом.

Потеряв свою исходную связь с терминами, в обычном языке «недотермины» и «не-термины» приобретают чрезвычайно расплывчатое значение. Разные люди могут употреблять их в разном значении, хотя звучат они всегда одинаково. Что еще хуже разные значения одного и того же слова могут оказаться в определенных аспектах несовместимыми, и это постоянный источник не только недоразумений, но и ссор или даже более серьезных неприятностей.

Главные жертвы этой путаницы — политика и экономика, например, в случае, когда различные типы поведения, которые подразумеваются различными значениями одного и того же слова, оказываются несовместимыми друг с другом, и происходят попытки дать им всем место в одной и той же политико-правовой системе.

Я не утверждаю, что эта путаница, которая является одной из наиболее заметных особенностей современной истории стран Запада, относится исключительно к уровню языка, но она в том числе затрагивает и язык. Такие авторы, как Людвиг фон Мизес и Фридрих Хайек, неоднократно отмечали необходимость устранения терминологической путаницы не только в экономической науке, но и в политической. Специалисты должны сотрудничать в устранении терминологической путаницы в языке политики не в меньшей мере, чем в языке экономики; это очень важная задача. Конечно, эта путаница, как откровенно признает Мизес, не всегда случайна; иногда она связана со злонамеренными планами тех, кто стремится использовать знакомое звучание любимых людьми слов вроде «демократии», чтобы убедить других согласиться с новыми формами поведения¹. Однако это, вероятно, не единственное объяснение сложного феномена, который проявляется повсюду в мире.

В связи с этим мне вспоминаются слова Лейбница об опасности, угрожающей нашей цивилизации в связи с тем, что после изобретения печатного станка слишком много книг можно будет написать и распространить и слишком мало книг действительно будут прочитаны, а в результате мир может погрузиться в пучину нового варварства.

Фактически, в дело терминологической путаницы большой вклад внесли многие авторы, в основном философы. Некоторые из них использовали слова обычного языка, придавая им произвольные значения. Во многих случаях, употребляя то или иное слово, они не удосужились сообщить, что они имеют в виду; кроме того, они давали словам совершенно произвольные определения, которые имели мало общего со словарными определениями, но были приняты их читателями и учениками.

¹ Доказательства запланированной терминологической путаницы такого рода можно найти в книге: R. N. Carew-Hunt *Guide to Communist Jargon* (London: Geoffrey Bles, 1957).

По крайней мере в определенной степени, эта практика способствовала смешению значений в обычном языке.

Зачастую эти определения, якобы более верные и глубокие, чем обычные, были представлены как итог анализа свойств той таинственной «вещи», которой исследователи желали дать определение. Из-за взаимосвязи этической и политической сферы, с одной стороны, и сфер экономики и этики — с другой, некоторые философы способствовали, сознательно или бессознательно, возрастанию и так уже изрядной терминологической путаницы, а также возникновению внутренне противоречивых значений слов в обычном языке нашего времени.

Все, что я сказал по этому поводу, относится как к слову *freedom* (свобода), так и к его латинскому синониму *liberty* с производным последнего типа *liberal* (либерал, либеральный) и *liberalism* (либерализм).

Когда мы говорим о «свободе» на обычном языке или на профессиональных языках экономики и политики, к которым принадлежит этот термин, невозможно указать на материальный предмет. Более того, и в обычном языке, и в языках экономики и политики это слово имеет различные значения в соответствии с историческими обстоятельствами, в которых оно используется или использовалось. Например, мы не можем понять значения латинского термина *libertas* без обращения к таким терминам языка политики в Риме, как *res publica* и *jus civitatis* или к другим терминам, как то *manus* (которым обозначалась власть *patres familias* над их женами, детьми, рабами, землей, движимым имуществом и т.д.) и *manumissio*, которым обозначался правовой акт, или скорее правовая церемония, посредством которой раб менял свой статус и становился *libertus*. С другой стороны, мы не можем понять значения «свободы», *freedom* в языке политики современной Англии, не обращаясь к другим терминам, таким как *habeas corpus* и *rule of law*, которые, насколько мне известно, никогда не переводились на другие языки посредством точно соответствующих им слов.

Слово «свобода» (*freedom*) очень рано вошло в обычные языки западных стран, какой бы ни была его взаимосвязь с другими терминами. Раньше или позже, это привело к тому, что слово «свобода» оторвалось от связанных с ним терминов политического или экономического языка этих стран. Наконец, в течение последнего столетия слово «свобода» находилось в свободном плавании (как выразился бы современный автор).

Множество разных людей в разных местах по своему желанию меняли его смысл. Много новых значений, отличающихся от значений, уже принятых в обычных языках Запада, предложили философы. Хитроумные люди пытались использовать благоприятные коннотации этого слова, чтобы убедить других изменить свои способы поведения на новые и даже противоположные. Возникла путаница, которая увеличивалась и становилась все более угрожающей по мере того, как умножались различные употребления слова «свобода» в философии, экономике, политике, этике и т.д.

Обратимся к банальному примеру. Само слово *free* (свободный), как оно употребляется в обычном английском языке, может и соответствовать, и не соответствовать французскому слову *libre* или итальянскому *libero*. Конечно, и итальянцы, и французы употребляют это слово в некоторых значениях, которые соответствуют английскому и американскому употреблению, например, когда говорится, что американские негры стали *free* (свободными), то есть больше не были рабами, после Гражданской войны. Однако ни итальянцы, ни французы никогда не употребляют *libre* и *libero* так, как англичане и американцы употребляют *free* в значении, например, «бесплатный».

Стало обычным, особенно в наше время, говорить о свободе как об одном из базовых принципов хороших политических систем. Значение слова «свобода», когда оно употребляется для определения или названия этого принципа, сильно различается в обычном языке разных стран. Когда, например, полковник Насер или алжирские феллахи* сегодня говорят о своих «свободах» или о «свободе» своих стран, они имеют в виду исключительно (или также) нечто очень отличающееся от того, что имели в виду отцы-основатели в Декларации независимости и в первых десяти поправках к американской Конституции. Не все американцы склонны признавать это. Я не могу согласиться с такими авторами, как Честер Боулз, который в своей последней книге «Новые измерения мира» (Chester Bowles, *New Dimensions of Peace*, London, 1956) утверждает, что в этом аспекте между политическими установками английских поселенцев в американских колониях британской короны и, например, африканцев, индийцев и китайцев, которые сейчас восхваляют «свободу» в своих странах, мало или вообще нет разницы.

* Крестьяне. — Прим. ред.

Все народы мира в определенной степени подражали и во многих отношениях продолжают подражать английской и американской политическим системам. Европейцы завели себе несколько очень хороших с виду имитаций этих систем, что, в частности, объясняется тем, что их история и их цивилизация были отчасти похожи на историю и цивилизацию англоговорящих народов. Многие европейские страны, которым, в свою очередь, подражают их бывшие колонии по всему миру, ввели в свои политические системы нечто похожее на английский парламент или на американскую конституцию и, таким образом, льстят себе, пребывая в убеждении, что у них есть политическая свобода того же типа, как та, которая есть или была в прошлом у англичан и американцев. К несчастью, даже в странах, которые, как Италия, относятся к древнейшей европейской цивилизации, «свобода» как политический принцип означает совсем не то, что означало бы это слово, если бы оно было действительно связано, как в Англии и США, с институтом *habeas corpus* или с первыми десятью поправками к американской Конституции. Правила могут показаться почти такими же, но работают они по-другому. Ни граждане, ни чиновники не интерпретируют их так, как англичане и американцы; соответственно, и практика во многих отношениях сильно отличается.

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я не могу найти лучшего примера, чем то, что в Англии и США решения по уголовным делам должны приниматься — и действительно принимаются — посредством «скорого и публичного суда» (как призывает шестая поправка к Конституции США). В других странах, в том числе в Италии, несмотря на существование таких законов, как специальные статьи (например ст. 272) итальянского уголовно-процессуального кодекса (*Codice di Procedura Penale*), которые содержат некоторые требования, относящиеся к лицам, подозреваемым в преступлении и ожидающим суда в тюрьме, человек, которого обвиняют в преступлении, может находиться в предварительном заключении целый год или даже два. И когда его наконец признают виновным и выносят приговор, то иногда сразу же освобождают, потому что он уже отсидел в тюрьме весь назначенный ему срок. Разумеется, если его оправдывают, никто не в состоянии возместить ему те годы, которые он потратил в тюрьме. Иногда объясняют, что в Италии мало судей и не слишком хо-

рошо организовано судопроизводство, но очевидно, что общественное мнение недостаточно активно относится к этим недостаткам судебной системы, которые кажутся не настолько противоречащими принципу политической свободы, как это было бы для общественного мнения Англии или США.

Таким образом, «свобода», как термин, обозначающий общий политический принцип, может только на первый взгляд иметь одинаковое значение в разных политических системах. Следует также отметить, что это слово может иметь разные значения и разные подтексты в различные эпохи в истории одной и той же правовой системы, и, что еще более поразительно, оно может иметь разные значения в одно и то же время, в одной и той же системе в разных обстоятельствах и для разных людей.

Пример первой ситуации — это история призывной системы в англосаксонских странах. Вплоть до относительно недавних времен система военного призыва, по крайней мере в мирное время, и английским, и американским народами рассматривалась как нечто несовместимое с политической свободой. В то же время народы континентальной Европы, например, французы и немцы (или итальянцы, со второй половины XIX века), считали почти само собой разумеющимся, что они должны согласиться с тем, что воинская повинность — это необходимая черта их политических режимов, даже не задумываясь, могут ли такие политические системы называться «свободными». Мой отец, итальянец, рассказывал мне, что когда он первый раз поехал в Англию в 1912 году, он спрашивал у своих английских друзей, почему у них нет воинской повинности, несмотря на военную угрозу со стороны Германии. Он всегда получал один и тот же гордый ответ: «Потому что мы — свободный народ». Если бы мой покойный отец мог бы снова поехать в Англию или в Америку, он бы не услышал от простых американцев и англичан, что их страны перестали быть «свободными» из-за введения призыва. Просто за это время содержание понятия «политическая свобода» в этих странах поменялось. Из-за этих изменений произошла утрата взаимосвязей, которые ранее существовали по умолчанию; в результате появились противоречия, довольно странные на взгляд специалиста, но приемлемые для других людей, которые бессознательно или, наоборот, с готовностью воспринимают их в качестве естественных ингредиентов своей политической или экономической системы.

В качестве хорошего примера того, что я имею в виду под «противоречиями», можно привести беспрецедентные законные полномочия, предоставленные в наше время профсоюзам в США и Великобритании. По выражению Главного судьи Северной Ирландии, лорда Макдермота, которое он употребил в недавних «Хамлиновских лекциях» (Lord MacDermott, *Hamlyn Lectures*, 1957)*, Акт о профессиональных спорах (*Trade Disputes Act*) 1906 года «поставил профсоюзы в такое же привилегированное положение, в котором до 1947 года находилась британская корона в отношении правонарушений, совершенных в ее интересах». Этот закон предоставил иммунитет от судебного преследования таким действиям, совершенным вследствие договоренности двух или большего числа людей в ходе или в начале трудового конфликта, которые до этого всегда были основанием для судебного преследования; это относилось, например, к действиям, побуждающим к разрыву трудового соглашения, препятствующим другим людям в их профессиональной или предпринимательской деятельности или нарушающим права какого-либо индивида распорядиться по своему желанию собственным трудом или капиталом. Как подчеркивает лорд Макдермот, это очень широкая норма, которая может распространяться на действия, совершенные за пределами профессиональной деятельности и службы, и которая неизбежно должна приводить к ущербу или вреду для сторон, не являющихся участниками спора. Другой закон, Акт о профессиональных союзах (*Trade Union Act*) 1913 года, отмененный Актом о профессиональных спорах и профессиональных союзах (*Trade Disputes and Trade Union Act*) в 1927 году и полностью восстановленный Актом о профессиональных спорах и профессиональных союзах (*the Trade Disputes and Trade Union Act*) в 1946 году после возвращения лейбористов к власти, дал британским профсоюзам огромную политическую власть по отношению к их членам, а также власть над всей политической жизнью страны, разрешив им тратить деньги своих членов на цели, не относящиеся прямо к их уставной деятельности, и без консультаций с членами по поводу того, на что они хотели бы потратить свои деньги.

* Ежегодный цикл публичных лекций, с которыми выступают выдающиеся юристы, адвокаты судьи, и др.; тексты лекций выходят в издательстве Sweet & Maxwell. — *Прим. перев.*

До принятия этих законов о профсоюзах не было никаких сомнений, что значение политической «свободы» в Англии было связано с равными правовыми гарантиями для всех на беспрепятственное распоряжение собственным капиталом или трудом. После принятия этих законов в Великобритании больше нет защиты от всех, кто покушается на это право, и нет никаких сомнений, что это привело к поразительному системному противоречию, которое касается свободы и значения слова «свобода». Если вы — гражданин Великобритании, вы можете «свободно» распоряжаться принадлежащими вам трудом и капиталом в сделках с индивидами, но вы больше не можете свободно распоряжаться ими в сделках с людьми, принадлежащими к профсоюзам, или с людьми, действующими в интересах профсоюзов.

В США в законе Адамсона 1916 года, как пишет Вернон Орвэл Уоттс в своей блестящей монографии «Монополия профсоюзов» (Orval Watts, *Union Monopoly*, 1954), федеральное правительство впервые использовало свои силовые полномочия, чтобы осуществить то, чего профсоюзы, вероятно, «могли бы добиться лишь в результате долгой и изнурительной борьбы». Последовавший за ним закон Норриса—Ла Гардиа (Norris—La Guardia Act) 1932 года, который в известном смысле был американским близнецом английского Акта о профессиональных союзах 1906 года, ограничил право федеральных судей выносить судебные запреты в трудовых спорах. В американском и английском праве судебные запреты — это судебные постановления о том, что определенные люди не должны делать каких-либо вещей, способных причинить убытки такого рода, которые невозможно возместить посредством иска о компенсации вреда. Как отметил Уоттс: «...судебные запреты не создают законов. Они лишь используют на практике принципы уже существующих законов, и профсоюзы часто используют их с этой целью против работодателей и против конкурирующих профсоюзов». Изначально федеральные судьи обычно выносили судебные запреты в пользу работодателей во всех тех случаях, когда большое количество неплатежеспособных людей могло причинить убытки, действуя незаконным образом с незаконными целями, например, уничтожая чужую собственность. Американские суды обычно поступали так же, как поступали английские суды до 1906 года. Английский закон 1906 года был

задуман как «лекарство» для профсоюзов от решений английских судов, точно так же, как закон Норриса—Ла Гардиа 1932 года должен был защитить профсоюзы от постановлений американских судов. На первый взгляд может показаться, что американские и английские суды предвзято относились к профсоюзам. Об этом говорили многие и в США, и в Англии. На самом деле, суды применяли к профсоюзам исключительно те принципы, которые они всё еще применяют ко всем прочим людям, если они, скажем, вступают в заговор с целью повредить чужую собственность. Судьи не могли допустить, чтобы те самые принципы, которые охраняют людей от принуждения со стороны других, можно было не соблюдать, если на людей посягают члены или чиновники профсоюза. Выражение «свобода от принуждения» имело для судей четкое терминологическое значение, которым объяснялись судебные запреты, направленные на то, чтобы защитить работодателей, так же как и всех остальных, от принуждения со стороны других людей.

Несмотря на это, после принятия закона Норриса—Ла Гардиа каждый человек в стране стал «свободен» от принуждения со стороны всех остальных, кроме тех случаев, когда профсоюзные функционеры или члены профсоюза хотели принудить работодателей согласиться на их требования, угрожая причинить им вред или причиняя его на самом деле. Таким образом, с момента принятия американского закона Норриса—Ла Гардиа 1932 года выражение «свобода от принуждения» в конкретном случае судебных запретов изменило свое значение в Америке не в меньшей степени, чем в Англии после принятия Акта о профессиональных спорах 1906 года. В 1935 году американский закон Вагнера о трудовых отношениях (*Wagner Labor Relations Act*) дополнительно ухудшил положение, не только ограничив значение «свободы» для тех граждан, которые были еще и работодателями, но и явным образом изменив значение слова «вмешательство» и создав, таким образом, терминологическую путаницу, которая заслуживает упоминания в лингвистическом обзоре понятия «свобода». Как отметил Уоттс: «Никто не должен “вмешиваться” в легитимную деятельность любых других людей, если “вмешиваться” означает использовать силу, обман, угрозы, принуждение или оскорбления». Поэтому наемный работник не вмешивается в дела собственников «Дженерал Моторс», если он уходит работать

в «Крайслер». Однако, как отмечает в своей книге Уоттс, нельзя сказать, что он не вмешивается, если применять к его поведению критерии, использованные в законе Вагнера, чтобы установить, когда работодатель «вмешивается» в профсоюзную деятельность своих сотрудников — например, во всех тех случаях, когда при найме он отдает предпочтение людям, не состоящим в профсоюзе. Таким образом, совершенно потрясающий результат такого использования слова «вмешательство» состоит в том, что, в то время как люди из профсоюза не вмешиваются, когда они посредством незаконных действий принуждают работодателей согласиться на их условия, работодатели вмешиваются, когда они никого ни к чему не принуждают¹.

Тут вспоминаются некоторые другие удивительные определения, например, известный афоризм Прудона («Собственность — это кража») или история гоголевского Акакия Акакиевича, у которого разбойник отнимает шинель со словами: «А ведь шинель - то моя!» Если рассмотреть взаимосвязь в обычном языке слова «свобода» со словом «вмешательство», можно ясно представить себе, в какой степени изменения, подобные тем, которые мы только что описали, могут повлиять на значение слова «свобода».

Если мы зададимся вопросом, что на самом деле сегодня означает «свобода от принуждения» в политической и правовой системах Великобритании и США, то столкнемся с грандиозными трудностями. Если быть честными, то следует признать, что в зависимости от того, кого принуждают, существует более одного юридического значения термина «свобода от принуждения».

Вероятнее всего, эта ситуация связана с тем изменением смысла слова «свобода» в обычном языке, которое продвигают в настоящее время во всем мире чрезвычайно влиятельные лоббистские и пропагандистские группы. Мизес прав, когда говорит, что сторонники современного тоталитаризма попытались извратить слово «свобода», описывая с его помощью

¹ В недавно опубликованной статье «Правовые привилегии профсоюзов» (“Legal Immunities of Labor Unions”) Роско Паунд, декан Гарвардской школы права, предлагает подробное описание привилегий, которые предоставляют этим организациям закон США. Статья опубликована в сборнике статей: *Labor Unions and Public Policy* (Washington, D. C.: American Enterprise Association, 1958).

положение индивидов в такой системе, в которой они не имеют никаких прав, кроме права подчиняться другим.

Эта революция смысла, вероятно, в свою очередь, связана с рассуждениями некоторых философов, которые обожают определять свободу, в противовес всем традиционным значениям этого слова в обычном языке, как нечто подразумевающее принуждение. Так, Босанкет, английский последователь Гегеля, утверждал в «Философская теория государства» (Bosanquet, *Philosophical Theory of the State*, 1899): «...можно непротиворечиво утверждать, что нас принуждают к свободе». Я согласен с Морисом Крэнстоном, когда в своей недавно опубликованной статье он пишет, что такие определения свободы основаны по преимуществу на теории «раздвоенного человека», то есть человека как «психофизической единицы», которая одновременно является рациональной и «иррациональной». Таким образом, свобода будет подразумевать принуждение, которое рациональная часть человека осуществляет по отношению к иррациональной. Однако часто эти теории жестко связаны с понятием принуждения, которое самозванные «рациональные» люди могут применять от имени, но также иногда и против воли, якобы «иррациональных» людей. Наиболее известным из таких примеров мне представляется теория Платона. Его философская идея раздвоенности человека жестко связана с его политической идеей общества, в котором разумные люди должны править остальными, если это необходимо, то и без их согласия, — как хирурги, говорит он, которые режут и прижигают, не обращая внимания на крики пациентов.

Все трудности, на которые я указал, предупреждают нас, что нельзя использовать слово «свобода» и надеяться на понимание, если сначала не определить ясно то значение, которое мы в него вкладываем. Реалистический подход к определению «свободы» не принесет успеха. Вне зависимости от людей, которые о ней говорят, никакой «свободы» не существует; невозможно дать определение «свободы» тем же способом, каким мы даем определение материального объекта, на который каждый может указать.

Глава 2

«СВОБОДА» И «ПРИНУЖДЕНИЕ»

Более тщательный подход к определению «свободы», чем отвергнутый нами реалистический, будет связан с предварительным анализом природы и цели такого определения. Обычно различают «условные» и «лексикографические» определения. Оба типа определений описывают значение слова, но первый относится к значению, которое использует для данного слова автор определения, а второй относится к тому значению, в котором это слово употребляют обычные люди.

После Второй мировой войны появилась новая школа философии языка. Она признает существование языков, чья цель является не только дескриптивной или даже не является дескриптивной, языков, которые так называемый Венский кружок осудил за неправильность и бесполезность. Сторонники нового движения признают также недескриптивные (иногда их называют «персуазивные» или «аргументативные») языки. Цель персуазивных определений — не в том, чтобы описать вещи, а в том, чтобы придать обычным значениям слов позитивные коннотации и побудить людей усвоить определенные мнения или определенные формы поведения. Очевидно, что некоторые определения «свободы» могли быть изобретены — и так часто происходило в реальности — с целью побудить людей, например, выполнять приказы некоего вождя. Ученый не должен заниматься формулировкой персуазивных определений. В то же время он имеет право давать условные определения «свободы». Поступая так, исследователь может одновременно избежать упрека в использовании нечетких определений с целью ввести кого-либо в заблуждение и избавить себя от необходимости разрабатывать лексикографическое определение; трудности последней задачи очевидны, если вспомнить о множестве уже упоминавшихся значений слова «свобода».

На первый взгляд, решением проблемы могут быть условные определения. То, что мы оговариваем, зависит только от нас или, в крайнем случае, от партнера, с которым мы договариваемся

о том, что мы хотим определить. Когда лингвисты говорят об условных определениях, они подчеркивают их произвольный характер. Одним из доказательств этого служит энтузиазм, с которым сторонники условных определений ссылаются на авторитет человека, который не является или по крайней мере не считается философом. Этот авторитетный джентльмен — Льюис Кэрролл, великолепный автор «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье», описывающий невозможных и безумно изощренных персонажей, с которыми Алиса встречается во время своих странствий. У одного из них, Шалтая-Болтая, слова означали то, что ему хотелось, и за это он даже выплачивал им жалованье.

— Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, — сказал Шалтай презрительно.

— Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса.

— Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чем вопрос!¹

Когда аналитические философы говорят об условных определениях, они имеют в виду в основном логические и математические определения, то есть области, где каждый может начать с того места, где ему угодно, при условии, что он точно определяет термины, которые использует в своих рассуждениях. Не останавливаясь на сложных вопросах, связанных с содержанием логических и математических процедур, мы считаем себя обязанными предостеречь читателя от опасности, которая возникает, если не различать математические доказательства и рассуждения людей о «свободе» и подобных ей предметах. Разумеется, треугольник — это понятие, вне зависимости от того, является ли это понятие чем-нибудь еще, например, объектом опыта, интуитивным представлением и т.п. «Свобода» — это тоже понятие, но для многих людей это еще и смысл их жизни, то, за что, как они говорят, они готовы сражаться, то, без чего, как они говорят, они не могут жить. Я не думаю, что люди готовы сражаться за треугольники. Может, какие-

¹ Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), “Through the Looking Glass,” in *The Lewis Carroll Book*, ed. Richard Herrick (New York: Tudor Publishing Co., 1944), p. 238. [Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М.: Наука, Глав. редакция физ.-мат. лит.-ры, 1991.]

нибудь математики. Но многие люди говорят, что они готовы сражаться за свободу — так же, как они готовы сражаться за свою землю и за жизнь своих близких.

Это не панегирик в честь свободы. То, о чем я упомянул, легко проверить; это подтверждает история многих стран; это легко наблюдать в обыденной жизни. То, что люди готовы сражаться за то, что они называют своей «свободой», связано с тем, что они говорят, что они «сохранили», «потеряли» или «обрели вновь» свою «свободу», хотя они никогда не говорят, что они «сохранили», «потеряли» или «обрели вновь» треугольники или какие-нибудь другие геометрические понятия. С другой стороны, на свободу нельзя просто указать; она не является материальным предметом. Даже если рассматривать «свободу» как материальный предмет, она не может быть одной для всех, потому что существуют разные значения «свободы». Несмотря на это, мы, вероятно, можем сказать, что, по крайней мере, для каждого человека, который о ней говорит, «свобода» — это реальность, это определенная вещь. «Свобода» может быть ситуацией, которая отвечает требованиям тех, кто ее превозносит; она может быть объектом нечувственного опыта, связанного с осознанием нематериальных вещей, ценностей, веры и т.д. Вероятно, «свобода» — объект психологического опыта. Это означает, что обычные люди не считают ее просто словом, номинальной единицей, о значении которой достаточно договориться посредством условного определения, как в математике и логике.

В таких обстоятельствах я не уверен, можно ли дать условное определение свободы. Конечно, любое определение в какой-то степени является условным, поскольку оно подразумевает некоторого рода соглашение о том, как должно использоваться данное слово. Даже лексикографические определения не исключают условных элементов; например, когда описывается, что люди обозначают каким-то словом из нейтральной лексики во Франции или в Англии, или в обеих странах, или во всем мире. Например, можно оговорить в условиях то, какие языки будут учитываться при формулировке лексикографического определения, или то, как будет делаться выбор из разных значений одного и того же слова, которые даются в словарях. Однако во всех этих случаях мы всегда помним, что существует зафиксированное в общих словарях словоупотребление, которое мы не можем изменить посредством

специально оговариваемых условий, не проигнорировав те значения слов, в которых их действительно употребляют другие люди.

Специально оговариваемые условия — это просто инструменты, которые мы используем, чтобы передать другим нечто, что мы хотим им сообщить. Иными словами, это средство коммуникации и передачи информации; но саму информацию нельзя оговорить. Можно оговорить, что мы будем называть черное «белым», а белое «черным», но мы не можем оговорить конкретный сенсорный опыт, который мы передаем и которому мы произвольно даем имя «белого» или «черного». Оговорить условие возможно и даже полезно тогда, когда существует какой-то *общий фактор*, который и обеспечивает успешную коммуникацию. Таким общим фактором может быть непосредственное познание в математике или сенсорный опыт в физике, но сам этот фактор никогда не оговаривается. Во всех случаях, когда кажется, что оговоренное условие основано на другом оговоренном условии, это просто означает, что задача выявления общего фактора, который обеспечивает функционирование коммуникации, отложена; ее нельзя игнорировать. Будь Шалтай-Болтай не персонажем детской сказки, а реальным человеком, оговаривающим с другими людьми условия использования конкретного слова, здесь находился бы предел его власти.

Таким образом, давать условное определение «свободы», которое не передавало бы другим людям некую информацию, уже содержащуюся в значении этого слова, как его понимают люди, было бы практически бесполезно; и если бы, рассуждая об условных определениях, теоретики принимали бы во внимание такие вещи, как «свобода», то такое определение можно было бы подвергнуть сомнению.

Значит, чтобы условное определение «свободы» имело смысл, оно должно передавать какую-то информацию. Сомнительно, чтобы какая-либо информация, известная только автору определения, представляла интерес для людей, которые не имеют отношения к содержанию этой информации. Информация совершенно личного характера вряд ли заинтересовала бы других. Действительно, ведь было бы невозможно сообщить ее другим людям. Исключительно условное определение «свободы» не смогло бы избежать этого недостатка. Во всех тех случаях, когда политические философы предлага-

ли условные определения «свободы», они хотели не только передать информацию о своих личных чувствах и убеждениях, но и напомнить другим людям о тех чувствах и убеждениях, которые, по их мнению, были общими для их аудитории. В этом смысле условные определения «свободы», которые время от времени предлагаются политическими философами, тоже в той или иной степени имеют отношение к обычному употреблению слова «свобода» и, следовательно, к его лексикографическому анализу.

Таким образом, в конечном счете действительно полезным определением свободы должно быть лексикографическое определение — вне зависимости от того, что с этим будут связаны трудности лексикографического анализа.

Итак, «свобода» — это слово, которое люди используют в обычном языке для обозначения психологического опыта особого типа. Этот опыт бывает разным в разное время и в разных местах; он связан с абстрактными понятиями и терминами, но его нельзя приравнять к абстрактному понятию или редуцировать до обычного слова. Наконец, вполне возможно и, вероятно, полезно или даже необходимо сформулировать условное определение «свободы»; но им нельзя ограничиться, потому что только лексикографические разыскания могут выявить те значения, которые люди действительно приписывают этому слову в обиходе.

«Свобода», между прочим, это слово с положительными коннотациями. Может быть, полезно добавить, что «свобода» стала «сладким словом» потому, что люди используют его для указания на свою позитивную установку по отношению к тому, что они называют «быть свободными». Как заметил Морис Крэнстон в своей процитированной выше книге «Свобода» (*Freedom*; London, 1953), люди никогда не говорят «я свободен», имея в виду, что у них нет чего-то, что они считают хорошим для себя. Никто, во всяком случае в повседневной жизни, не говорит «я свободен от денег» или «я свободен от здоровья». Чтобы выразить свое отношение к отсутствию чего-то хорошего, люди используют другие слова: они говорят, что испытывают нужду в чем-то, и, насколько я знаю, так обстоит дело во всех живых и мертвых европейских языках. Иными словами, быть «свободным» от чего-то означает «быть без чего-то, что не является хорошим для нас», тогда как, с другой стороны, нуждаться в чем-то означает «быть без чего-то хорошего».

Конечно, свобода означает не очень много, когда к ней добавлено только «от чего-то», и мы также ожидаем от людей, чтобы они сказали нам, что́ они могут делать свободно. Однако кажется несомненным присутствие негативной импликации в слове «свобода» и некоторых родственных словах, например, «свободный». Эта негативная импликация также присутствует в словах, родственных термину *liberty*, который представляет собой латинское соответствие «свободы-freedom» и не является словом с другим значением¹. Например, «либерал» — это слово, с которым и в Европе, и в Америке связано негативное отношение к «принуждению», вне зависимости от свойств «принуждения», которое, в свою очередь, совершенно по-разному воспринимается американскими и европейскими «либералами».

Таким образом, в обычном языке «свобода» и «принуждение» выступают как противоположные термины. Конечно, людям может нравиться «принуждение» или некоторые его виды, как нравилось оно офицерам русской армии, про которых Толстой сказал, что они ценили в военной жизни ее «обязательную и безупречную праздность»*. Гораздо больше людей в мире любят «принуждение», чем мы это себе представляем. Аристотель сделал глубокое замечание, когда он сказал в начале своего трактата о политике, что люди делятся на две категории: на тех, кто рожден для власти, и на тех, кто рожден, чтобы повиноваться властителям. Но даже если людям нравится принуждение, с точки зрения словоупотребления, было бы неправильно сказать, что «принуждение» — это свобода. Несмотря на это, мысль о том, что «принуждение» иногда очень тесно связано со свободой, как минимум, столь же стара, как история западных политических теорий.

Я полагаю, что главная причина этого в том, что ни о ком нельзя сказать, что он «свободен от» других людей, если другие люди «свободны» каким-либо образом принудить его. Иными словами, каждый человек «свободен», если он может каким-либо способом принудить других людей не принуждать его к чему-либо. В этом смысле «свобода» и «принуждение» неизбежно связаны друг с другом, и, когда люди говорят о свободе, об этом, возможно, слишком часто забывают. Однако

¹ Несмотря на противоположное мнение Герберта Рида (его приводит Морис Крэнстон: Maurice Cranston, *op. cit.*, p. 44).

* Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 2. Часть 4 (I). — *Прим. ред.*

сама по себе «свобода» в обычном языке никогда не бывает принуждением, и то принуждение, которое неразрывно связано со свободой, это исключительно негативное принуждение, то есть принуждение, единственная цель которого состоит в том, чтобы другие люди, в свою очередь, отказались от принуждения. Все это не просто игра слов. Это очень краткое описание значения слов в обычном языке политических обществ во всех тех случаях, когда у индивидов есть какая-либо внушающая уважение власть, или, как можно было бы сказать, во всех тех случаях, когда у них есть власть негативного порядка, дающая им право называться «свободными».

В этом смысле можно сказать, что «свободный рынок» также неизбежно подразумевает идею «принуждения» в том смысле, что все участники рынка обладают властью применять ограничения против других людей, например, против грабителей и воров. И это не комбинация «свободного рынка» и какой-то дополнительной власти, осуществляющей принуждение. Основой свободного рынка является положение, при котором те, кто участвует в рыночных сделках, обладают властью осуществлять принуждение по отношению к врагам свободного рынка. Эту особенность в недостаточной степени подчеркивают те авторы, которые, сосредоточив свое внимание на «свободном рынке», в конце концов начинают трактовать его как чистую противоположность государственного принуждения.

Так, например, профессор Мизес, чья непреклонная защита «свободного рынка», основанная на ясной и убедительной аргументации в сочетании с великолепным владением проблематикой, вызывает мое глубокое восхищение, утверждает, что «политическая и личная свобода — это термины, употребляемые для описания социальных условий индивидов в рыночном обществе, в котором власть необходимой гегемонической связи, государства, ограничена, чтобы она не ставила под угрозу функционирование рынка»¹. Отметим здесь, что Мизес характеризует гегемонические связи государства как «необходимые», но под свободой имеет в виду «ограничения, налагаемые на применение полицейской власти»², при этом не оговаривая (что я считал бы разумным с точки зрения сторонника свободы торговли),

¹ Ludwig von Mises, *Human Action: A Treatise on Economics* (New Haven: Yale University Press, 1949), p. 281.

² Ibid.

что свобода означает также ограничения, наложенные на любого другого, кто вмешивается в функционирование свободного рынка. Как только мы признаем такое значение свободы, характеризующие государство гегемонические связи становятся не только тем, что следует ограничить, но также, и я бы сказал, прежде всего тем, что мы используем для того, чтобы ограничить действия других людей.

Экономисты не отрицают, но и не учитывают непосредственным образом того, что каждый экономический акт, как правило, является также и юридическим актом, последствия которого могут быть принудительно обеспечены правительством в случае, если стороны сделки не будут вести себя так, как это ожидалось бы в соответствии с их соглашением. Лайонел Роббинс отметил в своей книге «Природа и значение экономической теории» (Lionel Robbins, *The Nature and Significance of Economics*, 1932), что и в наши дни экономисты редко исследуют взаимосвязи экономики и права, и хотя эту взаимосвязь никто не оспаривает, на нее обычно не обращают внимания. Многие экономисты спорили о различиях между производительным и непроизводительным трудом, но немногие исследовали то, что Линдли Фрезер в монографии «Экономическая мысль и язык» (Lindley Frazer, *Economic Thought and Language*, 1947) называет «контрпроизводительным» трудом, то есть трудом, который приносит пользу работнику, но не тем, на кого — или против кого — он работает. «Контрпроизводительный» труд, например, труд нищих, шантажистов, грабителей и воров, остается за пределами экономической теории; вероятно, потому что экономисты уверены в том, что «контрпроизводительный» труд обычно нарушает закон. Таким образом, экономисты признают, что обычно они учитывают только те полезности, которые совместимы с законом большинства стран. Итак, взаимосвязь экономики и права подразумевается, но экономисты редко рассматривают ее в качестве объекта, достойного их изысканий. Например, они изучают обмен благами, но не поведение в процессе обмена, которое делает обмен благами возможным и регулируется, а иногда — принудительно обеспечивается законом во всех странах. Поэтому свободный рынок иногда кажется чем-то более «естественным», чем государство, или, как минимум, чем-то независимым от государства, если не чем-то, что нужно поддерживать «вопреки» государству. На самом деле, рынок не более «есте-

ственен», чем государство, и оба этих института не более естественны, чем, к примеру, мосты. Люди, которые этого не знают, должны серьезно относиться к песенке, которую когда-то распевали на Монмартре:

Voyez comme la nature a en un bon sens bien profond
A faire passer les fleuves justement sous les ponts.

(Глянь, смысла здравого хватает у Природы
Недаром под мостом прокладывает воды.)

Конечно, экономическая теория не оставляет без внимания то, что именно государство обеспечивает людям практические полномочия, позволяющие им избежать на рынке принуждения со стороны других людей. Роббинс удачно подчеркнул это в книге «Теория экономической политики в английской политической экономии» (Lionel Robbins, *The Theory of Economic Policy in English Political Economy*, London, 1952), отметив, что «мы получим совершенно искаженный образ» значения той доктрины, которую Маршалл назвал системой экономической свободы, «пока мы не увидим ее в сочетании с теорией права и функций правительства, которую ее авторы, начиная с Адама Смита, также поставили на обсуждение». Как говорит Роббинс, «идея свободы в вакууме была им совершенно чужда». Однако Роббинс также отметил, в книге «Экономическое планирование и мировой порядок» (*Economic Planning and International Order*, London, 1937), что классики экономической теории уделили слишком мало внимания тому, что международная торговля не могла возникнуть просто как следствие теоремы сравнительных издержек, но потребовала определенной международной юридической организации, чтобы противостоять врагам мировой свободной торговли, которых, в определенной степени, можно сравнить с врагами свободной торговли в отдельно взятой стране, например, с грабителями и ворами.

С другой стороны, то, что во всех политических обществах принуждение неизбежно связано со «свободой», привело к появлению идеи о том, что в этих обществах «увеличение свободы» может быть каким-то образом совместимо с «увеличением принуждения», или, как минимум, создало для этой идеи благоприятные условия. В свою очередь, эта идея была связана с путаницей в значениях терминов «принуждение» и «свобода»,

которая возникла главным образом не в результате пропаганды, а из-за неопределенного значения этих слов в обычном употреблении.

Мизес говорит, что «свобода» — это человеческое понятие. Следует добавить, что характеристика «человеческий» верна в том смысле, что, когда мы употребляем этот термин в обычном языке, мы всегда подразумеваем некое предпочтение со стороны людей. Однако это не означает, что о человеке можно сказать, что он «свободен» только от власти над ним других людей. Можно также сказать, что человек «свободен» от болезни, от страха, от нужды, так как все эти выражения используются в обычном языке. Это поощрило некоторых людей рассматривать «свободу от принуждения со стороны других людей» и, например, «свободу от нужды», как аналогичные примеры, не замечая, что речь идет о совершенно разной «свободе». Путешественник может умирать от голода в пустыне, куда он пожелал отправиться в одиночку, без всякого принуждения со стороны других. О нем нельзя сказать, что он «свободен от голода», но он есть и был совершенно «свободен от принуждения и давления» других людей.

Некоторые мыслители, и в древности, и в наше время, пытались связать то, что некоторые люди не свободны от голода и болезней, с тем, что другие люди в том же обществе не свободны от принуждения со стороны своих собратьев. Конечно, взаимосвязь очевидна, когда кто-то находится в рабстве у тех, кто с ним плохо обращается и, скажем, доводит до голодной смерти. Но эта связь совсем неочевидна, когда люди не являются рабами других людей. Тем не менее некоторые мыслители ошибочно считали, что во всех случаях, когда кто-то нуждается в чем-то, что ему необходимо, или просто в чем-то, чего ему хочется, он был несправедливо «лишен» этой вещи теми людьми, у которых она есть.

История до такой степени полна примерами насилия, грабежа, вторжений и т.д., что это заставило многих мыслителей утверждать, что в основе частной собственности лежит просто насилие и в силу этого ее следует рассматривать как нечто не-исправимо противозаконное — и в наше время, и в древние эпохи. Например, стоики считали, что первоначально вся земля была общей собственностью всех людей. Они называли эту мифическую ситуацию *communis possessio originaria* (исходным общим владением). Некоторые отцы Церкви, особенно в ро-

манских странах, разделяли такие взгляды. Так, св. Амвросий, знаменитый архиепископ Милана, в V веке н.э. писал, что Природа позаботилась о том, чтобы земля со всеми ее дарами и богатствами находилась в общем достоянии людей, а право частной собственности порождено человеческим насилием. Он цитирует стоиков, которые утверждали, что все на земле и на море было сотворено для общего пользования всех людей. Амвросиаст, ученик св. Амвросия, говорит, что Господь дал людям все в общее достояние, и это относится к солнцу и к дождю так же, как и к земле. То же самое говорит св. Зенон Веронский (в его честь названа одна из самых красивых романских церквей — Сан Дзено) о людях, живших в древнейшие времена: «У них не было частной собственности, но все у них было общее: солнце, дни, ночи, дождь, жизнь и смерть, и все эти вещи были даны божественным Провидением всем им в равной мере, без исключения». Он же добавляет, явно соглашаясь с идеей происхождения частной собственности из насилия и тирании: «Частный владелец, без сомнения, подобен тирану тем, что один имеет полную власть над вещами, которые были бы полезны другим людям». Почти ту же самую идею можно найти несколько столетий спустя в трудах некоторых канонистов. Например, автор первого свода канонического права, так называемого *decretum Gratiani* (декрета Грациана), пишет: «Тот, кто намерен удерживать больше вещей, чем ему нужно, — грабитель».

Современные социалисты, включая Маркса, выступили просто-напросто с исправленной версией той же самой идеи. Например, Маркс различает несколько стадий в истории человечества: первая стадия, на которой производственные отношения были отношениями сотрудничества, и вторая, на которой некоторые люди впервые получили контроль над факторами производства, тем самым поставив меньшинство в положение, когда его кормит большинство. Древний архиепископ Медиоланский выразил бы то же самое менее замысловатым и более энергичным языком: «Природа породила право на общее достояние; насилие породило частное право».

Конечно, возникают вопросы: как можно говорить об «общем достоянии»? Кто установил, что все вещи находятся в «общем владении» всех людей, и почему? Обычный ответ стоиков, их последователей и отцов Церкви первых веков христианства состоял в том, что если луна, солнце и дождь общие для всех людей, то нет оснований считать, что и другие вещи, например

земля, не являются общими. Эти сторонники коммунизма не удосужились изучить смысл слова «общий». Тогда они знали бы, что земля не может быть «общей» для всех людей в том же смысле, что солнце и луна, и что в силу этого обработка земли сообща — это совсем не то же самое, что прогулка при лунном или солнечном свете. Современные экономисты объясняют, что различие заключается в том, что, в отличие от дефицита земли, дефицита лунного света не существует. Несмотря на тривиальность этого утверждения, подразумеваемая аналогия между редкими вещами, вроде пригодной для земледелия земли, и вещами, имеющимися в избытке, вроде лунного света, для многих людей была убедительной причиной заявлять, что «неимущие» пали жертвами «принуждения» со стороны «имущих»; что последние незаконно лишили первых некоторых вещей, изначально бывших «общими» для всех людей. Терминологическая путаница вокруг использования слова «общий», свойственная стоикам и отцам раннего христианства и сохранившаяся у современных социалистов всех цветов и оттенков, как я полагаю, тесно связана с тенденцией, особенно ярко проявившейся в наше время, использовать слово «свобода» сомнительным образом, связывая по смыслу «свободу от нужды» со «свободой от принуждения со стороны других».

В свою очередь, этот случай путаницы связан с другим. Когда лавочник, врач или адвокат ждут клиентов, каждый из них может ощущать, что их возможность заработать на жизнь зависит от этих клиентов. Это верно. Но если клиент или покупатель не появляются, то нельзя, не выходя за рамки принятого словоупотребления, сказать, что клиенты (или покупатели), которые не приходят, принуждают лавочника, врача или адвоката к голодной смерти. Действительно, никто никого не принудил тем, что не пришел. Если предельно упростить ситуацию, можно допустить, что клиентов (или покупателей) вообще не было. Если теперь предположить, что клиент приходит и предлагает врачу или адвокату очень маленькую оплату, то невозможно сказать, что этот конкретный клиент «принуждает» врача или адвоката согласиться на эту оплату. Можно относиться с презрением к человеку, который, хорошо умея плавать, не бросается на помощь тонущему, но нельзя, оставаясь в рамках принятого словоупотребления, сказать, что, отказавшись от спасения утопающего, этот человек «принудил» его утонуть. В этой связи я должен согласиться со знаменитым немецким

юристом XIX века Рудольфом Иерингом, возмущавшимся бесчестностью уловок, которые в шекспировском «Венецианском купце» использовала Порция против Шейлока, представляя интересы Антонио. Можно относиться к Шейлоку с презрением, но нельзя сказать, что он «принудил» Антонио или кого-либо другого заключить с ним соглашение — соглашение, которое в данных обстоятельствах предусматривало смерть последнего. Единственное, чего хотел Шейлок, — принудить Антонио исполнить обязательство по договору после того, как тот его подписал. Несмотря на эти очевидные обстоятельства, люди часто склонны судить Шейлока так же, как они судили бы убийцу, и осуждать ростовщиков, как если бы они были грабителями и пиратами, хотя ни Шейлока, ни обычного ростовщика нельзя правомерно обвинить в том, что он кого-либо принуждает занимать у него деньги под ростовщические проценты.

Несмотря на различие между «принуждением» в смысле реальных действий, направленных на причинение кому-то вреда против его воли, и поведения, подобного шейлоковскому, многие люди, особенно европейцы в последнее столетие, пытались привить обычному языку терминологическую путаницу, в результате которой человека, который никогда не связывал себя обещанием совершить нечто ради других людей и который, соответственно, ничего ради них не делает, обвиняют в так называемом бездействии и осуждают, как если бы он «принудил» других что-нибудь делать против их воли. С моей точки зрения, это не соответствует нормальному словоупотреблению во всех тех странах, которые мне знакомы. Вы не «принуждаете» человека, если просто не делаете по отношению к нему чего-то, что вы не обещали сделать.

Все социалистические теории насчет так называемой эксплуатации работников работодателями — и шире, эксплуатации «имущими» «неимущих» — в конечном счете основаны на этой терминологической путанице. Во всех случаях, когда самозванные историки промышленной революции в Англии XIX века говорят об «эксплуатации» рабочих работодателями, они подразумевают именно то, что работодатели использовали против рабочих «принуждение», чтобы заставить их согласиться на низкую зарплату за тяжелую работу. Когда законы вроде Акта о профессиональных спорах 1906 года в Англии предоставили профсоюзам привилегию незаконными способами принуждать работодателей соглашаться на их требования, подразумевалось,

что наемные работники были более слабой стороной и в силу этого работодатели могли «принудить их» согласиться на низкую, а не на высокую зарплату. Привилегия, установленная Актом о профессиональных спорах, была основана на хорошо знакомом европейским либералам того времени принципе, который полностью соответствовал значению «свободы» в обычном языке: вы «свободны», если вы можете принудить других людей отказаться от использования принуждения по отношению к вам. Неприятность состояла в том, что если принуждение, право на которое было предоставлено профсоюзам, было принуждением в обычном значении, соответствующим значению этого слова в обычном языке, то «принуждение» со стороны работодателей, для предупреждения которого вводилась привилегия, не соответствовало смыслу слова «принуждение» в обычном языке — ни в то время, ни сейчас. Если взглянуть на вещи с этой точки зрения, мы должны будем согласиться с Фредериком Поллоком, который написал в книге «Деликтное право» (Frederick Pollock, *Law of Torts*, 1888), что «юридическая наука, разумеется, не имеет никакого отношения к эмпирической силовой операции над страной», которую британские законодатели сочли возможным совершить посредством Акта о профессиональных спорах 1906 года. Следует также сказать, что обычное словоупотребление не имеет ничего общего с тем значением слова «принуждение», которое сделало его в глазах британских законодателей подходящим инструментом для того, чтобы совершить над страной такую силовую операцию.

Непредвзятые историки, например, Т. С. Эштон, доказали, что общее положение беднейшей части населения Англии после наполеоновских войн объяснялось причинами, не имевшими ничего общего с поведением в этой стране предпринимателей новой промышленной эры, а корни бедности следует искать в куда более ранних периодах английской истории. Более того, экономисты часто показывали — как приводя неоспоримые теоретические аргументы, так и анализируя статистические данные, что высокие ставки заработной платы зависят от соотношения между инвестированным капиталом и количеством работников.

Но не в этом состоит ключевой пункт нашей аргументации. Если вкладывать в слово «принуждение» настолько разные значения, как те, о которых мы только что рассказали, то можно

легко прийти к заключению, что предприниматели времен Промышленной революции в Англии, например, «принуждали» людей жить в старых и дурно влияющих на их здоровье лачугах потому, что они не построили для своих работников достаточное количество хороших новых домов. Точно так же можно было бы сказать, что промышленники, которые не делают гигантских инвестиций в оборудование, вне зависимости от возможной прибыли, «принуждают» своих работников довольствоваться низкими ставками заработной платы. На практике этой терминологической путанице способствуют некоторые лоббистские и пропагандистские группы, заинтересованные в том, чтобы создавать персуазивные определения «свободы» и «принуждения». В итоге людей можно осудить за «принуждение», которое они якобы совершают по отношению к людям, с которыми они никогда не имели ничего общего. Так, пропаганда Муссолини и Гитлера перед Второй мировой войной и во время нее включала утверждение, что народы других стран, в том числе находящихся далеко от Италии и Германии, например, Канады и США, «принуждали» итальянцев и немцев довольствоваться своими скудными сырьевыми ресурсами и относительно небольшой территорией, несмотря на то, что ни Канада, ни США не захватили ни пяди итальянской или немецкой территории. Точно так же после последней мировой войны многие, особенно представители итальянской «интеллигенции», говорили нам, что богатые земельные собственники юга Италии несут ответственность за нищету бедных работников-южан и что жители Северной Италии непосредственно отвечают за депрессию на глубоком юге, хотя и не существовало никаких серьезных доказательств ни того, что богатство некоторых земельных собственников юга Италии было причиной бедности работников, ни того, что относительно высокий уровень жизни в Северной Италии был причиной низкого уровня жизни на юге. Исходный тезис, лежавший в основе всех этих идей, состоял в том, что «имущие» Южной Италии принуждали «неимущих» мало зарабатывать, а жители Северной Италии «принуждали» тех, кто живет на юге, не развивать промышленность, а довольствоваться доходами от сельского хозяйства. Нужно также отметить, что похожая терминологическая путаница лежит в основе многих требований и установок правящих элит некоторых бывших колоний, например, Индии или Египта, по отношению к народам Запада (включая США).

Время от времени это приводит к бунтам, беспорядкам и другого рода враждебным действиям со стороны людей, которые чувствуют себя «жертвами» принуждения. Другой, не менее важный результат — это законы, постановления и договоры как на национальном, так и на международном уровне, предназначенные для того, чтобы помочь якобы страдающим от «принуждения» людям противодействовать этому «принуждению» с помощью законодательно установленных процедур, привилегий, гарантий, иммунитетов и пр.

Итак, путаница в словах приводит к спутанным чувствам, и в результате возникает эффект резонанса, который запутывает все еще больше.

Я не так наивен, как Лейбниц, полагавший, что многие политические и экономические проблемы можно улаживать не посредством споров (*clamoribus*), а посредством каких-нибудь вычислений (*calculemus*), которые дали бы заинтересованным людям возможность согласиться хотя бы в принципе относительно предмета спора. Однако я настаиваю на том, что разъяснение терминологии, вероятно, принесло бы людям больше пользы, чем обычно считается, если бы только люди находились в том положении, когда они могут извлечь эту пользу.

Глава 3

СВОБОДА И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Не так легко понять, что англоговорящие люди имеют в виду под выражением *rule of law**. За последние семьдесят или даже пятьдесят лет значение этих слов изменилось и это выражение стало восприниматься и в Англии, и в Америке как несколько устаревшее. Тем не менее некогда оно соответствовало идее, которая (как отметил Хайек в своей первой лекции о свободе и верховенстве права, с которой он выступил в Национальном банке Египта в 1955 году) «во всех западных странах если и не воплотилась в жизнь, то полностью завоевала умы», так что «мало кто сомневался в том, что эта идея предназначена для того, чтобы править миром»¹.

Написать полную историю этих изменений пока еще нельзя, потому что они еще продолжаются. Более того, это запутанная, фрагментарная, нудная история, которая, сверх того, скрыта от тех людей, читающих только газеты, журналы и романы, не имея вкуса к юридическим тонкостям, например, к таким подробностям, как делегирование судебной власти и законодательных полномочий. Но эта история касается всех западных стран, которые все еще объединяет не только юридический идеал, зафиксированный в словах «верховенство права», но и политический идеал, обозначенный словом «свобода».

Я бы не рискнул утверждать, как Хайек в упомянутой выше лекции, что «судьба нашей свободы решается в ходе технического

* А. К. Романов определяет этот термин следующим образом: «...принцип англо-американского права, предусматривающий верховенство права над законом» (Романов А. К. Правовая система Англии. М.: Дело, 2000. С. 333). — *Прим. науч. ред.*

¹ F. A. Hayek, *The Political Ideal of the Rule of Law* (Cairo: Fiftieth Anniversary Commemoration Lectures, National Bank of Egypt, 1955), p. 2. Практически тот же текст был опубликован Хайеком в книге *The Constitution of Liberty*.

спора о деталях административного права». Я бы предпочел сказать, что судьба свободы решается во многих местах: в парламентах, на улицах, в домах и, в конечном счете, в умах чернорабочих и хорошо образованных людей, например, ученых и университетских профессоров. Я согласен с Хайком в том, что в этом отношении мы сталкиваемся с тихой революцией. Но я не согласился бы ни с ним, ни с французским профессором Рипером, что эта революция — нет, государственный переворот — совершается либо исключительно, либо главным образом специалистами: юристами и государственными чиновниками. Иными словами, медленные, но непрерывные изменения в значении словосочетания «верховенство права» — это не результат «революции менеджеров», если использовать меткое выражение Бернема. Это гораздо более широкий феномен, связанный со многими событиями и ситуациями, подлинный смысл и значение которых трудно установить и о которых историки говорят в обтекаемых выражениях, вроде «общая тенденция нашего времени». Процесс, посредством которого в последние сто лет слово «свобода» стало приобретать разные, несовместимые между собой значения, был связан, как мы видели, с терминологической путаницей. Другой случай терминологической путаницы, менее очевидный, но не менее значимый, могут обнаружить те, кто достаточно терпелив, чтобы исследовать тихую революцию в использовании выражения «верховенство права».

Со времен Монтескье и Вольтера исследователи из континентальной Европы, несмотря на всю их мудрость, ученость и восхищение британской политической системой, были не в состоянии правильно понять значение британской конституции. Вероятно, из тех, на кого распространяется эта критика, самым известным является Монтескье, особенно его прославленное истолкование разделения властей в Англии — несмотря на то, что его толкование (многие называли бы его «перетолкованием»), в свою очередь, оказало огромное влияние на сами англоговорящие страны. Выдающиеся английские ученые, в свою очередь, подвергались аналогичной критике за свои истолкования конституций стран континентальной Европы. Вероятно, самый знаменитый из этих ученых — Дайси, неверное истолкование которым французского *droit administratif* (административного права), по мнению другого известного английского исследователя, Карлтона Кемпа Ал-

лена, было «фундаментальной ошибкой» и одной из причин, по которой развитие правового государства в современных англоязычных странах пошло по тому пути, по которому оно идет сейчас. Дело в том, что в Англии никогда не существовало разделения властей, хотя в это в свое время и верил Монтескье, а французское *droit administratif*, итальянское *diritto amministrativo* или немецкое *Verwaltungsrecht** нельзя отождествить с тем *administrative law***, которое Карлтон Аллен Кемп и большинство современных английских исследователей имеют в виду, когда они говорят о последних изменениях в системе судебной и исполнительной власти Соединенного королевства.

После долгих раздумий над этим я склонен прийти к заключению, что даже более фундаментальное значение, чем ошибочные толкования Дайси, с одной стороны, и Монтескье — с другой, имели ошибки тех исследователей и обычных людей, которые попытались воспроизвести в континентальной Европе британское «верховенство права» и вообразили себе, что континентальная имитация английской или американской системы (например, немецкое *Rechtsstaat*, французское *état de droit* или итальянское *stato di diritto****) получилась действительно очень похожей на английское *rule of law*. Даже Дайси, который обладал трезвым взглядом на некоторые важные в этом отношении различия, а кроме того, как полагают некоторые, был предубежден по отношению к французам и к континентальным конституциям, считал, что в начале нашего века разница между английским и американским «правовым государством» и конституциями государств континентальной Европы была не очень велика: «Если ограничить наши наблюдения Европой XX века, вполне можно утверждать, что сегодня в большинстве европейских стран верховенство права почти так же укоренилось, как и в Англии, и что, во всяком случае, частные лица, которые не вмешиваются в политику, могут чувствовать

* И то, и другое, и третье переводится как «административное право» и обозначает примерно то же, что «административное право» в российском понимании. — *Прим. перев.*

** Буквальный перевод с английского — «административное право»; имеет мало общего с тем, что мы на континенте обозначаем теми же словами. — *Прим. перев.*

*** И то, и другое, и третье буквально переводится как «правовое государство». — *Прим. перев.*

себя в безопасности — как по отношению к правительству, так и ко всем остальным — до тех пор, пока соблюдают закон»¹.

С другой стороны, некоторые континентальные исследователи, например, великие французские конституционалисты (*garantistes*) Гизо и Бенжамен Констан, а также германские теоретики правового государства (*Rechtsstaat*) Карл фон Роттек, К. Велькер, Роберт фон Моль и Отто фон Гирке полагали (я сказал бы, что ошибочно), что они описывают и рекомендуют гражданам своих стран такой тип государства, который очень похож на Англию. В наши дни Хайек попытался показать, что немецкая доктрина *Rechtsstaat*, до того как в конце XIX века ее извратили реакционные (*reactionnaires*) сторонники историзма и позитивизма, внесла большой вклад, если не практический, то теоретический, в идеал «правового государства».

Этот идеал и идеал *Rechtsstaat* до того, как его извратили, действительно имеют много общего. Почти все черты, которые так блистательно описал Дайси в указанной выше книге, объясняя, что представляет собой английское «правовое государство» («*rule of law*»), можно найти также в конституциях стран континентальной Европы, начиная с французской конституции 1789 года и до наших дней.

Верховенство закона (*supremacy of the law*) было главной характеристикой, которую выявил Дайси в своем исследовании. Он цитирует старый закон английских судов: «*La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley il mme et toutes ses sujets sont rulés, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera*» («Закон выше короля, потому что и король, и все его подданные подчиняются закону, и без него не было бы ни короля, ни королевства»). Согласно Дайси, верховенство закона было, в свою очередь, принципом, который соответствовал трем другим представлениям и, соответственно, подразумевал три разных сопутствующих друг другу значения словосочетания *rule of law*: 1) отсутствие у правительства произвольных полномочий наказывать граждан или совершать действия, направленные против жизни и собственности; 2) подчинение любого человека, вне зависимости от его ранга и состояния, общему закону страны и судам общей юрисдикции; 3) господство духа законности (*legal spirit*) в английских институтах благодаря

¹ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (8th ed.; London: Macmillan, 1915), p. 185.

тому, что, как объясняет Дайси, «общие принципы английской конституции (например, право на личную свободу и право на свободу собраний) являются результатом судебных решений... в то время как во многих иностранных конституциях гарантии личных прав вытекают из общих (абстрактных) принципов конституции»¹.

Американцы могут сомневаться в том, относил ли Дайси американскую систему к тому же классу, что и системы континентальной Европы. Американцы выводят, или, возможно, выводят, свои личные права из общих принципов, сформулированных в их конституции и первых десяти поправках к ней. Собственно говоря, Дайси рассматривал США как типичный пример страны, живущей в условиях «верховенства права», потому что она унаследовала английские традиции. Он был прав; это видно, если, с одной стороны, принять во внимание то, что отцы-основатели сначала не считали необходимостью письменную фиксацию билля о правах — они даже не включили его в текст конституции — и, с другой стороны, то значение, которое судебные решения обычных судов в сфере прав индивидов имели и продолжают иметь в политической системе США.

Хайек, один из современных выдающихся теоретиков «верховенства права», рассматривает четыре его характеристики, которые в основном, хотя и не полностью, совпадают с описанием Дайси. Согласно Хайеку, *всеобщий характер, равенство и определенность* закона, так же как то, что дискреционные полномочия административных органов на применение мер принуждения (административное вмешательство по отношению к индивидам и их собственности) всегда можно оспорить в суде, составляют на практике «самую суть дела, ту решающую точку, от которой зависит, восторжествует верховенство права или нет»².

На первый взгляд, теории Хайека и Дайси различаются только в мелких деталях. Действительно, Хайек подчеркивает разницу между законами и указами в связи со «всеобщим характером» закона и отмечает, что закон ни в коем случае не должен относиться к конкретным индивидам и вступать в силу в случае, если в момент его вступления в силу можно предвидеть, каким конкретным индивидам он поможет или повредит.

¹ Ibid., p. 191.

² F. A. Hayek, *op. cit.*, p. 45.

Однако это можно считать особым рода развитием идеи Дайси о том, что «верховенство права» означает отсутствие у правительства произвольной власти. В свою очередь, *равенство* в описании Дайси воплощается во второй характеристике «верховенства права», а именно в том, что каждый человек, независимо от его ранга или состояния, подчиняется ординарному закону (*ordinary law*) страны.

В этой связи мы должны отметить разницу между интерпретациями равенства или, как минимум, между их прикладным использованием у Дайси и у Хайека. Хайек, подобно Карлтону Кемпу Аллену, упрекает Дайси за фундаментальную ошибку в интерпретации французского административного права (*droit administratif*). Дайси, согласно сэру Карлтону и профессору Хайеку, был неправ, когда считал, что французское и вообще континентальное административное право (*droit administratif*), по крайней мере в зрелой стадии развития, было более или менее произвольным правом, поскольку не было связано с обычным судопроизводством. Согласно Дайси, только суды ординарной юрисдикции — и в Англии, и во Франции — могли действительно обеспечивать защиту граждан, применяя ординарный закон страны. То, что полномочия рассматривать иски граждан к государственным чиновникам были предоставлены специальным судебным органам, например, *conseil d'état* во Франции, казалось Дайси доказательством того, что на континенте не уважают принцип равенства закона для всех граждан. Чиновники, выступая в этом качестве в процессе против обычных граждан, были «в известной степени выведены из-под действия ординарного закона страны». Хайек обвиняет Дайси в том, что тот оказал негативное влияние на создание и развитие институтов, способных посредством независимых судов контролировать новую бюрократическую машину, возникшую в Англии, находясь в плену ложной идеи, что особые административные суды всегда будут представлять собой отказ от ординарного права страны и тем самым отказ от «верховенства права». На самом деле, *conseil d'état* предоставляет рядовым гражданам во Франции, так же как и в большинстве стран Западной Европы, объективную и действенную защиту от того, что Шекспир назвал бы «чиновной наглостью».

Тем не менее честно ли считать Дайси ответственным за то, что институт, похожий на *conseil d'état*, пока не был создан в Великобритании? Возможно, созданию в Англии админи-

стративного апелляционного суда (который соответствовал бы французскому *conseil d'état* или итальянскому *consiglio di stato*) препятствовало то, что, как заметил Аллен, в Англии «даже простое упоминание «нового импортного средства» сразу вызывает значительный протест противников «иностран-ных штучек»¹. Действительно, враждебность по отношению к не-британским типам права и судопроизводства — это традиционная черта англичан. В конце концов, нынешние жители Британских островов — это потомки тех, кто много столетий назад гордо провозгласил *nolumus leges Angliae mutari* («мы не желаем что-либо менять в законах англосаксов»). Роль Дайси в сопротивлении импорту континентальных правовых форм в Англию была относительно незначительна. Сам Аллен хоть и осторожно намекает на то, что следовало бы использовать новые средства, чтобы защитить граждан от британских бюрократов, тут же поспешно добавляет, что «ни один человек в здравом уме не предлагает имитировать в Англии *conseil d'état*», а люди, которые еще верят, что «*administrative law* (да будет мне позволено так выразиться) это то же самое, что *droit administrative*, отстали от жизни»².

Самое забавное в этих призывах сэра Карлтона то, что он, вероятно, имеет в виду, что *administrative law* — это гораздо лучше, чем иностранное *droit administratif*, тогда как в начале своего труда он упрекал бедного Дайси за его «самодовольное сравнение [британской системы] с французским административным правом», то есть с «этой замечательной юридической системой, во всяком случае, на современном этапе развития», и даже обвинял Дайси в том, что он «создал у британской публики впечатление, что цель административного права во Франции состояла в том, чтобы создать для чиновников специальные привилегированные условия, а не в том, чтобы (как на самом деле) предоставить гражданам высокую степень защиты от противоправных действий государства»³. Можно добавить, что действующее английское административное право вообще не предоставляет такой защиты подданным британской короны, потому что, как недавно отметил другой английский

¹ Carleton Kemp Allen, *Law and Orders* (London: Stevens & Sons, 1956 ed.), p. 396.

² Ibid., p. 396.

³ Ibid., p. 32.

исследователь, Эрнест Роу, «в то время, как французские административные суды являются судами и применяют четкие нормы права в соответствии с четко определенными процессуальными требованиями, в новой английской системе [возникшей в результате предоставления исполнительной власти судебных функций, той, которую бывший главный судья Англии называл «административным беззаконием» и «новым деспотизмом»] ничего подобного нет, потому что в ней споры между индивидами и государством разрешает государство, которое само является стороной в процессе, разрешает абсолютно произвольным способом, в отсутствие каких-либо установленных общепризнанных принципов и четко сформулированных процессуальных норм»¹.

На первый взгляд, интерпретации равенства как характеристики верховенства права, предлагаемые Дайси и Хайеком, различаются только в деталях. Оба считают, что независимые суды необходимы для того, чтобы гарантировать гражданам равенство перед законом. Незначительная разница между двумя толкованиями функции судов, возможно, состоит в том, что Дайси выступал против существования отдельных судебных инстанций, одна из которых занимается только спорами между гражданами, а другая — спорами между гражданами, с одной стороны, и государственными чиновниками — с другой, в то время как Хайек полагает, что существование двух отдельных юрисдикций само по себе не вызывает возражений, если ни одна из них не зависит от исполнительной власти.

Вероятно, дела обстоят не так просто, как подразумевает вывод Хайека. Конечно, независимые административные суды — это лучше, чем просто передача исполнительной власти судебных функций в административных вопросах, как это сегодня происходит в Англии и, до определенной степени, в США. Но само существование «административных судов» усиливает убедительность тезиса о том, что в стране не один закон для всех (именно это не нравилось Дайси) и поэтому принцип равенства всех граждан перед законом уважается не в той мере, как

¹ Ernest F. Row, *How States Are Governed* (London: Pitman & Sons, 1950), p. 70. О ситуации в США, см: Walter Gellhorn, *Individual Freedom and Governmental Restraints* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1956) и Leslie Grey, «The Administrative Agency Colossus», *The Freeman* (October, 1958), p. 31.

было бы, если бы в стране был один закон, а не административное право наряду с общим правом (*common law*).

В книге, которую цитирует Хайек¹, Дин Роско Паунд отметил, что современные тенденции в области публичного права подчиняют «интересы индивида интересам государственного чиновника», позволяя последнему «заявить о тождестве интересов одной стороны с интересами общества, тем самым придав ей особую ценность, а остальные точки зрения проигнорировать». Это в большей или меньшей степени относится к любым административным законам, вне зависимости от того, кто их применяет: суды или иные органы. Общий принцип, который лежит в основе любых взаимоотношений частных граждан с государственными чиновниками, выступающими в качестве представителей государства, состоит в том, что теоретики континентальной Европы (например, Еллинек в Германии, Ориу во Франции и Романо в Италии) назвали бы *status subjectionis* (подчиненным положением) индивида относительно администрации и, соответственно, «превосходством» последней над индивидом. Государственные чиновники, как представители государственной администрации, рассматриваются как люди, имеющие *eminentia jura* (преимущественные права) по сравнению с другими гражданами. Поэтому, например, чиновники уполномочены принудительно осуществлять свои постановления без какого-либо предварительного контроля со стороны судьи относительно законности этих постановлений, в то время как если бы частный гражданин потребовал что-нибудь от другого частного гражданина, такой контроль был бы обязателен. Действительно, континентальные теоретики тоже считают, что индивиды имеют право на личную свободу, которое ограничивает *eminentia jura*, или, как они еще говорят, «верховенство» (*supremacy*) администрации. Но принцип верховенства администрации сегодня присутствует в административном праве всех стран континентальной Европы и, в определенной степени — всех стран мира.

Именно с учетом этого принципа административные суды рассматривают дела между частными гражданами и чиновниками, в то время как судьи ординарной юрисдикции рассматривали бы всех участников дела как лиц, находящихся на совершенно одинаковом уровне. Эта черта, которая сама по себе

¹ F. A. Hayek, *op. cit.*, p. 57.

не имеет никакого отношения к степени независимости административных судов от исполнительной власти и государственных чиновников, лежит в основе существования административных судов как отдельной юридической инстанции. Теперь, если мы согласимся с Дайси, что единственный закон, который должен приниматься во внимание при рассмотрении споров между гражданами (независимо от того, чиновники они или нет), это закон, который согласуется с верховенством права, как его понимает Дайси, то его заключение о том, что следует избегать системы административных судов (независимых или зависимых от правительства) и что должны существовать только суды ординарной юрисдикции, является абсолютно последовательным.

Заключение Дайси не обязательно является применимым в нынешних обстоятельствах, но оно логически следует из принципа равенства перед законом, то есть из одного из тех принципов, который содержится и в его, и в хайековской интерпретации «верховенства права».

В Англии, как писал Дайси, «идея равенства перед законом, или универсального подчинения всех классов одному закону, который применяют суды ординарной юрисдикции, была доведена до ее крайнего предела. У нас каждый чиновник, от премьер-министра до констебля и налогового инспектора, несет ту же ответственность за любые противоправные действия, что и любой другой гражданин. Не перечить сообщений о случаях, когда суд приговаривал чиновников, действовавших в личном качестве, к наказанию или к выплате компенсации за действия, совершенные ими в качестве должностных лиц, но с превышением законных полномочий. Губернатор колонии, министр правительства, высшие чиновники и все их подчиненные, хотя и выполняют приказы вышестоящего начальства, несут ту же ответственность за любое запрещенное законом действие, как любое частное и нечиновное лицо»¹.

Положение, которое Дайси описывал в 1885 году, определенно отличается от существующего сегодня, потому что типичная черта нового «административного права» в Англии заключается в том, что многие дела, в которых исполнительная власть является или может являться одной из сторон спора, исключаются из юрисдикции ординарных судов.

¹ Dicey, *op. cit.*, p. 189.

Нет оснований, по которым можно было бы критиковать Дайси с его осуждением административных судов за нарушение того принципа, который он так ясно сформулировал, а именно: универсального подчинения всех классов одному закону. В противном случае мы должны заключить, что хотя все люди равны перед законом, но некоторые «равнее других».

На самом деле, теперь мы знаем, насколько далеко интерпретация принципа равенства перед законом может зайти в политических системах, в которых принцип чисто формальной — нет, церемониальной — законности любых правил, вне зависимости от их содержания, был заменен на принцип *Rechtsstaat* и, соответственно, «верховенство права» в раннем значении этого термина.

Можно создать сколько угодно категорий людей, чтобы применить к ним одинаковые законы. Внутри каждой категории люди будут «равны» перед конкретным законом, который применяется по отношению к ним, вне зависимости от того, что к другим людям, из других категорий, будут применяться другие законы. Таким образом, можно создать «административное право», по отношению к которому все люди из какой-либо категории, определенной этим законом, будут рассматриваться административным судом одним и тем же образом, а параллельно можно признавать «общее право» (*common law*), по которому люди, сгруппированные в другие категории, будут не менее равным образом рассматриваться судами ординарной юрисдикции. Итак, в результате небольшой модификации значения принципа «равенства перед законом» мы можем притвориться, что мы его не разрушили. Все, что у нас будет в этом случае вместо «равенства перед законом», — это равенство перед каждой из двух правовых систем, действующих в одной и той же стране; или если воспользоваться формулировкой Дайси, то мы получим два закона страны вместо одного. Конечно, точно таким же образом можно получить три, четыре или тысячу законов страны: один для землевладельцев, другой для арендаторов, один для работодателей, другой для работников и т.д. Это как раз то, что сейчас происходит во многих западных странах, где на словах еще соблюдается принцип «верховенства права» и, следовательно, «равенства перед законом».

Можно также представить себе, что применять все эти «законы страны» по отношению ко всем категориям людей уполномочены одни и те же суды. В некотором приближении это

еще можно назвать «равенством перед законом». Однако очевидно, что в этом случае не всем будет гарантировано равенство перед судом по закону страны, если рассматривать закон как единое целое. Например, третья статья конституции Италии провозглашает равенство всех граждан перед законом. Однако на самом деле существуют законы, которые принуждают арендодателей соглашаться на установленную законодательно крайне низкую арендную плату, несмотря на существование предшествующих соглашений об ином размере арендной платы, в то время как другие категории людей, которые заключили между собой договоры не в качестве арендодателей и арендаторов, по-прежнему могут — не могут, а обязаны — соблюдать заключенные ими договоры, в которые не вмешивается никакой особый закон. В моей стране действуют и другие законы, которые принуждают людей расставаться с частью своих земельных владений в обмен на сумму компенсации, установленную правительством, которую собственники во многих случаях считают смешной по сравнению с рыночной ценой. Другие люди — например, владельцы зданий, компаний, ценных бумаг — пока еще имеют право делать со своей собственностью все что пожелают. В своем недавнем решении Конституционный суд Италии подтвердил конституционность закона, позволяющего правительству выплачивать номинальные компенсации землевладельцам, у которых в ходе земельной реформы экспроприируются участки — на том основании, что такая цена была установлена с учетом общих национальных интересов (разумеется, точно определить, что такое «общие интересы» очень сложно). Вероятно, теоретики смогли бы выработать принципы для объяснения всего этого и, например, говорить о *jus subjectionis* (подчиненном положении) землевладельцев и о *jura eminentia* (преимущественных правах) или «верховенстве» арендаторов и государственных чиновников, которые устанавливают сумму компенсации, выплачиваемой экспроприируемым землевладельцам. Однако это не меняет ситуации: люди не равны перед законом страны, рассматриваемым как единое целое, в том смысле, в котором об этом писал Дэйси в своей знаменитой книге.

Возможность того, что в одной стране одновременно имеют силу разные законы для разных категорий граждан, ставящие эти категории в неравное положение (самый распространенный пример — это прогрессивное налогообложение в зависимости от дохода гражданина, которое стало уже общим свой-

ством фискальных систем всех западных стран), в свою очередь, связана с принципом «всеобщего характера закона». Действительно, сложно установить, что делает «всеобщим» один закон, но не другой. Существует много ухищрений, позволяющих говорить о «всеобщем» характере закона, действительно всеобщего для определенной категории людей; кроме того, всегда можно сослаться на то, что в рамках «всеобщего» необходимо учитывать «специфическое».

Дайси считал «дух законности» особым свойством английских институтов. С его точки зрения, вся британская политическая система была основана на общих принципах, вытекающих «из судебных решений, устанавливающих права частных лиц в конкретных делах, рассматриваемых судом». Он противопоставлял такой порядок тому, что происходит на континенте (то же самое он мог бы сказать и про США), где «защита прав индивидов вытекает или кажется, что вытекает из общих конституционных принципов», в свою очередь восходящих к какому-то законодательному акту. Дайси со своей обычной пронизательностью объяснил, что он имеет в виду: «Если бы было допустимо применять к вопросам права приемы формальной логики, то в этом отношении разница между конституцией Бельгии и английской конституцией могла бы описываться утверждением, что в Бельгии личные права выводятся из конституционных принципов, а в Англии так называемые конституционные принципы возникают в результате индукции, или обобщения, основанной на конкретных решениях судов относительно прав конкретных индивидов»¹.

Дайси также утверждал, что, хотя «это была, конечно, формальная разница», исторический опыт указывает и на серьезные практические различия: например, в случае французской конституции 1791 года, где было провозглашено множество прав, в то время как «никогда в исторических анналах человечества не было эпохи, когда все эти права вместе и каждое из них в отдельности были бы настолько незащищенными, можно даже сказать, отсутствующими, как в разгар Французской революции». По Дайси, причиной этих различий была недостаточная юридическая компетентность законодателей (тут он проявляет хорошо известное раздражение, которое у английских судей вызывает работа законодательных собраний) по сравнению с той,

¹ Loc. cit.

которая нужна, чтобы создать гарантии защиты прав граждан. Дайси не считал, что компетентность в принципе несовместима с писаными конституциями, и с восхищением писал, что «государственные мужи Америки продемонстрировали несравненное искусство, создав способы обеспечить законом гарантии прав, провозглашенных американской конституцией», так что «правовое государство стало в той же степени американской особенностью, что и английской»¹. С точки зрения Дайси, осуществление прав индивида при английской конституции было более «определенным», чем осуществление похожих прав при континентальных конституциях, и эта «определенность» в основном обеспечивалась более высокой юридической квалификацией людей в англоговорящих странах, которая позволяла им изобретать надежные средства судебной защиты этих прав.

«Определенность» — это та черта, которую также подчеркивает Хайек в своем анализе «верховенства права». Он представляет ее себе немного не так, как Дайси, и эта разница в некоторых отношениях может быть очень существенной.

С точки зрения Хайека², определенность закона является, пожалуй, самым главным условием для экономической деятельности в обществе; именно эта черта способствовала процветанию западного мира по сравнению с Востоком, где определенность закона была достигнута гораздо позже. Однако он не выясняет, что именно значит термин «определенность» применительно к закону. Хотя ни Дайси, ни Хайек, ни большинство исследователей не занимаются этим вопросом, в теории «верховенства права» корректный подход к нему имеет большое значение. В самом основании расхождений между континентальными и английскими исследователями относительно верховенства права и, на первый взгляд, похожих на него вещей вроде писаных конституций, *Rechtsstaaten* и т.п. могут лежать разные значения выражения «определенность закона». У Дайси не было до конца ясного определения того, что такое «определенность» закона, когда он описывал основные характеристики верховенства права. На первый взгляд, это связано с отсутствием зафиксированных письменно — и следовательно, в каком-то смысле «определенных» правил — в традиционном английском общем праве, включая конституционное

¹ Ibid., p. 195.

² F. A. Hayek, *op. cit.*, p. 36.

право. Если бы определенность была связана только с письменными правилами, ни общее право, ни та его часть, которую можно назвать конституционным правом, не могла бы быть определенной в принципе. Действительно, многие из последних атак на «неопределенность» прецедентного права (*case law*) со стороны англоговорящих, в особенности американских, юристов и специалистов по политическим наукам — представителей так называемой реалистической школы — основаны на таком значении термина «определенность», который подразумевает существование окончательной письменной формулировки, слова которой читатель не имеет права менять по своему усмотрению. Это раздражение по отношению к неписаному закону является результатом роста количества статутов (законодательных актов) в современных правовых и политических системах, а также возрастания влияния статутного права по сравнению с прецедентным (то есть неписаным) правом как в Англии, так и в других странах Британского Содружества и в США.

Определенность закона также связана с идеей окончательных письменных формулировок вроде тех, что немцы называли бы *Rechtssätze* (правовыми нормами), в том значении, которое Хайек вкладывает в слово «определенность» в своих лекциях о верховенстве права. По его мнению, даже «делегирование нормотворчества какому-либо невыборному органу не обязательно противоречит правовому государству до тех пор, пока этот орган обязан формулировать и публиковать законы до их применения...» Он добавляет, что в наше время «проблема с широко распространенным использованием делегирования состоит не в делегировании нормотворческих полномочий, а в том, что властям предоставляются полномочия на использование принуждения без правил, потому что для осуществления таких полномочий невозможно сформулировать какое-либо общее правило»¹.

Имеется некий параллелизм между тем, что, по Хайеку, не является принципиальным применительно к административному праву и административным судам, и тем, что для него действительно важно в понятии «определенности». Для него существенно, чтобы административное право применялось *не-зависимыми* судами, вне зависимости от того, существует ли нечто отдельное под названием «административное право»

¹ Ibid., p. 38.

и являются ли суды, которые его применяют, особыми судами. Аналогично Хайек полагает, что серьезные неприятности не могут возникнуть только оттого, что правила принимает парламент или какой-нибудь другой орган, которому делегированы такие полномочия, при условии, что это будут всеобщие, четко сформулированные и заранее обнародованные правила.

Общие нормативные положения, если они сформулированы надлежащим образом и известны всем гражданам, обеспечивают гражданам возможность планировать свое поведение с точки зрения его правовых последствий, или, выражаясь словами Хайека, «как правило, те обстоятельства, которые находятся за пределами его [индивида] поля зрения, не должны быть основанием для применения по отношению к нему принуждения».

Это, несомненно, классическая интерпретация определенности закона. Можно также добавить, что это, вероятно, и наиболее знаменитая интерпретация, существующая во многих великолепных вариантах со времен древних греков, о чем свидетельствуют некоторые цитаты из «Политики» и «Риторики» Аристотеля. Когда этот философ восхваляет правление посредством законов (*government of laws*), весьма вероятно, что он имеет в виду те общие правила, заранее известные всем гражданам, которые в его время писались на стенах общественных зданий или на специальных досках из дерева или камня, например *kurbeis*, которые с этой целью использовали афиняне. Идеал писаного закона, который бы знал и понимал каждый гражданин маленьких, но славных городов, раскиданных по берегам Средиземного моря и населенных жителями греческого происхождения, — это один из самых драгоценных даров, который отцы западной цивилизации завещали потомкам. Аристотель прекрасно осознавал, какой вред могло принести обычным людям его времени произвольное, зависящее от обстоятельств и непредсказуемое правило (все равно, закон ли это, одобренный толпой на афинской агоре, или капризный приказ сицилийского тирана). Поэтому он рассматривал законы, то есть общие правила, сформулированные с помощью точных и понятных всем терминов, как институт, необходимый гражданам, чтобы они могли называться «свободными». Цицерон следовал этой концепции Аристотеля в своем знаменитом высказывании из *orato pro*

Cluentio (речи в защиту Клуэнция): «*omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus*» («мы все должны подчиняться закону, чтобы оставаться свободными»).

Этот идеал определенности был внедрен и развит на Европейском континенте в результате длительной последовательности событий. Свод гражданского права Юстиниана в течение нескольких столетий был той самой книгой, в которой, казалось, воплотился идеал определенности закона, понимаемой как определенность *писаного* закона — и в романских, и в германских странах. Этот идеал был не только не отброшен, но даже возвысился в континентальной Европе XVII—XVIII веков, когда абсолютистские правительства, как подчеркнул покойный Эрлих в своей блестящей книге о юридической логике (*Ehrlich, Juristische Logik*), желали обеспечить, чтобы их судьи не меняли значения установленных ими правил. Всем известно, что случилось в континентальной Европе в XIX веке. Все европейские страны приняли писанные кодексы и писанные конституции, согласившись с тем, что точные формулировки могут защитить людей от посягательств разнообразных тиранов. Правительства и суды согласились с такой интерпретацией идеи определенности закона, которая заключается в точности писаной формулы, выработанной законодательными собраниями. Это было не единственной причиной, по которой страны континентальной Европы приняли кодексы и конституции, но это было по меньшей мере одной из главных причин. Вкратце, континентальная идея определенности закона была эквивалентна идее точной письменной формулировки. Под определенностью в значительной степени понималась «точность».

На первый взгляд непонятно, совпадало ли это с представлением английского народа об определенности закона и подразумевалась ли такая определенность английским идеалом «верховенства права». К этому вопросу мы вернемся несколько позже.

Древнегреческое, или континентальное, понятие определенности закона вполне соответствует идеалу личной свободы, сформулированному у древнегреческих авторов, которые говорят о правлении посредством законов. Несомненно, что правление посредством законов предпочтительнее правления посредством указов тирана или толпы. Общие законы всегда более предсказуемы, чем конкретные и внезапные указы, и если предсказуемость последствий является одной из необходимых

предпосылок человеческих решений, то необходимо заключить, что чем в большей степени общие правила обеспечивают предсказуемость последствий человеческих действий, по крайней мере в правовой сфере, тем в большей степени эти действия заслуживают названия «свободных» от вмешательства других людей, включая власти.

С этой точки зрения необходимо признать, что общие правила, если они точно сформулированы (а это вполне возможно в случае писаных законов), лучше, чем внезапные указы и непредсказуемые распоряжения тиранов. Но, к несчастью, все это не гарантирует нам действительную «свободу» от вмешательства властей. Можно абстрагироваться от варианта, когда правила могут быть абсолютно «определенными» в описанном нами смысле, то есть в смысле точности формулировок, и одновременно быть настолько тираническими, что никого, кто им подчиняется, нельзя будет назвать «свободным». Однако существует и другая проблема, также связанная со всеобщими писаными законами, даже тогда, когда они предоставляют нам значительную «свободу» частного поведения. В таких случаях законы обычно являются результатом законодательной деятельности. Но законодательный процесс не является чем-то таким, что происходит один раз и навсегда. Он продолжается ежедневно и непрерывно.

Это особенно верно для нашего времени. В моей стране сегодня законодательный процесс — это две тысячи новых законов в год, и в каждом из них может быть не одна статья. Иногда законодательный акт состоит из нескольких десятков или даже нескольких сотен статей. Довольно часто один закон противоречит другому. У нас в стране есть общее правило: когда два закона противоречат друг другу по содержанию, то действует тот из них, который принят позже. Однако, с точки зрения нашей системы, невозможно сказать, сколько продержится закон — год, месяц или один день — до тех пор, пока не примут новый, который упразднит его. Все эти законы состоят из точных письменных формулировок, которые читатели и интерпретаторы не могут менять по своему желанию. Тем не менее каждый из этих законов может прекратить существование не менее внезапно, чем он появился. В результате, если оставить в стороне проблему двусмысленных формулировок в тексте законов, для нас всегда существует «определенность» в отношении буквального содержания каждого закона в любой мо-

мент времени, но никогда не существует определенности относительно того, будут ли эти законы действовать завтра.

В этом состоит «определенность закона» в древнегреческом или континентальном смысле. Я не рискнул бы сказать, что это та «определенность», которая требуется для того, чтобы быть уверенным в том, что юридические последствия предпринятых сегодня действий не окажутся завтра объектом для законного вмешательства. Этот тип «определенности», который так высоко ценили Аристотель и Цицерон, в конечном счете не имеет ничего общего с определенностью, которая требуется нам для того, чтобы действительно быть «свободными» в том смысле, который имели в виду эти древние и славные представители нашей западной цивилизации.

Так или иначе, это не единственное значение, в котором выражение «определенность закона» понимается на Западе. Есть и другое значение, которое гораздо больше соответствует идеалу «верховенства» в английском и американском понимании, по крайней мере тех времен, когда «верховенство права» было идеалом, несомненно, связанным с личной свободой, понимаемой как свобода от вмешательства со стороны других, включая власти.

Глава 4

СВОБОДА И ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЗАКОНА

Греческая концепция определенности закона была концепцией писаного закона. Хотя в данном случае нас не очень интересуют исторические проблемы, было бы небезынтересно вспомнить, что греки, особенно ранних эпох, имели также представление об обычном праве (*customary law*) и вообще о неписаных законах. О последних упоминает сам Аристотель. Их не следует путать с более поздним представлением о праве как о совокупности письменных формулировок, в том терминологическом смысле, какой слово *nomos* приобрело в V—IV веках до н.э. Но и в более зрелую эпоху своего развития у древних греков также была возможность устать от своего традиционного представления о законе как о чем-то написанном и введенном в действие законодательными органами вроде афинского народного собрания.

Пример древних греков особенно уместен не только потому, что от них ведут начало политические системы, позже укоренившиеся в странах Запада, но и потому, что большинство греков, особенно афиняне, были искренними почитателями политической свободы в смысле, абсолютно нам понятном и сравнимом с нашим собственным ее пониманием. То, что, к примеру, говорит у Фукидида Перикл в надгробной речи афинским солдатам и морякам, которые первыми пали в Пелопонесской войне, могли бы повторить дословно такие современные идеологи политической свободы, как Джефферсон, Токвиль, Джон Стюарт Милль, лорд Актон и Спенсер. Вопрос о том, насколько аутентичны были записи, которые Фукидид использовал для реконструкции речи Перикла, все еще остается открытым. Но даже если допустить, что эту речь написал не Перикл, а Фукидид, то авторитет Фукидида как выразителя чувств афинян и духа своего времени не меньше, чем Перикла. Итак, в английском переводе Кроули, Перикл, в реконструкции Фукидида, использует следующие слова для описания афинской правовой и политической системы середины V века до н.э.: «Наш государственный

строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве (демоса). По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинujemyся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписаными, влекут (за нарушение их) общественный позор»¹.

В том виде, как она отражена в речи Перикла, греческая идея свободы очень похожа на нашу современную идею свободы — максимальной независимости от принуждения со стороны других, в том числе властей, в отношении нашего личного поведения. Прежнее представление некоторых исследователей, например, Фюстеля де Куланжа, о том, что древние греки в большинстве случаев имели в виду под словом «свобода» совсем не то, что мы, в последнее время подверглось пересмотру. Например, недавно вышла книга под названием «Свободомыслие в греческой политике» (Eric A. Havelock, *The Liberal Temper in Greek Politics*, 1957), автор которой, канадский ис-

¹ Thucydides, *The History of the Peloponnesian War*, II, 37—39, trans. by R. Crawley (London: J. M. Dent & Sons, 1957, p. 93). [См.: Хрестоматия по античной литературе. В 2-х т. Т. 1: Дератани Н. Ф., Тимофеева Н. А. Греческая литература. М.: Промсвещение, 1965].

следователь Эрик Хэвлок, привел доказательства того выдающегося вклада, который греческие мыслители, менее знаменитые, чем Платон и Аристотель, внесли в развитие идеала политической свободы, противостоящего рабству во всех смыслах слова. Один из выводов этой книги состоит в том, что греческая свобода была не «свободой от нужды», а «свободой от людей». Как отметил Демокрит в сохранившемся до наших дней фрагменте, «бедность при демократии настолько же предпочтительней того, что олигархия называет процветанием, насколько свобода предпочтительнее рабства». На этой шкале ценностей свобода и демократия находятся выше процветания. Остается мало сомнений в том, что шкала ценностей афинян была такова. Это совершенно точно отражало ценности Фукидида и Перикла. Мы читаем в надгробной речи, что афиняне, павшие в бою, должны быть образцом для сограждан, которые, «полагая счастье плодом свободы, а свободу — плодом доблести, никогда не откажутся от опасностей войны»¹.

Законотворчеством занимались народные законодательные собрания, и общие правила, сформулированные в письменном виде такими собраниями, противопоставлялись произвольным указам тиранов. Однако во второй половине V—IV веках до н.э. грекам, особенно афинянам, предстояло столкнуться с серьезными проблемами такого законотворчества, в результате которого все законы были «определенными» (то есть точно сформулированными и записанными), но никто не был уверен, что любой закон, действующий сегодня, не утратит силу завтра из-за принятия следующего закона. Реформирование афинской конституции Тисаменом в конце V века до н.э. предоставляет нам пример средства защиты от этого неудобства, который мог бы быть полезен и нынешним политикам, а также специалистам по политическим наукам. При нем в Афинах была установлена жесткая и сложная процедура, чтобы ввести в рамки законодательные новации. Специальный комитет магистратов (*nomotetai*), задача которого заключалась в том, чтобы охранять существующее законодательство от новых законопроектов, тщательно изучал каждый законопроект, предложенный каким-либо гражданином (в афинской системе прямой демократии каждый человек, принадлежавший ко всеобщему народному собранию, имел право законодательной инициативы,

¹ Loc. cit.

тогда как в Риме она была только у выборных магистратов). Конечно, авторы проекта имели право попытаться убедить всеобщее законодательное собрание в необходимости принять его, несмотря на мнение *nomotetai*, но при этом обсуждение представляло собой сравнение старого и нового закона, а не просто речь в защиту нового.

Но на этом история не заканчивалась. Даже когда закон в конце концов получал одобрение собрания, его автор отвечал за свою инициативу в случае, если другой гражданин, действуя против автора закона как истец, мог доказать, уже после одобрения закона собранием, что в новом законодательстве имеются серьезные недочеты или оно противоречит более старым законам, действующим в Афинах. В этом случае автор закона мог быть на законном основании подвергнут суду, а наказания бывали очень строгими, вплоть до смертного приговора, хотя, как правило, законодателей-неудачников просто штрафовали. Это вовсе не легенда. Все это нам известно из обвинений Демосфена против Тимократа, одного из таких неудачливых законодателей. Такая система штрафов для авторов вредных законов не противоречила демократии, если иметь в виду под демократией строй, при котором верховной властью является народ, и если согласиться с тем, что верховная власть означает также безответственность, о чем свидетельствуют многочисленные исторические примеры.

Итак, мы приходим к выводу, что афинская демократия в конце V и в течение IV века до н.э. явно не удовлетворялась представлениями о том, что определенность закона — это просто точные формулировки в письменном тексте.

Посредством реформы Тисамена афиняне наконец открыли, что они не могут быть свободны от вмешательства политической власти, только повинаясь ныне действующим законам; им также необходимо предвидеть последствия собственных действий в соответствии с законами завтрашнего дня.

Таков в действительности главный недостаток представления, что определенность закона — это четкая формулировка частного или общего писаного правила.

Однако идея определенности закона в политических и правовых системах Запада имеет не только упомянутый выше смысл. Она также понималась в совершенно ином смысле.

Определенность закона в смысле письменной формулы относится к ситуации, которая неизбежно включает возмож-

ность того, что действующий закон может быть в любой момент заменен последующим законом. Чем более интенсивным и ускоренным является процесс законотворчества, тем меньше определенности в вопросе о том, сколько времени будет действовать нынешнее законодательство. Более того, нет ничего, что мешало бы изменить какой-то вполне определенный в упомянутом смысле закон посредством другого закона, не менее «определенного», чем предыдущий.

Таким образом, определенность закона в этом смысле можно назвать краткосрочной определенностью закона. Действительно, кажется, что в наши дни существует параллель между краткосрочными мерами экономической политики и краткосрочной определенностью законов, которые вводятся в действие для обеспечения этих мер. Если обобщить, то политико-правовые системы почти всех современных стран в этом смысле можно назвать краткосрочными системами, по контрасту с классическими долгосрочными системами прошлого. Знаменитая фраза покойного Кейнса о том, что «в долгосрочной перспективе мы все мертвы», может послужить будущим историкам в качестве девиза нашего времени. Возможно, мы привыкли ожидать немедленных результатов от гигантского и беспрецедентного прогресса в области технических средств и научных приборов, разработанных для решения многих материальных задач и достижения многих материальных результатов. Несомненно, это создало у многих людей ожидание немедленных результатов также и в других областях, не зависящих от научно-технического прогресса.

Я вспоминаю разговор с одним стариком в моей стране, который занимался тем, что выращивал растения. Я попросил его продать мне большое дерево для моего сада. Он ответил: «Сегодня все хотят большие деревья. Люди хотят их немедленно; их не волнует то, что деревья растут долго и что требуется много времени и забот, чтобы вырастить дерево». «Сегодня все спешат, — печально сказал он, — и я не знаю, почему».

Кейнс мог бы объяснить ему, почему люди считают, что в долгосрочной перспективе они все умрут. Такую же установку можно заметить в связи с общим упадком религиозных чувств, на который сегодня жалуются многие священники и пасторы. В христианстве акцент обычно делался не на нынешней, а на будущей жизни человека. Чем меньше современный человек верит в будущую жизнь, тем больше он цепляется

за свою нынешнюю жизнь — он спешит оттого, что считает эту жизнь короткой. Это вызвало резкое омирщение религиозных верований в современных странах Запада и Востока, так что даже такая безразличная к этому миру религия, как буддизм, усилиями некоторых ее приверженцев приобрела «социальное» (а по сути скорее «социалистическое») звучание. Современный американский исследователь Дагоберт Рунес пишет в своей книге о созерцании: «Церкви утратили связь с Божественным и обратились к политике и литературной критике»¹.

Это может помочь объяснить, почему так мало внимания уделяется долгосрочной концепции определенности закона или, собственно, любой долгосрочной концепции, относящейся к человеческому поведению. Разумеется, это не означает, что краткосрочные системы эффективнее долгосрочных в достижении тех самых целей, к которым люди стремятся, когда изобретают, например, новую волшебную программу полной занятости, невиданную юридическую норму или просто просят садовника продать им большое дерево для сада.

Краткосрочная концепция — это не единственное представление об определенности закона, с которым встречается исследователь в истории политических и правовых систем стран Запада, если он обладает достаточным терпением, чтобы распознать принципы, которые лежат в основе институтов.

В эпоху античности все было иначе. Хотя историки могут до некоторой степени описать античную Грецию как страну с писаным законом, сомнительно, чтобы это было справедливо для Древнего Рима. Возможно, мы настолько привыкли думать о римской правовой системе в терминах Свода гражданского права Юстиниана, то есть в терминах писаного кодекса, что нам не удается осознать, как на практике применялось римское право. У римлян верховенство права в значительной степени вообще не было связано ни с каким законодательством. На протяжении большей части долгой истории Римской республики и Римской империи римское частное право, которое римляне называли *jus civile*, находилось вне досягаемости законодателей. Такие выдающиеся ученые, как покойные Ротонди и Винченцо Аранхио Руис, а также покойный английский юрист У. У. Бакленд, неоднократно повторяли, что «фунда-

¹ Dagobert D. Runes, *A Book of Contemplation* (New York: Philosophical Library, 1957), p. 20.

ментальные понятия и общую систему римского права следует искать в гражданском праве, то есть в наборе принципов, которые постепенно развились и усовершенствовались в течение многих веков в ходе судопроизводства, почти без вмешательства со стороны законодательного органа»¹.

Бакленд также замечает, вероятно, на основании исследований Ротонди, что «из многих сотен сохранившихся *leges* [актов, принятых законодательным органом] не больше сорока имели значение с точки зрения частного права», так что по крайней мере в классическую эпоху римского права «законодательные акты находились в подчиненном положении относительно частного права»².

Очевидно, что это происходило не оттого, что римляне не обладали необходимой компетенцией в сфере нормотворчества. У них было много разновидностей законодательных актов: *leges*, *plebiscita*, а также *Senatus Consulta*, которые принимали соответственно народ и Сенат. У них были также в распоряжении разные виды *leges*, например *leges imperfectae*, *minusquamperfectae* и *plusquamperfectae*. Но, как правило, они предназначали статутное право для той области, в которой законодательные органы имели прямые полномочия на вмешательство, то есть для публичного права, *quod ad rem Romanam spectat* (относящегося к римским делам), относящегося к функционированию политических собраний, Сената, магистратов, то есть их государственных чиновников. Для римлян статутное право, выраженное в законодательных актах, — это в основном конституционное и административное (а также уголовное) право, только опосредованно связанное с частной жизнью и частными делами граждан.

Это означало, что во всех тех случаях, когда, например, между римскими гражданами возникал спор об их правах или обязанностях по договору, они обычно не могли обосновать свои требования, обратившись к какому-либо законодательному акту, к четко сформулированному писаному правилу, которое было бы определенным в греческом или в краткосрочном смысле слова. Так, один из наиболее выдающихся современных историков

¹ W. W. Buckland, *Roman Law and Common Law* (2nd ed. revised by F. H. Lawson; Cambridge University Press, 1952), p. 4. Эта книга представляет собой блистательное сравнение двух систем.

² Ibid., p. 18.

римской юриспруденции Фриц Шульц отмечал, что «определенность» (в краткосрочном смысле) была чужда римскому гражданскому праву. Это вовсе не означает, что римляне не могли планировать будущие правовые последствия своих действий. Всем известно о грандиозном развитии римской экономики, и вряд ли есть нужда ссылаться здесь на посвященный этой теме фундаментальный труд Ростовцева*.

С другой стороны, всем исследователям римского частного права хорошо известно, что, как выражается профессор Шульц, «индивидуализм эллинистического либерализма привел к тому, что частное право развивалось на основе свободы и индивидуализма»¹. Собственно говоря, большинство наших ныне существующих континентальных кодексов, в том числе французский, немецкий и итальянский, были написаны в соответствии с нормами римской правовой системы, зафиксированными в «Свод» Юстиниана. Некоторые социалисты-реформисты называют их «буржуазными». Так называемые социальные «реформы» в современных европейских странах возможны (если предположить, что они возможны) только при условии отмены или модификации норм, которые очень часто восходят к правилам древнеримского частного права.

Таким образом, у древних римлян был закон, достаточно определенный, чтобы позволить гражданам свободно и уверенно строить планы на будущее, который при этом вообще не являлся писаным законом, то есть последовательностью четко сформулированных правил типа письменного кодекса. Римский юрист по сути был исследователем: объектами его исследований были решения дел, за которыми к нему обращались граждане, примерно так же, как сегодня промышленники могут обратиться к физику или к инженеру за решением технической проблемы, касающейся оборудования или производства. Поэтому римское частное право представляло собой целый мир реально существующих вещей, которые были частью общего достояния всех римских граждан, — то, что можно было открыть или описать, но не принять и не ввести в действие. Никто не принимал этих законов, и никто при всем желании не мог

* Ростовцев М. И. Общество и хозяйство в Римской империи. В 2-х т. СПб.: Наука, 2000—2001. — *Прим. научн. ред.*

¹ Fritz Schulz, *History of Roman Legal Science* (Oxford: Clarendon Press, 1946), p. 84.

их изменить. Это не означало, что изменений не было, но это определенно означало, что люди не ложились спать, строя планы на основании действующего закона, чтобы наутро обнаружить, что законодатели заменили этот закон другим.

Римляне выработали и применяли принцип определенности закона, который можно было бы описать так: закон не может быть изменен внезапно или непредсказуемым образом. Более того, как правило, закон не мог быть представлен на рассмотрение какому-либо законодательному собранию или отдельному индивиду, включая сенаторов и других высших должностных лиц государства, и не зависел от их произвольных желаний или произвольных полномочий. В этом состоит долгосрочная или, если вам так больше нравится, римская концепция определенности закона.

Несомненно, именно с этой концепцией была неразрывно связана та свобода, которой римские граждане традиционно пользовались в делах и вообще в частной жизни. До известной степени, результаты ее действия в сфере правовых взаимоотношений граждан были очень похожи на результаты действия свободного рынка в сфере их экономических взаимоотношений. Закон в целом был не менее свободен от принуждения, чем рынок. На самом деле я не могу представить себе действительно свободный рынок, который не был бы, в свою очередь, укоренен в свободной от произвольного (то есть внезапного и непредсказуемого) вмешательства властей или любого другого человека в мире правовой системы.

Можно было бы возразить на это, что римская правовая система должна была основываться на римской конституционной системе и, таким образом, если не прямо, то опосредованно, римская свобода в делах и в частной жизни была основана на статутном праве. Далее можно было бы утверждать, что статутное право в конечном итоге зависело от произвола сенаторов или таких законодательных собраний, как *comitia* (комиции, то есть народные собрания) и *concilia plebis* (разновидность комиций, в которых участвовали одни плебеи), не говоря о выдающихся гражданах, которые, как, например, Сулла, Марий или Цезарь, время от времени брали на себя контроль за всем происходящим и в силу этого получали полномочия на пересмотр конституции.

Тем не менее римские политики и государственные деятели всегда с чрезвычайной осторожностью подходили к использованию своих законодательных полномочий для вмешательства

в частную жизнь граждан. Даже диктаторы, например Сулла, довольно аккуратно вели себя в этом отношении, и, вероятно, мысль о том, чтобы уничтожить *jus civile*, показалась бы им такой же странной, как современным диктаторам — идея отменить законы физики.

Действительно, люди вроде Суллы приложили большие усилия, чтобы во многих отношениях изменить римскую конституцию. Сам Сулла пытался отомстить таким народам и городам Италии, как Арретиум и Волатерра, поддержавшим его главного врага Мария, заставив римские законодательные собрания принять законы, которые внезапно лишили жителей этих городов римского *jus civitatis*, то есть римского гражданства и всех связанных с ним привилегий. Мы знаем об этом из речи Цицерона в защиту Цецины, с которой он выступил в суде. Однако мы также знаем, что Цицерон выиграл дело, доказав, что закон, инициированный Суллой, не является легитимным, поскольку никакое законодательное собрание не может посредством законодательного акта лишить римского гражданина его гражданства, так же как оно не может последствием законодательного акта лишить римского гражданина его свободы. Закон, введенный в действие Суллой, был законодательным актом, формально одобренным народом; законы такого типа в Риме было принято называть *lex rogata*, то есть законодательный акт, который был одобрен народным собранием по просьбе избранного магистрата с соблюдением принятой процедуры. В связи с этим Цицерон упоминает, что с древнейших времен все законопроекты содержали оговорку, значение которой, хотя и ставшее с течением времени не совсем понятным, явно было связано с возможностью того, что содержание принятого законопроекта может оказаться противоправным: *Si quid jus non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum*. («Если в этом законопроекте, одобрить который я вас прошу, есть что-либо, противоречащее закону, ваше одобрение будет считаться ничтожным», — примерно так обращался магистрат к законодательному собранию римского народа.)

Это, как кажется, доказывает, что законодательные акты могли противоречить закону и римские суды не считали законными некоторые писанные и одобренные формально законы, например, те, которые лишали римских граждан их свободы или их гражданства.

Если Цицерон не лжет, можно сделать вывод о том, что римское право было ограничено принципом законности, чрезвычайно похожим на тот, который сформулировал Дайси применительно к английскому принципу «верховенства права»¹.

Согласно последнему, который тесно связан с историей обычного права в целом, нормы права были не просто итогом осуществления произвольной воли отдельных людей. Они представляли собой объект для непредвзятого расследования со стороны судов, точно так же, как римские правовые нормы были объектом непредвзятого расследования со стороны римских юристов, к которым тяжущиеся стороны обращались со своими спорами. Сейчас мнение о том, что суды *описывают* или *находят* верное решение по делу, как писал в своей заслуженно знаменитой книге «Как возникает закон» (*Law in the Making*) Карлтон Кемп Аллен, считается старомодным. Современная так называемая реалистическая школа, считающая доказанными многочисленные недостатки этого способа «открытия» законов, с удовольствием приходит к выводу, что работа судей в системе обычного права была и остается не более беспристрастной, чем работа законодателей, но при этом менее публична. Конечно, по этому поводу надо было бы сказать гораздо больше, чем это возможно здесь. Однако нельзя отрицать, что судья в системе обычного права всегда относился к *rationes decidendi* рассматриваемых дел (то есть к основаниям, из которых он исходит при принятии решения) не как законодатель, а как исследователь, задача которого состоит в том, чтобы подтвердить данные, а не изменить их. Я не отрицаю, что бывали случаи, когда судьи в системе обычного права сознательно выносили необъективное решение под ложным предлогом якобы уже существующего закона страны. Самый знаменитый из английских судей, сэр Эдвард Кок, не может быть избавлен от таких подозрений, и я осмелюсь утверждать, что самый знаменитый из американских судей, главный судья Маршалл, в этом смысле не отличается от своего прославленного английского коллеги XVII века.

¹ Этим и другими интересными замечаниями о римской правовой системе я обязан профессору В. Аранхио Руису, чья статья “La règle de droit dans l’antiquité classique”, опубликованная автором также в *Rariora* (Rome: Ed. di storia e letteratura, 1946, p. 233), является чрезвычайно информативной и стимулирующей.

Я всего лишь хочу подчеркнуть, что в Англии не могли с легкостью вводить в действие произвольные законы, потому там никогда не было возможности делать это непосредственно, в характерной внезапной, грандиозной и надменной манере законодателей. Более того, в Англии было столько судов и они так ревниво относились друг к другу, что даже знаменитый принцип прецедента, имеющего обязательную силу, не признавался ими открыто вплоть до относительно недавнего времени. Кроме того, они всегда имели право выносить решение только в связи с конкретным обращением к ним частных лиц. Наконец, относительно немногих людей обращались в суд за тем, чтобы узнать от судей нормы, которыми они руководствуются в принятии решений. В результате в процессе возникновения закона судьи находились скорее в позиции зрителей, а не актеров; причем в позиции зрителей, которым разрешено видеть не все из того, что происходит на сцене. На сцене находились частные граждане. Обычное право в основном состояло в том, что они обычно считали правом. В этом отношении реальными действующими лицами были обычные граждане, так же как они и сейчас являются реальными действующими лицами в процессе формирования языка и, по крайней мере частично, в экономических сделках, если речь идет о странах Запада. Грамматиков, которые описывают нормы языка, или статистиков, которые отслеживают цены или объемы товаров на рынке, гораздо правильнее считать обычными наблюдателями за происходящим вокруг, чем властителями, управляющими своими согражданами в том, что касается экономики и языка.

Возрастающее значение законодательного процесса в наше время, как на Европейском континенте, так и в англоговорящих странах, с неизбежностью скрыло то, что закон — это просто комплекс правил, относящихся к поведению обычных людей. Нет никаких оснований считать эти правила поведения резко отличающимися от других правил поведения, в которые политические власти вмешивались только в исключительных случаях или вообще не вмешивались. Действительно, в наше время единственным, что обычные люди сумели сохранить и защитить от политического вмешательства, является язык, по крайней мере в Западном мире. Сегодня в Красном Китае, например, правительство применяет насильственные меры, чтобы изменить традиционную систему письма, и подобное вмешательство уже увенчалось успехом в некоторых других странах

Востока, например, в Турции. Во многих странах люди уже почти совсем забыли о временах, когда, например, банкноты выпускал не только государственный банк, но и частные банки. Более того, сегодня мало кто знает о том, что чекан монет раньше был частным занятием, а правительства ограничивались тем, что защищали граждан от злоупотреблений со стороны фальшивомонетчиков, просто подтверждая качество и вес металлов, использованных для изготовления монеты. Похожая ситуация существует с общественным мнением о государственном секторе в экономике. В континентальной Европе, где железные дороги и телеграф давным-давно были монополизированы государством, только очень немногие, даже среди хорошо образованных людей, могут представить себе, что в какой-то стране железные дороги и телеграфные сообщения являются частным бизнесом — точно так же как кинематограф, отели и рестораны. Мы все больше привыкаем рассматривать законодотворчество как нечто такое, что имеет отношение к законодательным собраниям, а не к обычным людям, как нечто, что может соответствовать личным идеям конкретных индивидов, при условии, что их официальное положение предоставляет им такие полномочия. То, что на протяжении жизни десятков поколений, растянутым на много сотен лет, процесс создания законов является или был по преимуществу частным делом, затрагивающим миллионы людей, сегодня практически не осознается даже образованными слоями. Говорят, что у римлян не было вкуса к историческим и социологическим соображениям. Но они ясно осознавали то, о чем я только что упомянул. Например, согласно Цицерону, Катон Цензор (Старший), сторонник традиционного римского образа жизни и противник иностранного (то есть греческого) влияния, любил повторять, что «наше государственное устройство лучше устройства других государств по той причине, что в последних, можно сказать, отдельные лица создавали государственный строй на основании своих законов и установлений, например, у критян — Минос, у лакедемонян — Ликург, у афинян, чье государственное устройство весьма часто испытывало перемены, вначале — Тесей, затем Драконт, затем Солон, Клисфен и многие другие, а под конец совершенно ослабевшему государству не дал погибнуть ученый муж Деметрий Фалерский; напротив, наше государство создано умом не одного, а многих людей, и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков

и на протяжении жизни нескольких поколений. Ибо, — говорил Катон, — никогда не было такого одаренного человека, от которого ничто не могло бы ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела, не обладая долговременным опытом»¹.

Между прочим, эти слова напоминают нам о гораздо более известной, но менее волнующей фразе Бёрка, которая является обоснованием его консервативного взгляда на государство. Однако слова Бёрка имеют легкий мистический налет, которого мы не находим в бесстрастных рассуждениях старого и почтенного римлянина. Катон просто указывает на факты, не стремясь никого убедить, и те факты, на которые он указывает, несомненно, должны произвести большое впечатление на всякого, кто хоть немного знаком с историей.

Создание законов, как говорит Катон, в действительности не дело какого-либо отдельного индивида, исследовательского центра, эпохи и поколения. Если вы полагаете, что Катон неправ, вы получите худшие результаты по сравнению с теми, которые вы получили бы, согласившись с ним. Посмотрите на судьбу греческих городов, сравните с судьбой наших городов — и убедитесь. Это урок — нет, я сказал бы, завет — государственного деятеля, о котором мы обычно знаем только то, чему нас учили в школе: что он был раздражительным занудой, вечно настаивавшим на том, что Карфаген надо сровнять с землей, а его жителей — убить.

Любопытно отметить, что, когда современные экономисты, например, Людвиг фон Мизес, критикуют централизованное экономическое планирование за то, что оно не позволяет властям произвести какие-либо расчеты, относящиеся к реальным нуждам и к реальным возможностям граждан, они занимают позицию, которая напоминает нам об этом древнеримском государственном деятеле. То, что в тоталитарной экономике центральная власть, вырабатывая свои экономические планы, не располагает никакой информацией о рыночных ценах, является лишь следствием того, что центральная власть никогда не располагает достаточной информацией о бесконечном количе-

¹ Cicero *De republica* ii. 1, 2. [Русск. изд.: Марк Туллий Цицерон. Диалоги. М.: Научно-издательский центр «Ладомир» — Наука, 1994].

стве элементов и факторов, которые образуют социальное взаимодействие индивидов в любое время и на любом уровне. Власти никогда не могут быть уверены в том, что они делают то, чего от них хотят люди, точно так же как люди никогда не могут быть уверены в том, что, когда власти направляют весь процесс создания законов в стране, они не вмешаются в то, что люди хотят сделать.

Даже те экономисты, которые выступили с блистательной защитой свободного рынка от вмешательства властей, обычно уделяют недостаточно внимания тому фактору, что свободный рынок несовместим с процессом создания законов, централизованным властями. Недооценка этого фактора приводит некоторых из этих экономистов к тому, что они соглашаются с идеей определенности закона, то есть с точными формулировками писаного закона, в то время как эта идея несовместима ни со свободным рынком, ни, в конечном счете, с идеей свободы как отсутствия принуждения по отношению к частной жизни и делам каждого индивида со стороны других людей, включая власти.

Некоторым сторонникам свободного рынка может показаться несущественным, кто вырабатывает правила: законодательное собрание или судьи; можно даже быть сторонником свободного рынка и склоняться к мысли, что нормы, принятые законодательными органами, предпочтительнее, чем *rationes decidendi*, относительно нечетко излагавшиеся длинной последовательностью судей. Но, если требуются исторические подтверждения жесткой связи между свободным рынком и свободным процессом создания законов, достаточно принять во внимание, что свободный рынок достиг максимального развития в англоговорящих странах, где обычное право было практически единственным законом страны в сфере частной жизни и частного бизнеса. С другой стороны, такие явления, как нынешнее государственное вмешательство в рынок, всегда связаны с расширением сферы статутного права и с тем, что в Англии называлось «приданием официального характера» судебной власти, о чем, без всякого сомнения, свидетельствует современная история.

Если согласиться с тем, что личная свобода экономической деятельности, то есть свободный рынок, является одним из необходимых элементов политической свободы, если понимать ее как отсутствие принуждения со стороны других людей, включая власти, то необходимо также сделать вывод о том, что в сфере

частного права законодательство фундаментально несовместимо с индивидуальной свободой в вышеуказанном смысле.

Идея определенности закона не может зависеть от идеи законодательства, если понимать «определенность закона» как одну из ключевых характеристик верховенства права в классическом смысле этого выражения. Поэтому я считаю, что Дайси был абсолютно последователен, когда полагал, что верховенство подразумевает, что в основе английской конституции находятся судебные решения, а также когда противопоставлял эту ситуацию положению в континентальной Европе, где правовая практика и судопроизводство основаны на абстрактных принципах конституции, созданной законодателями.

Определенность, в смысле долгосрочной определенности закона, была именно тем, что в большей или меньшей степени имел в виду Дайси, когда утверждал, например, что власть, которая выше, чем закон страны, может приостановить или отменить все гарантии прав граждан, зафиксированные в континентальных конституциях, тогда как в Англии, «где конституция основана на принципе верховенства права, приостановление конституции, насколько можно себе представить, означало бы революцию»¹.

То, что как раз такая революция происходит на наших глазах, не опровергает, а скорее подтверждает теорию Дайси. В Англии происходит революция посредством постепенной замены закона страны статутным правом и превращением *rule of law* (верховенства права) во что-то, все больше и больше напоминающее континентальное *état de droit* (правовое государство), то есть совокупность правил, *определенность* которых заключается в том, что они выражены в письменной форме, а *всеобщий характер* вытекает не из общей веры в них граждан, а из того, что они были приняты кучкой законодателей.

Иными словами, в Англии безличный закон земли все больше и больше переходит под контроль верховной власти, как этого в свое время требовали Гоббс, а позже — Бентам и Остин, вопреки мнению большинства современных им английских юристов.

Сэр Мэтью Хейл, блестящий ученик сэра Эдварда Кока, Главный судья Англии после Кока, в конце XVII века встал на защиту своего учителя от критики, с которой на него обрушился Гоббс в своем малоизвестном произведении «Диалог об об-

¹ Dicey, loc. cit.

щем праве» (*Dialogue on the Common Law*). В типичной для него сциентистской манере Гоббс утверждал, что закон не является продуктом, по причудливому выражению Кока, «искусственного разума» и что каждый мог бы установить общие принципы права, просто используя присущий всем людям здравый смысл. «Хотя и верно, что человек рождается неразумным, но все взрослые люди, — писал Гоббс, — могут делать это так же хорошо, как законники, и в случае, когда они приложили свой разум к законам, ...они могут быть так же способны к судопроизводству, как сам сэр Эдвард Кок»¹. Это может показаться странным, но Гоббс считал это утверждение совместимым с тезисом о том, что «никто, кроме законодателя, не может быть источником закона». Дискуссия между Гоббсом, с одной стороны, и Коком и Хейлом — с другой, вызывает большой интерес в связи с чрезвычайно важными методологическими вопросами, которые возникают из сравнения работы юристов с занятиями других людей, например, физиков или математиков. Отвечая Гоббсу, сэр Мэтью Хейл отметил, что юридическую науку бессмысленно сравнивать с другими науками, например, с «математическими науками», потому что для «упорядочивания гражданских обществ и измерения добра и зла» необходимо не только иметь верные общие представления, но и правильно применять их к конкретным случаям (что, собственно, и пытаются делать судьи).

Хейл утверждал, что «те, кто льстит себе, будто они могут так же убедительно и слаженно измыслить безошибочную систему законов и политики [то есть, как сказали бы мы, писаных конституций и законодательства], равно прилагаемую ко всем состояниям [то есть условиям], как Евклид нам представляет в своих заключениях, обманывают себя представлениями, кои окажутся бездейственны, когда дойдет дело до их применения в особых случаях»².

¹ Thomas Hobbes, *Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England* (1681) в: Sir William Molesworth, ed., *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury* (London: John Bohn, 1829—1845), VI, 3—161.

² Matthew Hale, “Reflections by the Lord Chief Justice Hale on Mister Hobbes, His *Dialogue of the Law*,” впервые опубликовано в: Holdsworth, *History of English Law* (London: Methuen & Co., 1924), Vol. V, Appendix, p. 500.

Одно из самых поразительных замечаний Хейла демонстрирует, насколько хорошо он, как и Кок, осознавал требование определенности в смысле именно долгосрочной определенности закона: «Было бы глупой и бессмысленной вещью для любого полагать неправильным институт, каковой, по его разумению, он мог бы измыслить лучше, или же ожидать от математического рассуждения, чтобы оно доказало того института разумность и самоочевидность... Одна из самых великой значимости вещей в профессии обычного права в том состоит, чтобы держаться так близко, как только можно, к *определенности* закона и к созвучию его с самим собой, чтобы один век и один суд мог одинаковые вещи высказывать и вести одинаковую нить закона одним единообразным правилом так близко, как только возможно; иначе не пройдет и половины века, как потеряется то, что во все веки и во всех местах хранилось в законах, или *определенность* [курсив мой. — Б. А.], коей избегается произвол и дурное чудачество, что случается, когда мысли судей и адвокатов не сберегаются в их записях. Таковое сохранение законов в их пределах и границах никогда бы не могло быть, ежели бы люди не были напитаны учением и не знали бы, каковы мнения, решения и приговоры прошлых времен»¹.

Было бы трудно более ясно и решительно увязать понятие определенности с единообразием правил, сохраняемым в течение веков, а также с непрерывностью скромных и ограниченных трудов, осуществляемых судами, а не законодательными органами. Именно это имеется в виду под долгосрочной определенностью закона, которая в конечном счете несовместима с краткосрочной определенностью, вытекающей из отождествления закона с законодательством.

Римская концепция определенности закона также была долгосрочной. Знаменитые исследователи обращали внимание на отсутствие у римских юристов индивидуальности. Савиньи называл их «взаимозаменяемыми личностями». Отсутствие индивидуальности было естественным спутником их индивидуалистического взгляда на частные законы, исследованием которых они занимались. Они воспринимали частное право как общее наследство всех римских граждан. В силу этого никто не чувствовал себя полномочным менять его по своему желанию. Когда изменения происходили, они признавались юристами как

¹ Ibid., p. 505.

изменения, которые уже произошли в действительности, а не как изменения, которые ввели они сами. По той же причине римские юристы, как и их современные наследники, английские судьи, никогда не занимались формулированием абстрактных принципов, но всегда интересовались «особливыми случаями», как выразился бы сэр Мэтью Хейл. Более того, отсутствие индивидуальности у римских юристов было того же свойства, о котором сэр Мэтью Хейл писал: «Есть для меня причина предпочесть закон, которым царство четыре или пять сотен лет счастливо управлялось, нежели безрассудно рискнуть счастьем и миром сего царства из-за новой теории моего собственного измышления»¹.

По той же причине римские юристы ненавидели абстрактные теории и всю атрибутику той философии права, которую культивировали греческие мыслители. Как один римский юрист (и государственный деятель), Нераций, однажды написал во II веке н.э.: *Rationes eorum quae constituntur inquire non oportet, alioquin multa quae certa sunt subvertuntur* («Нам следует избегать исследования разумных оснований наших институтов, чтобы их определенность не была утрачена и они не разрушились»)².

Краткое резюме: многие страны Запада и в древние, и в современные эпохи считали идеал личной свободы (отсутствия принуждения со стороны других людей, включая власти) необходимым элементом своих политических и правовых систем. Определенность закона всегда была ярко выраженной характеристикой этого идеала. Однако существовало два разных и в конечном счете несовместимых понимания того, что такое определенность закона: с одной стороны, точность письменного текста, исходящего от законодателей, и, с другой стороны, открытая индивидам возможность строить долгосрочные планы на основании совокупности правил, которые принимаются людьми в качестве общих правил стихийно и при необходимости подтверждаются судьями на протяжении веков и поколений в ходе судебных разбирательств. Исследователи редко или

¹ Ibid., p. 504.

² Dig. I, 3, 21. [В русск. изд.: «И потому не нужно исследовать основания того, что устанавливается; иначе было бы разрушено многое из того, что представляется определенным» (Дигесты Юстиниана. Т. I. М.: Статут, 2002. С.111).]

даже вовсе не различали эти две концепции «определенности», а обычные люди в странах континентальной Европы и в англоговорящих странах употребляли этот термин в неопределенном значении. Вероятно, это главная причина того, почему сравнение европейских конституций и английской конституции могло считаться более простой задачей, чем есть на самом деле, и почему европейские специалисты по политическим наукам могли решить, что они изобрели хорошие имитации английской конституции, не учитывая того значения, которое особый процесс создания законов, известный как обычное право, всегда имел для английской конституции.

Пожалуй, без этого процесса создания законов невозможно понять, что такое верховенство права в классическом английском смысле, как описано у Дайси. С другой стороны, без законодательного процесса ни одна из континентальных систем не была тем, чем они являются сейчас.

В наше время путаница с употреблением выражений «определенность» и «верховенство права» особенно возросла в связи с развивающейся в англоговорящих странах тенденцией придавать особое значение законам, возникшим в ходе законодательного процесса, а не в ходе судопроизводства.

Очевидные последствия этой путаницы уже начали отражаться на идеях политической свободы и свободы предпринимательства. Терминологическая путаница в очередной раз оказалась источником многочисленных неприятностей. Я не утверждаю, что все наши трудности объясняются терминологической путаницей. Однако очень важной задачей для специалистов по политическим наукам и для экономистов является анализ различных противоречивых значений, которые мы — в странах английского языка и в странах континентальной Европы — подразумеваем, когда мы говорим о «свободе» в связи с «определенностью закона» и «верховенством права».

Глава 5

СВОБОДА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Из предыдущих глав можно сделать один очень важный вывод о том, что правовое государство, в классическом смысле этого выражения, может существовать только в условиях гарантированной определенности закона, при которой у индивидов имеется возможность долгосрочно планировать собственное поведение в частной жизни и в предпринимательской деятельности. Более того, мы не сможем построить правовое государство на основании законодательства, если не будем использовать радикальные и доходящие практически до абсурда меры, подобные тем, к которым прибегли афиняне во времена *nomotetai*.

Для нашего времени типичной тенденцией является расширение полномочий, которые чиновники в странах Запада уже приобрели и продолжают приобретать по отношению к своим согражданам, невзирая на то, что, как правило, по идее, эти полномочия должны быть законодательно ограничены¹. Современный исследователь Э. Н. Глэдден дал своей книге удачное название «Бюрократия или государственная служба» (E. N. Gladden, *Bureaucracy or Civil Service*), в котором отражена дилемма, вытекающая из этой ситуации. Когда государственные служащие оказываются выше закона страны — вне зависимости от того, каков этот закон, — на сцену выходят бюрократы. В некоторых случаях чиновники намеренно подменяют положения закона собственной волей, полагая, что они улучшают закон и с помощью не предусмотренных в законе

¹ О Великобритании см. очень качественный анализ профессора Дж. У. Китона в: G. W. Keeton, *The Passing of Parliament* (London: E. Benn, 1952). О США см.: Burnham, *Congress and the American Tradition* (Chicago: Regnery, 1959), особенно “The Rise of the Fourth Branch,” p. 157 и Lowell B. Mason, *The Language of Dissent* (Cleveland, Ohio: World Publishing Co., 1959).

средств достигают тех самых целей, ради которых, по их мнению, и был принят этот закон. Часто не может быть сомнений, что чиновники действуют искренне и движимы наилучшими побуждениями.

Позвольте мне привести пример, взятый из современной бюрократической практики моей страны. У нас в Италии есть нормативные акты, регулирующие дорожное движение. В них предусмотрены различные наказания для водителей за совершенные ими нарушения. Обычно это штрафы, хотя в исключительных случаях нарушитель может быть осужден и приговорен судом к тюремному заключению. Более того, в отдельных случаях, специально установленных в других нормативных актах, нарушитель может быть лишен водительских прав: например, если он причинил другим людям серьезные физические повреждения или крупный ущерб, а также, например, если он вел машину в пьяном виде. Поскольку плотность автомобильного движения в моей стране непрерывно увеличивается, дорожно-транспортные происшествия случаются все чаще. Власти убеждены, что лучшим средством, способным уменьшить их число (хотя и не панацеей), является строгое отношение представителей контрольных служб к нарушителям. Чиновники исполнительной власти, в том числе министр внутренних дел и подчиненные ему государственные чиновники, префекты, сотрудники общенациональной полиции по всей стране, сотрудники местной полиции в городах и прочие сверху до низу — все они пытаются реализовать эту теорию на практике, когда имеют дело с нарушениями правил дорожного движения. Но часто некоторые из них заходят дальше. Кажется, будто они убеждены в чрезмерной мягкости и неповоротливости закона страны в этом отношении (речь идет о нормативных актах, устанавливающих наказание, решение о котором выносят судьи, и о соответствующих процессуальных нормах) и считают, что он не соответствует новым требованиям, которые предъявляет современная дорожно-транспортная ситуация. Некоторые чиновники в моей стране пытаются «улучшить» процедуру, которой они должны следовать в соответствии с законом страны.

Все это объяснил мне один из чиновников, когда я пытался от имени некоторых своих клиентов протестовать против того, что я считал незаконными мерами властей. В полицейском отчете было указано, что водитель такой-то совершил запрещен-

ный обгон. В результате префект немедленно и совершенно неожиданно лишил его водительских прав. В итоге этот человек больше не мог водить свой грузовик, а это означало, что он остался практически без работы до тех пор, пока власти не согласились вернуть ему права. Согласно нашим писанным нормативным актам, в ряде случаев префект имеет право лишить нарушителя водительских прав, но запрещенный обгон, в результате которого никто не пострадал, к таким случаям не относится. Когда я обратил на это внимание чиновника, о котором шла речь выше, он согласился со мной, что возможно, исходя из корректного истолкования действующих правил, мой клиент не совершал такого нарушения, за которое у него можно отобрать права. Также этот чиновник вежливо объяснил мне, что, когда власти отбирают права у нарушителей, примерно в 70% случаев речь идет о нарушениях, за которые такое наказание по закону не полагается. «Понимаете, — сказал он, — если мы не будем этого делать, люди в этой стране [иногда возникает впечатление, что чиновники считают себя жителями другой страны] будут водить недостаточно осторожно, потому что им плевать на штраф в несколько тысяч лир, который установлен законом. Но если на какое-то время отобрать у них права, они это почувствуют и в будущем станут водить аккуратнее». Он также философски заметил, что, по его мнению, можно оправдать несправедливость по отношению к сравнительно небольшой группе граждан тем общественно полезным результатом, который, по мнению властей, таким образом достигается в области улучшения обстановки на дорогах.

Еще более потрясающую историю на ту же тему рассказал мне один мой коллега. Он был у окружного прокурора, чтобы принести протест против выданного тем ордера на арест его клиента — водителя, насмерть задавившего пешехода. Согласно нашему закону, убийство по неосторожности может наказываться тюремным заключением. При этом окружные прокуроры уполномочены выдавать ордер на арест до суда, если они считают, что в данных обстоятельствах предварительное заключение является желательным, но только в особых случаях, которые установлены нашим уголовно-процессуальным законодательством. Совершенно очевидно, что предварительное заключение представляет собой не наказание, а меру предосторожности, которая применяется, например, для того, чтобы обвиняемый в преступлении не смог скрыться до суда

или даже чтобы он до суда не имел возможности совершить другого преступления. Поскольку в данном случае таких причин определенно не было, мой коллега спросил у окружного прокурора, почему же он все-таки выдал ордер на арест. Прокурор ответил, что в свете роста количества жертв дорожно-транспортных происшествий с его стороны совершенно законно и правильно препятствовать нарушителям в совершении дальнейших безобразий, отправляя их в тюрьму. Кроме того, судьи обычно не очень строги по отношению к тем, кто совершил убийство по неосторожности, поэтому в любом случае нарушителю будет полезно немножко посидеть до суда. Этот чиновник честно признал, что он ведет себя так для того, чтобы улучшить закон; он считал использование таких средств, как тюремное заключение, совершенно оправданным для того, чтобы достигнуть поставленной цели сокращения числа жертв дорожных происшествий, несмотря на то, что они не были предусмотрены законом.

Это типичный случай поведения чиновников, которые подменяют закон собственным разумением, растягивая норму закона так, чтобы под нее попадали придуманные ими правила, под предлогом, что закон не достигнет цели в данных обстоятельствах, если его интерпретировать и применять более корректно. Между прочим, описанная выше история представляет собой также пример *противозаконного* поведения, а именно, нарушающего закон поведения государственных чиновников; не следует путать его с *произвольным*, поведением, которое, например, разрешено в настоящее время британским чиновникам в случае отсутствия определенных административных правил. Хорошим примером произвольного поведения британской администрации может служить знаменитый и довольно запутанный случай с Кричел Дауном, земельным участком, реквизированным под цели национальной обороны, что некоторое время назад вызвало такие протесты в Англии. Государственные чиновники, которые во время войны на совершенно законном основании реквизировали участок, чтобы использовать его как полигон для бомбометания, после войны пытались использовать ту же собственность совершенно в других целях, например, для проведения сельскохозяйственных опытов и т.п.

В такого рода случаях существование конкретных правил, в смысле четко сформулированных и зафиксированных на

письме актов, может быть очень кстати если не потому, что они всегда предотвращают нарушение закона чиновниками, то, как минимум, потому, что они делают чиновников ответственными за их поведение перед обычными или административными судами (пример последних — французский *conseil d'état*).

Однако будем двигаться дальше и перейдем к важному пункту моих рассуждений. За последние сто лет во всех странах Запада пространство личной свободы сокращалось не только и не столько из-за посягательств и притязаний на него чиновников, действующих в нарушение закона, но из-за того, что нынешняя правовая система, а конкретно статутное право, дает чиновникам полномочия действовать так, что, с точки зрения предшествовавшей правовой системы, их действия рассматривались бы как присвоение власти и посягательство на личную свободу граждан¹.

Это ясно демонстрирует, например, история так называемого английского «административного права», которую можно вкратце изложить как последовательность нормативных актов, делегирующих чиновникам исполнительной власти законодательные и судебные полномочия. Судьба личной свободы на Западе зависит главным образом от этого «административного» процесса. Однако не следует забывать, что сам этот процесс, если не учитывать случаев чистой узурпации полномочий (которые, вероятно, не так значительны и многочисленны, как мы себе представляем), стал возможен благодаря законодательству.

Я полностью согласен с теми современными исследователями, которые, подобно Фридриху Хайеку, не доверяют чиновникам исполнительной власти, но я полагаю, что люди, которые ценят личную свободу, должны еще меньше доверять законодателям, поскольку именно посредством законодательства увеличивались и продолжают увеличиваться полномочия чиновников (в том числе так называемые широкие полномочия, которые вернее назвать абсолютными). В последнее время судьи тоже внесли в это свой вклад, по крайней мере посредством недеяния. Такой выдающийся исследователь, как

¹ См., например, новый (1959) закон о правилах дорожного движения в Италии, в котором резко возросла сфера дискреционных мер, которые разрешено применять против водителей чиновникам, например, «префектам».

процитированный выше Карлтон Кемп Аллен, утверждает, что в Англии суды могли бы вступить в соревнование и столкновение с исполнительной властью, как они были склонны делать в былые времена, чтобы подтвердить и даже расширить свои полномочия в связи с изменившейся концепцией взаимоотношений государства и личности. Однако в последнее время, если верить сэру Карлтону, они занимались «диаметрально противоположным»; они все в большей и большей степени «были склонны держаться в стороне от “чисто административных” дел и отказываться от любого вмешательства в действия исполнительной власти».

В то же время такой выдающийся судья, как сэр Альфред Деннинг, один из членов Апелляционного суда Ее Величества, в книге «Меняющийся закон» (Alfred Denning, *The Changing Law*), впервые изданной в 1953 году, предоставляет нам убедительный отчет о действиях британских судов последнего времени, направленных на поддержание правового государства посредством сохранения контроля судов ординарной юрисдикции над департаментами правительства (особенно после принятия Акта о действиях королевской власти [Crown Proceedings Act] 1947 года) и странными феноменами вроде национализированных отраслей и внутриведомственных судов (против одного из которых Суд королевской скамьи издал приказ об истребовании дела в знаменитом нортумберлендском споре 1951 года), частных судов (например, созданных профсоюзами) и т.д. Трудно решить, кто прав: сэр Карлтон, который обвиняет суды ординарной юрисдикции в равнодушии к новым полномочиям исполнительной власти, или сэр Альфред Деннинг, который отмечает их активность в этом отношении.

Множество полномочий было передано государственным чиновникам в Англии и в других странах посредством вступления в силу законов, одобренных законодательными собраниями. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, например, на историю делегирования полномочий в Великобритании за последнее время.

Одно из глубоко укоренившихся политических верований нашего времени состоит в том, что, поскольку законы принимает парламент, избираемый народом, то народ является источником законодательного процесса, и воля народа или по крайней мере той его части, которая является электоратом, как

мог бы выразиться Дайси, в конце концов восторжествует во всех вопросах, находящихся в ведении правительства.

Я не знаю, до какой степени эта доктрина способна противостоять критике, подобной той, которую предложили в начале нашего века мои соотечественники Моска и Парето в своих знаменитых теориях роли управляющих меньшинств, или, как сказал бы Парето, элит, на которые до сих пор часто ссылаются социологи и специалисты по политическим наукам в США. Вне зависимости от выводов, к которым мы придем относительно этих теорий, «народ» и «электорат» не являются понятиями, которые можно с легкостью редуцировать или вообще совместить с представлением об индивиде как об отдельном гражданине, действующем по собственной воле и, соответственно, «свободным» от принуждения в смысле, который мы оговорили выше. Со времен древних афинян в странах Запада идеалы свободы и демократии сопутствовали друг другу. Однако такие мыслители прошлого, как Токвиль и лорд Актон, отмечали, что личная свобода и демократия могут стать несовместимыми в тех случаях, когда большинство нетерпимо либо меньшинство непокорно и, в более общем случае, тогда, когда в политическом обществе есть те, кого Лоренс Лоуэлл назвал бы «непримиримыми». Это понимал Руссо, когда отмечал, что все системы большинства, если они хотят считаться отражением «общей воли», должны быть основаны на консенсусе, по крайней мере в отношении принципа правления большинства.

Если такой консенсус не является выдумкой политических философов, а действительно имеет реальное значение в политической жизни, то мы должны признать, что во всех тех случаях, когда меньшинство не соглашается с решением большинства добровольно, а вынужденно терпит его, точно так же как индивиды могут терпеть принуждение, чтобы избежать худшего принуждения от грабителей и шантажистов, личная свобода, в смысле отсутствия принуждения со стороны других людей, несовместима с демократией, понимаемой как господство численно превосходящей группы.

Если принять во внимание, что в демократическом обществе законодательный процесс необходимо зависит от численного превосходства, следует сделать вывод о высокой вероятности того, что во многих случаях этот процесс будет несовместим с индивидуальной свободой.

Последние исследования так называемой науки о выработке политики и особенностях принятия решений группами, как правило, довольно убедительно подтверждают этот вывод¹.

Попытки некоторых ученых в последнее время сравнить такие разные формы поведения, как поведение покупателя и продавца на рынке, с одной стороны, и избирателя на выборах — с другой, и обнаружить между ними какой-нибудь общий фактор кажутся мне скорее стимулирующими, не только из-за связанных с ними методологическими проблемами, соответственно, экономической и политической науки, но также из-за того, что на протяжении последних 100—120 лет вопрос о том, существует ли разница между экономическим и политическим (или правовым) положением индивидов внутри одного и того же общества, был одним из главным пунктов разногласий в споре между либералами и социалистами.

Этот спор может заинтересовать нас в нескольких отношениях, поскольку мы пытаемся найти подтверждение концепции свободы как отсутствия принуждения со стороны других людей, включая власти, которая подразумевает свободу в экономической сфере так же, как в любой другой сфере частной жизни. Социалистические доктрины утверждали, что в условиях правовой и политической системы, которая гарантирует всем равные права, ни одно из преимуществ равноправия не достанется тем людям, у которых нет средств, чтобы пользоваться выгодой от многих из этих прав. Либеральные доктрины, напротив, утверждали, что все попытки «совместить» политическую свободу со «свободой от нужды» для «неимущих», предлагавшиеся или навязывавшиеся социалистами, приводят к противоречиям внутри системы, так что оказывается невозможно гарантировать всем «свободу» в смысле свободы от нужды, не ограничив политическую и правовую свободу, понимаемую как отсутствие принуждения со стороны других людей. Но либеральные доктрины не ограничиваются этим. Они также утверждают, что на практике та степень «свободы от нужды», которая может быть достигнута на свободном рынке, не может быть достигнута постановлениями правительства или посредством государственного управления экономикой.

¹ Я обращался к этой теме еще два раза: в некоторых из лекций, читанных в Наффилд-колледже в Оксфорде, а также на отделении экономики Манчестерского университета в 1957 году.

И социалисты, и либералы признают различие, имеющееся между юридической и политической свободой индивида, понимаемой как отсутствие принуждения, с одной стороны, и «экономической», или «естественной», свободой индивида — с другой, если мы должны согласиться, что слово «свобода» означает также «отсутствие нужды». Либералы и социалисты смотрят на это различие с противоположных позиций, но в конечном счете и те, и другие признают, что слово «свобода» может иметь разные, в том числе несовместимые, значения для индивидов, принадлежащих к одному и тому же обществу.

Нет сомнений, что введение в политическую или правовую систему «свободы от нужды» подразумевает необходимость модификации концепции «свободы» как гарантированной в этой системе свободы от принуждения. Как отмечают либералы, это происходит из-за отдельных положений проникнутых духом социализма законодательных актов и постановлений, которые несовместимы со свободой предпринимательской деятельности. Но, кроме того и прежде всего, это происходит оттого, что сама попытка введения «свободы от нужды» — как признают все социалисты, по крайней мере тогда, когда они стремятся изменить существовавшие до них исторические общества, а не ограничиваются созданием общин добровольцев в отдаленных уголках земли — совершается законодательным путем и тем самым через принятие решений большинством, вне зависимости от того, является ли парламент выборным органом, как почти во всех современных политических системах, или непосредственным выражением воли народа, как это было в Древнем Риме, в древнегреческих городах-государствах или сейчас в швейцарских *Landsgemeinde*. Никакая система свободной торговли не сможет работать, если она не является частью правовой и политической системы, которая помогает гражданам противодействовать вмешательству в их дела других людей, включая власти. Вероятно, однако, что характерной чертой систем свободной торговли является то, что они совместимы с такими правовыми и политическими системами, в которых законодательство не играет или практически не играет роли в сфере частной жизни и бизнеса, и, возможно, не совместимы ни с какими другими системами. В отличие от этого социалистические системы без помощи законодательства не могут существовать сколько-нибудь продолжительное время. Насколько мне известно, нет таких исторических примеров, которые доказывали бы, что социалистическая

«свобода от нужды» для всех индивидов совместима с такими институтами, как система обычного права или римское право, в которых в процессе создания закона участвуют все граждане, лишь иногда обращаясь к помощи судей и экспертов, типа римских юристов, а также, как правило, не прибегая к законодательству.

Только так называемые утописты, которые пытались продвигать добровольческие общины как способ построения социалистических обществ, полагали, что они могут обойтись без законодательства. Но на самом деле и у них получалось обходиться без него только в самом начале их экспериментов, пока их добровольные ассоциации не превращались в хаотическую смесь добровольцев-ветеранов, бывших добровольцев и новичков, у которых уже не было особых социалистических убеждений.

Социализм и законодательство неразрывно связаны, поскольку законодательство является условием выживания социалистических обществ. Вероятно, это главная причина, по которой в системах обычного права, таких как английская и американская, все больший вес приобретают не просто законодательные акты и постановления, но и сама по себе идея того, что правовая система в конечном итоге является системой законодательства и что «определенность» является краткосрочной определенностью писаного закона.

Причина, по которой социализм и законодательство неразрывно связаны, состоит в том, что, в то время как свободный рынок подразумевает стихийную коррекцию спроса и предложения на основании шкалы предпочтений индивидов, такая коррекция невозможна, если основания для спроса и предложения различны, то есть если шкалы предпочтений участников рынка некомплементарны. Такое может происходить, например, во всех случаях, когда покупатели считают цены продавцов слишком высокими или когда продавцы считают, что покупатели предлагают слишком низкие цены. Продавцы, которые не в состоянии удовлетворить покупателей, и покупатели, которые не в состоянии удовлетворить продавцов, не образуют рынка — за исключением случая, когда продавцы (или, соответственно, покупатели) располагают способом принудить своих паттернов по рынку согласиться на их требования.

По мнению социалистов, богатые люди «лишают» бедных того, в чем последние нуждаются. Утверждать это — значит просто злоупотреблять языком, поскольку не доказано, что

«имущие» и «неимущие» имеют или имели права на совместное владение всеми вещами. Верно, что в отдельных случаях, таких как вторжения и завоевания, и вообще в случаях грабежа, пиратства, шантажа и т.п. исторический опыт подтверждает социалистическую точку зрения. Но такое никогда не происходит на свободном рынке, то есть в системе, которая позволяет отдельным продавцам и покупателям противодействовать принуждению со стороны других людей. В этой связи мы также видели, что очень немногие экономисты учитывают эти «контрпродуктивные» действия, поскольку их обычно рассматривают как нечто происходящее вне рынка и в силу этого не заслуживающее экономического исследования. Если никого нельзя лишить возможности защищаться и принудить платить за товары и услуги больше, чем он заплатил бы за них без принуждения, то контрпродуктивные действия невозможны, потому что в таких случаях спроса на соответствующие товары и услуги не будет и, следовательно, не будет происходить никакого приспособления цен в результате взаимодействия между продавцами и покупателями.

Законодательство позволяет достигнуть того, чего невозможно достигнуть путем стихийного приспособления. В соответствии с конкретными актами, возможно, принятыми законодательными органами — как это происходит сейчас — на основании такой процедуры, как волеизъявление большинства, можно законодательно обязать спрос удовлетворить предложение, или наоборот.

Та особенность законодательства, которая в равной степени бросается в глаза и правоведам, и обычным людям, состоит в том, что законодательные акты обеспечиваются санкцией и распространяются на всех, в том числе на тех, кто никогда не участвовал в процессе создания этих актов и может вообще не знать об их существовании. Это отличает законодательный акт от решения, которое судья выносит по делу, с которым к нему обращаются его участники. Это решение может обеспечиваться санкцией, но это не происходит автоматически, то есть без участия сторон или, по крайней мере одной из них. В любом случае, санкция непосредственно не распространяется на других людей, которые не участвовали в споре и не были представлены сторонами дела.

Итак, теоретики обычно связывают законодательство с обеспечением санкцией (enforcement), в то время как в судебных

решениях эта связь не так подчеркивается и, во всяком случае, в меньшей степени проявляется. Напротив, мало кто отмечал, что обеспечением санкцией связано с законодательством не только применительно к результатам законодательного процесса, но и в ходе этого процесса. Участники последнего, в свою очередь, испытывают принуждение со стороны процессуальных норм, и это придает принудительный характер всей законодательной деятельности, которую осуществляет группа людей в соответствии с предварительно установленной процедурой. То же самое верно относительно активности избирателей, чью задачу можно определить как принятие группового решения о том, кто будет избран в соответствии с процедурными нормами, которые были установлены предварительно для всех, кто участвует в выработке решения.

Существование принудительной процедуры принятия решений во всех случаях, когда люди должны принять решение как члены группы, а не как отдельные индивиды, — это как раз то, что отличает процесс индивидуального принятия решений от группового.

Этим различием пренебрегают те теоретики (например, английский экономист Дункан Блэк), которые пытались создать такую теорию принятия групповых решений, которая включала бы и экономические решения, принимаемые индивидами на рынке, и групповые решения на политической сцене. По мнению Блэка, который только что опубликовал новую книгу на эту тему, между этими двумя типами решений нет существенной разницы. Покупателей и продавцов на рынке можно сравнить, если брать их в совокупности, с членами комиссии, решения которой являются результатом взаимодействия шкал предпочтений ее членов в соответствии с законом спроса и предложения. С другой стороны, индивидов, действующих на политической сцене, по крайней мере во всех тех странах, где политические решения принимают группы, можно рассматривать как членов комиссий, абстрагируясь от конкретных функций каждой комиссии. Электорат можно рассматривать как одну из таких «комиссий» не в меньшей степени, чем законодательное собрание или кабинет министров. Во всех этих случаях, по мнению Блэка, шкала предпочтения каждого члена комиссии сталкивается со шкалой предпочтений остальных членов той же комиссии. Единственное различие — но, по мнению Блэка, несущественное — в том, что рыночные предпочтения сталки-

ваются друг с другом в соответствии с законом спроса и предложения, а выбор из политических предпочтений происходит согласно определенной процедуре. Если эта процедура известна, утверждает Блэк, и если известно, из какого набора политических предпочтений будет происходить выбор, то мы в состоянии заранее вычислить, какие предпочтения отразятся в решении группы, точно так же как мы в состоянии заранее вычислить, при условии, что знаем набор предпочтений на рынке, какие из них проявятся в соответствии с законом спроса и предложения.

Как полагает профессор Блэк, можно говорить о тенденции к равновесию предпочтений на политической сцене точно так же, как мы говорим о равновесии, к которому стремятся рыночные предпочтения.

Итак, по мнению Блэка, экономическую теорию и политические науки следует рассматривать как две ветви одной и той же науки, поскольку они имеют общую задачу — вычислить, какие предпочтения проявятся на рынке или на политической арене с учетом конкретного набора предпочтений и конкретного закона, определяющего их взаимодействие.

Я не собираюсь отрицать, что в таком выводе есть доля истины, однако хочу подчеркнуть, что, относя политические и экономические решения к одному уровню и считая их сравнимыми, мы сознательно игнорируем различия, существующие между законом спроса и предложения на рынке и любым процедурным законом (в широком смысле), регулирующим процесс конкуренции политических предпочтений (и последующее выявление тех предпочтений, на которые должна согласиться группа, принимая решение), например, правилом большинства.

Закон спроса и предложения представляет собой просто описание способа, с помощью которого в определенных условиях происходит стихийная коррекция, то есть адаптация друг к другу нескольких шкал предпочтений. Процедурный закон — это нечто совсем другое, несмотря на то что он тоже называется «законом» на всех европейских языках, так же как и у древних греков, которые (по крайней мере с IV века до н.э.) употребляли одно слово, *nomos*, для обозначения закона природы и закона, созданного человеком. Конечно, можно сказать, что закон спроса и предложения тоже является процедурным «законом», но это означало бы снова смешивать в одном слове два совершенно разных значения.

Главное различие между решениями индивидов на рынке и вкладом индивидов в групповые решения на политической арене состоит в том, что на рынке, как минимум, в силу делимости доступных на нем товаров и услуг, индивид не только может точно предвидеть результаты своего решения (например, сколько цыплят и какого качества он купит на данную сумму денег), но также может связать каждый доллар, который он тратит, с теми конкретными вещами, которые он может на него приобрести. Групповые решения, напротив, относятся к разряду «всё или ничего»: оказавшись на проигравшей стороне, вы теряете ваш голос. У вас нет другого варианта, так же как в случае, если бы вы пришли на рынок и не смогли бы найти там ни товаров, ни услуг, ни даже их частей, которые можно было бы купить на те деньги, которыми вы располагаете.

Как пронизательно отметил выдающийся американский экономист Джеймс Бьюкенен, «возможности рыночного выбора в нормальных условиях находятся в конфликте между собой только в том смысле, что действует закон убывающей отдачи... Если индивид желает приобрести больше конкретного товара или конкретных услуг, то в норме рынок требует от него только, чтобы он приобрел меньше другого товара или других услуг...»¹ Напротив, «возможности электорального выбора обладают исключительным характером, а именно: один выбор исключает другой». В той степени, в какой групповые акты выбора затрагивают индивидуальных членов групп, они обычно бывают «взаимно исключающими друг друга по самой природе выбора». Это результат не только скудного набора общепринятых схем, а также немногочисленности схем, подходящих для распределения электоральных предпочтений, но и того (как отмечает Бьюкенен), что многие варианты, обычно называемые «политическими», не допускают «сочетаний» или «составных решений», которые обеспечивают актам выбора на рынке такую гибкость по сравнению с политическими актами выбора. Как уже проиллюстрировал Мизес, важным следствием этого является то, что голосование долларом на рынке никогда не бывает недействительным. «Индивид никогда не оказывается в положении члена инакомыслящего меньшинства»², по край-

¹ James Buchanan, "Individual Choices in Voting and in the Market," *Journal of Political Economy*, 1954, p. 338.

² Loc. cit.

ней мере относительно потенциальных рыночных альтернатив. То же самое можно сформулировать иначе: в процессе голосования есть возможность принуждения, которого не происходит на рынке. Избиратель выбирает только из предложенных ему вариантов; его голос может пропасть зря, и он будет принужден согласиться с результатом, противоположным его выраженным предпочтениям, в то время как такого типа принуждения никогда не бывает в процессе выбора на рынке, по крайней мере, если исходить из делимости продукта. Политическую сцену, которую мы, по крайней мере условно, воспринимаем как локус электоральных процессов, можно сравнить с рынком, на котором индивид обязан потратить весь свой доход на один товар или же обязан потратить все свои трудовые и материальные ресурсы на то, чтобы произвести один товар или услугу.

Иными словами, в использовании своих возможностей действия избиратель ограничен некими *принудительными* процедурами. Конечно, мы можем одобрять или не одобрять это принуждение, а также, в зависимости от обстоятельств, можем пользоваться одной из нескольких гипотез, чтобы одобрить или не одобрить его. Однако существенно то, что избирательный процесс подразумевает какую-то форму принуждения и политические решения принимаются с использованием процедуры, подразумевающей принуждение. Избиратель, который проигрывает, вначале делает один выбор, но в реальности вынужден согласиться на тот, который он ранее отверг; его процесс принятия решений перевернут.

В этом состоит, безусловно, главное, хотя и не единственное, различие между решениями индивидов на рынке и групповыми решениями, которые принимаются в политике.

На рынке индивид может с полной уверенностью предсказать прямые, или непосредственные, результаты своего выбора. «Акт выбора, — пишет Бьюкенен, — и его последствия однозначно соответствуют друг другу. В отличие от этого избиратель, даже если он является всеведущим в области предвидения последствий каждого из возможных коллективных решений, никогда не имеет возможности предсказать с определенностью, какой из предложенных вариантов будет выбран»¹. Эта неопределенность по Найту (в смысле недоступности измерения вероятности какого-либо события) должна в известной степени

¹ Loc. cit.

влиять на поведение избирателя, а приемлемой теории поведения индивида, принимающего решение в неопределенных обстоятельствах, не существует.

Более того, обстоятельства, в которых принимаются групповые решения, вероятно, затрудняют использование понятия «равновесие» в том смысле, в каком оно используется в экономической теории. В последней равновесие определяется как равенство спроса и предложения, что легко понять, когда выбирающий индивид может артикулировать свой выбор, заставив каждый свой доллар «успешно проголосовать». Но какого рода равенство может существовать, скажем, между спросом и предложением законов и приказов для групповых решений, когда индивиду могут дать камень в ответ на его просьбу о хлебе? Конечно, когда члены групп, используя преимущества нестабильности большинства, могут принимать участие в пересмотре ранее принятых решений, то такую возможность допустимо воспринимать как своего рода компенсацию за отсутствие равновесия в групповых решениях, потому что она предоставляет каждому индивиду в группе возможность, по крайней мере в принципе, того, что групповое решение иногда может совпадать с его личным выбором. Но это не является «равновесием». Свобода участвовать в меняющихся коалициях большинства — это типичная особенность демократии в ее традиционном западном понимании, и, кстати, именно она является причиной, по которой многие авторы считают, что они имеют право описывать «политическую демократию» как нечто похожее на «экономическую демократию» («рыночную систему»). На самом деле, демократия, вполне вероятно, является лишь суррогатом экономической демократии, хотя во многих случаях это лучший из возможных суррогатов.

Таким образом, мы приходим к выводу, что законодательство, которое всегда — по крайней мере в современных системах — является продуктом группового решения, должно с необходимостью подразумевать не только определенную степень принуждения по отношению к тем, кто обязан ему подчиняться, но и определенную степень принуждения по отношению к тем, кто прямо участвует в процессе создания норм. Этого неудобства невозможно избежать ни в одной системе, в которой имеют место групповые решения, включая демократию, хотя демократия, по крайней мере в пока

еще принятом на Западе понимании, предоставляет каждому члену законодательного органа шанс раньше или позже стать участником победившего большинства и, таким образом, избежать принуждения, создавая законы в соответствии со своим личным выбором.

Однако принуждение — не единственная особенность законодательства по сравнению с другими процессами создания закона, например, в римском праве или в обычном праве. Мы видели, что другой особенностью законодательства является неопределенность, не только со стороны тех, кто должен подчиняться принятому законодательству, но и со стороны самих членов законодательного органа, поскольку, когда они голосуют, то не знают результатов голосования до момента принятия группового решения.

То, что даже члены законодательных органов в ходе законодательного процесса не могут избежать принуждения и неопределенности, приводит к выводу, что даже политические системы, основанные на прямой демократии, не позволяют индивидам избежать принуждения и неопределенности в описанном нами смысле.

Никакая прямая демократия не позволила бы избежать принуждения и неопределенности, поскольку эти проблемы не связаны с прямым или непрямым характером участия в процессе создания закона посредством законодательства в результате принятия решений группой.

Это свидетельствует также о сравнительной бесполезности любых попыток обеспечить для жителей большую свободу или большую определенность с точки зрения закона страны, позволив им принимать участие в создании законов посредством законодательства настолько часто и непосредственно, насколько это вообще возможно, с помощью всеобщего голосования для взрослых, пропорционального представительства, референдумов, отзыва представителей или даже с помощью иных организаций и институтов, выясняющих общественное мнение по максимально большому спектру тем и способствующих росту эффективности влияния людей на политическое поведение их правителей.

При этом, когда речь идет о достижении реального участия индивидов в процессе создания законов посредством законодательства, представительные демократии куда менее эффективны по сравнению с прямыми демократиями.

Представительство можно понимать в разных смыслах, и некоторые из них, несомненно, создают у людей впечатление, что они принимают участие — существенным, хотя и косвенным способом — в процессе создания законов посредством законодательства их страны или даже в процессе управления делами страны посредством исполнительного аппарата.

К сожалению, то, что происходит сегодня в странах Запада, не дает нам оснований для самодовольства, если проводить непредвзятый анализ ситуации.

Глава 6

СВОБОДА

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Часто утверждается, что есть или, точнее, раньше существовало классическое представление о демократическом процессе, которое имеет мало общего с тем, что происходит на политической арене сейчас, — и в Британии, где этот процесс начался в Средние века, и в других странах, которые в большей или меньшей степени имитировали демократическую систему Британии. По крайней мере все экономисты помнят, что говорил по этому поводу Шумпетер в работе «Капитализм, социализм и демократия». Согласно классическому представлению о «демократии», как оно было сформулировано в Англии к концу XVIII века, считалось, что демократический процесс позволяет людям самостоятельно принимать решения через избранных в парламент представителей. Предполагалось, что это является эффективной заменой прямого решения общих вопросов народом, как было в древнегреческих полисах, в Риме, в средневековых итальянских *comuni* (коммунах) или в швейцарских *Landsgemeinde*. Представители должны были решать вместо людей все те вопросы, которые люди не могли решать сами по каким-либо техническим причинам, например, из-за невозможности собраться всем на площади для обсуждения различных мер и принятия решений. Представители воспринимались как посланники народа, чьей задачей было формулировать и исполнять волю народа. В свою очередь, народ воспринимался не как символическая общность, а как совокупность индивидов в роли граждан, при этом представители народа в роли индивидов также являлись гражданами и, соответственно, были в состоянии выразить мысли и чувства своих сограждан по отношению к основным волнующим их вопросам.

Согласно толкованию Бёрка, «изначально не предполагалось, что палата общин будет частью постоянного управления Англией. Она воспринималась, как орган контроля, который исходит непосредственно от народа, а ее предназначением

было своевременно *раствориться в массе*, из которой она вышла. В этом отношении в высшем слое управления она была тем, чем присяжные были в нижнем. Поскольку полномочия судебного заседателя временны, а полномочия гражданина постоянны, то были надежды, что именно гражданские соображения будут, безусловно, перевешивать во всех спорах, не только между народом и постоянной властью Короны, но и между народом и самой преходящей властью палаты общин...»¹

Согласно этому толкованию и если отвлечься от так называемой постоянной власти Короны, представляется очевидным, что депутаты должны «спорить» и принимать решения в большей степени как граждане, а не как судебные заседатели; более того, из него следует, что граждане — это нечто постоянное, а заседатели должны выбираться из них, чтобы служить их непосредственным и временным отражением.

Сам Бёрк не был человеком, которого можно было воспринимать как грамзапись, посланную в парламент избирателями. Он не забыл упомянуть о том, что «выразить мнение — это право каждого человека; весомо и достойно уважения мнение избирателей, которое представитель должен всегда слышать с радостью и которое он должен учитывать самым серьезным образом. Однако непререкаемые инструкции и указания, которым депутат обязан слепо и по умолчанию подчиняться, которые он обязан отстаивать и за которые он обязан голосовать, даже если они противоречат его убеждениям и здравому смыслу, — это вещи, совершенно противоречащие закону страны, которые возникли из фундаментальной ошибки во всем порядке и тоне нашей конституции»².

По большому счету, было бы ошибкой считать, что в конце XVIII века члены парламента трепетно относились к воле своих сограждан. Вторая английская революция конца XVII века не была демократической. Как отметил Сесил Эмден, автор недавно изданного исследования, посвященного развитию влияния народа на британское государственное управление, «если бы в 1688 году состоялся референдум по вопросу замены Иакова на Вильгельма*, то большинство проголосовало бы

¹ Edmund Burke, *Works* (1808 ed.), II, 287 ff.

² Edmund Burke, "Speech to the Electors of Bristol," December 3, 1774, in *Works* (Boston: Little, Brown & Co., 1894), II, 96.

* Короля Иакова II на Вильгельма Оранского. — *Прим. перев.*

против лишения первого престола»¹. Новый режим 1688 года больше напоминал не демократию, а олигархию венецианского типа. Несмотря на отмену цензуры прессы в 1695 году, члены палаты общин и министерств неоднократно доказывали, что они не склонны терпеть критику сограждан. Время от времени, например, в 1712 году, их приводило в такое бешенство издание памфлетов, описывающих происходящее в Палате, что они принимали решения обложить высокими налогами все газеты и памфлеты, чтобы повредить их продажам. Более того, выражение общественного мнения скорее не поощрялось. Официальная публикация итогов заседаний парламента происходила нерегулярно, и в начале XVIII века частым возражением против обнародования в печати дебатов и итогов голосований в парламенте было то, что их публикация может восприниматься как «воззвание к народу». Точно так же Палата и министерства вели себя и в делах, затрагивающих жизненные интересы страны, чтобы избежать сопротивления со стороны части общества мерам, принимаемым правительством и Палатой. В XVIII веке такие государственные деятели, как молодой Чарльз Фокс, могли считать палату общин единственным отражением разума нации. Сам Фокс заявил однажды в Палате: «Я не обращаю никакого внимания на голос народа: наш долг состоит в том, чтобы делать то, что необходимо, а не выяснять, что могло бы быть [им] приятно; их дело — выбрать нас; наше дело — действовать конституционно и сохранять независимость парламента»².

Несмотря на это, считается общепринятым, что, с точки зрения классической теории демократии, парламент — это орган, который «должен был бы выражать, отражать или представлять волю избирателей»³. Кстати, с конца XVIII века и до принятия Акта о реформе 1832 года эту теорию гораздо проще было реализовать на практике, чем после этого. Хотя представителей было столько же, сколько и сейчас, избирателей было

¹ Cecil S. Emden, *The People and the Constitution* (2nd ed.; Oxford: at the Clarendon Press, 1956), p. 34.

² Ibid., p. 53. Историки рассказывают, «что после этого выступления на Фокса, подъезжавшего к Палате, напала толпа и вываляла его в грязи».

³ R. T. McKenzie, *British Political Parties* (London: Heineman, 1955), p. 588.

немного. В 1830 году британская палата общин представляла 220 000 избирателей, или 3% взрослого населения, в стране с населением приблизительно 14 000 000 человек. В среднем парламентарий представлял 330 избирателей. Сейчас в Англии они представляют по 56 000 избирателей при общей численности электората 35 000 000 человек в условиях всеобщего избирательного права для взрослых. Однако в начале нашего века Дайси, критикуя так называемую юридическую теорию Остина о том, что члены палаты общин являются всего-навсего «доверенными лицами тех, кем они избраны и назначены», и утверждая, что ни один английский судья не согласился бы с тем, что парламент является в юридическом смысле «доверенным лицом» избирателей, с легкостью признавал, что «в политическом смысле избиратели являются более важной частью, и можно даже сказать, что это они, собственно, и есть высшая власть, поскольку по нынешней конституции именно их воле гарантируется беспрекословное повиновение». Дайси, таким образом, признал, что формулировка Остина была в такой же степени верной в том, что касается «политической» верховной власти, в какой она была ошибочной в части «юридической» верховной власти, и сделал вывод, что «избиратели являются частью, причем господствующей частью, политической верховной власти»¹.

«В настоящее время воля избирателей и определенно, воля электората в сочетании с волей палаты лордов и Короны, в конечном счете гарантированно торжествует во всех вопросах, которые решает британское правительство. На самом деле, если развить эту тему, то мы можем констатировать, что в настоящее время конституционные гарантии обеспечивают такое положение, когда посредством официальных конституционных способов воля избирателей в конечном счете утверждается в качестве главного авторитета в стране»².

Все это было возможно, с точки зрения Дайси, благодаря *представительному* характеру английского способа правления; он объясняет, что «цель и намерение такого способа правления состоят в том, чтобы добиться совпадения внутренних и внешних ограничений для верховной власти или, во всяком слу-

¹ Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (9th ed.; London: Macmillan, 1939), p. 76.

² Ibid., p. 73.

чае, сократить расхождение между ними»¹, то есть между желаниями суверена (согласно закону в Англии сувереном является парламент) и «постоянными желаниями нации»². Дайси завершает эту тему выводом о том, что «разница между волей суверена и волей нации прекратила существовать с момента создания системы действительно представительного правления. Там, где парламент действительно представляет народ, разница между внешним и внутренним пределами осуществления верховной власти вряд ли может возникнуть, а если она и возникает, то вскоре обязательно исчезает. Грубо говоря, постоянные желания представительной части парламента в долгосрочной перспективе вряд ли могут отличаться от желаний английского народа или, во всяком случае, от желаний избирателей: то, что предписывает палата общин, обычно является тем, чего желает английский народ»³.

Разумеется, «представительство» — это скорее родовой термин. Мы могли бы взять его только в качестве «юридического» понятия, как поступают некоторые юристы по отношению к политическому представительству в других странах, чтобы сделать вывод о том, что этот термин значит не больше и не меньше, чем он должен значить в терминах конституционного права, или, как в Англии, господствующих в данное время конституционных обычаев. Однако, как совершенно верно отметил Дайси, у «представительства» есть еще и политическое значение, и именно политическое значение «представительства» выделяют специалисты по политическим наукам применительно к конкретным обстоятельствам.

В древнеанглийском языке глагол *to represent* (представлять)⁴, восходящий к латинскому глаголу *repraesentare*, то есть «снова делать присутствующим», имел несколько значений, но его первое «политическое» употребление в смысле «действовать в качестве чьего-либо официального агента или заместителя» было отмечено в 1651 году в памфлете Исаака Пеннингтона и несколько позже, в 1655 году, в речи Оливера Кромвеля

¹ Ibid., p. 82.

² Ibid., p. 83.

³ Loc. cit.

⁴ По этому поводу и вообще в связи с темой этой главы смотри точную и информативную статью о представительстве (H. Chisholm, "Representation") в *Encyclopaedia Britannica* (14th ed.).

в парламенте 22 января, когда он сказал: «Я заботился о вашей безопасности и безопасности тех, кого вы представляли (represented)». Однако уже в 1624 году слово *representation* (представительство) имело значение «замена одной вещи или лица на другую/другое», особенно относящееся к праву или полномочиям действовать от имени другого человека. Несколько лет спустя, в 1649 году, мы находим слово «representative» (представительный) применительно к парламентскому собранию в акте, отменившем пост короля после казни Карла I. Акт упоминает в качестве «представителей (*representatives*) нации» тех, кто управляет людьми и кого люди выбирают, чтобы доверить им эту миссию согласно «древним и справедливым правам».

Само по себе это понятие было, безусловно, старше, чем слово. Например, знаменитый принцип «нет налогообложения без представительства» (*no taxation without representation*), значение которого для судьбы Соединенных Штатов объяснять не надо, был введен в Англии уже в 1297 году статутом *De tallagio non concedendo*, который был подтвержден в 1628 году «Петицией о праве». Еще раньше, в 1295 году, в знаменитом предписании Эдуарда I шерифу Нортгемптоншира призвать в парламент в Вестминстере избранных представителей графств и городов был впервые в политической практике применен (если не учитывать похожего предписания Генриха III и предшествующего парламента 1275 года, сформированного из неизбранных представителей) инструмент, который в более поздние времена считался самым замечательным нововведением в сфере политики со времен греков и римлян¹. В предписании Эдуарда

¹ Тем не менее, вероятно, средневековая политическая теория представительства испытала влияние аналогичной теории древнеримского юриста Помпония, которая зафиксирована в отрывке из Дигест («*deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam reipublicae ad senatum deduxit*» [«затем трудно стало собирать плебс, а собирать весь народ еще труднее. При таком множестве людей сама необходимость возложила заботу о государстве на сенат» (Дигесты Юстиниана. Т. I. М.: Статут, 2002. С. 93. — *Ред.*], то есть сенат был вынужден взять на себя ответственность за законодательство из-за трудностей, связанных с проведением плебейских собраний, и с еще большими трудностями, связанными с проведением многочисленного собрания всех избирателей). Ср.: Otto Gierke, *Political Theories of the Middle Age*, trans. Maitland (Cambridge University Press, 1922), pp. 168 ff.

шерифу было ясно написано, что люди должны быть *избраны* (*elegi facias*): старшины — от самоуправляемых общин, рыцари — от графств, граждане — от городов; в нем также отмечалось, что они должны иметь «полные и достаточные полномочия, собственные и от имени общин, ...чтобы совершить то, что должно быть потом установлено законодательно согласно Общинному совету, так чтобы ранее упомянутое дело [то есть совершение того, что было необходимо для предотвращения какой-либо серьезной угрозы королевству] не осталось бы ни с какой стороны незаконченным из-за недостатка полномочий». Из этого ясно, что люди, призванные королем в Вестминстер, рассматривались как надлежащие уполномоченные и посланники соответствующих общин.

С нашей точки зрения, чрезвычайно интересно то, что «представительство в Общинном совете» не обязательно предполагало, что решения должны приниматься большинством. Как отмечали некоторые исследователи (например, Маккехни в своем «Комментарии к Великой хартии вольностей» [McKechnie, *Commentary in Magna Charta*, 1914]), раннесредневековая версия принципа «нет налогообложения без представительства» означала «нет налогообложения без согласия налогоплательщиков»; например, в 1221 году епископ Винчестерский, «призванный затем, чтобы получить его согласие на щитовой налог, после того как совет одобрил его, отказался платить на том основании, что он был против — и лорд-канцлер удовлетворил его прошение»¹. Мы также знаем от немецкого ученого Гирке, что в более или менее «представительных» собраниях, которые устраивались среди германских племен, «требовался консенсус», хотя меньшинство могли заставить уступить, а идея связи представительства и принятия решений большинством проникла в сферу политики через церковные советы, которые позаимствовали ее из законов о корпорациях, хотя даже внутри Церкви специалисты по каноническому праву придерживались мнения, что у меньшинства есть некоторые бесспорные права и что вопросы веры нельзя решать большинством голосов².

Таким образом, формирование групп, принимающих решения, и принятие групповых решений в соответствии с принудительной процедурой, основанной на идее правления большинства,

¹ Н. Chisholm, loc. cit.

² Gierke, op. cit., p. 64.

вне зависимости от того, кого представляли группы — самих себя или других людей — сначала, по крайней мере в течение какого-то времени, казалось нашим предкам неестественным применительно и к религиозным, и к политическим советам, и, вероятно, только целесообразность этой идеи смогла проторить дорогу в позднейшие эпохи. Собственно, в этой процедуре есть нечто неестественное, потому что она позволяет отбросить некоторые варианты выбора только из-за того, что их сторонники менее многочисленны, чем остальные, в то время как такой метод принятия решений никогда не применяется в других обстоятельствах, а если бы применялся, то привел бы к явно неправильным результатам. Мы вернемся к этому позже. Пока достаточно отметить, что у своих истоков политическое представительство было тесно связано с идеей о том, что представители действуют как доверенные лица других людей и в соответствии с их волей.

Когда в Новое время и в Англии, и в других странах принцип представительства распространился практически на всех членов политического сообщества, по крайней мере на всех принадлежащих к нему взрослых людей, возникли три серьезные проблемы, которые необходимо было решить, чтобы принцип представительства заработал на практике: 1) как сделать так, чтобы количество граждан, уполномоченных выбирать представителей, соответствовало реальной структуре населения; 2) как поощрить выдвигать свои кандидатуры в представители тех граждан, которые были бы адекватными представителями воли народа; 3) как создать такую систему выбора представителей, при которой представители адекватно отражали бы мнения тех людей, которых они представляют¹.

Едва ли можно сказать, что к настоящему времени эти проблемы были удовлетворительным образом решены. До сих пор ни в одной стране не справились ни с одной из них; ни один народ не смог сохранить дух представительства — деятельности, которая совершается согласно воле представляемых людей. Оставим в стороне важные проблемы, которые Джон Стюарт Милль затронул в своей работе о представительном правлении

¹ Современный анализ проблем представительства в связи с правом большинства см. Burnham, *The Congress and the American Tradition* (Chicago: Regnery, 1959), особенно главу "What Is a Majority?" pp. 311 ff.

(1861)*, относящиеся к тому, какие люди имеют право на представительство, к возможности предоставлять людям разное по весу представительство в зависимости от их способностей, их вклада в бюджет общины и т.п. Отвлечемся пока и от другого важного и трудного вопроса, а именно, может ли представительство воли народа быть последовательным в отношении большого количества вопросов, иными словами, можно ли на практике говорить об «общей воле» людей в тех случаях, когда имеются только взаимоисключающие друг друга варианты и нет никакой вероятности найти способ, который позволил бы людям договориться. На эту проблему указывал Шумпетер в книге «Капитализм, социализм и демократия»; он пришел к выводу, что смысл выражения «общая воля» неизбежно является противоречивым, если его применять к отдельным членам сообщества, про которое считается, что оно обладает «общей волей». Если политические вопросы — это вопросы, где можно выбрать только один вариант, и если, кроме того, не существует способа с помощью какого-либо объективного выбора определить, какой вариант больше всего подходит данному политическому сообществу, мы должны сделать вывод, что политические решения всегда подразумевают наличие компонента, несовместимого с личной свободой, и соответственно, несовместимого с подлинным представительством воли тех людей, мнение которых не было учтено в принятом решении. Наконец, оставим в стороне, как несущественные для наших целей, некоторые специальные вопросы, относящиеся к разным системам выбора. Следует отметить, что голосование не является единственной системой выбора представителей. Есть и другие исторически значимые системы — и например, жребий, который в некоторых случаях бросали в древнегреческих городах, а также в Венецианской республике в Средние века и в Новое время — которые в силу этого соотносятся с другими системами голосования, если выбор совершается посредством голосования.

До известной степени все эти вопросы можно считать техническими подробностями, лежащими за пределами нашего исследования. Теперь нам предстоит столкнуться с другими трудностями.

* Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум, 2006. — *Прим. научн. ред.*

Действительно, кажется, что расширение принципа представительства через расширение избирательного права на всех граждан точно соответствует индивидуалистической концепции представительства: каждый индивид должен быть как-то представлен в решениях, которые должны приниматься по самым важным для народа вопросам. Каждый индивид должен реализовать свое право выбирать представителей, а также давать им инструкции и поручения, чтобы принимать политические решения посредством свободного проявления своей воли. Конечно, как сказал бы Дизраэли, в некоторых случаях волю одних людей могут прекрасно представлять другие люди, которые угадывают желания первых без всяких инструкций, как, согласно Шумпетеру, сделал Наполеон, когда во время своего консульства прекратил все религиозные конфликты в стране. Можно также представить себе, что *реальные* интересы некоторых людей (то есть, как минимум, такие интересы, которые эти люди постфактум признают своими подлинными интересами, несмотря на то, что ранее у них могла быть другая точка зрения) могут быть лучше представлены какими-нибудь компетентными и неподкупными представителями их воли, никогда не получавшими от них ни полномочий, ни указаний, как им действовать. Например, это происходит в случае родителей, которые действуют как представители своих детей в частной жизни и в хозяйственной деятельности. Но с индивидуалистической точки зрения кажется очевидным, что никто не может быть более компетентным, чем сам человек, в вопросе о том, в чем состоит его воля. Поэтому настоящим представительством этой воли должен быть результат выбора того человека, который должен быть представлен. Похоже, что расширение представительства в наше время соответствует этому тезису. Пока все идет хорошо.

Однако, когда принцип представительства посредством индивидуального выбора применяется в политике, возникают очень серьезные трудности. Как правило, в сфере частной жизни таких трудностей не существует. Любой человек может вступить в контакт с любым другим человеком, которому он доверяет, и нанять его, например, в качестве агента для заключения договора в соответствии с указаниями, которые можно четко сформулировать, полностью понять и четко исполнить.

В политике ничего подобного не происходит, и это, вероятно, отчасти является следствием расширения представительства на максимально большое число индивидов, принадлежа-

щих к данному политическому сообществу. Вероятно, беда этого принципа в том, что чем больше его пытаются расширить, тем в меньшей степени он достигает своей цели. Следует заметить, что политика — не единственная сфера, в которой в последнее время проявились такие проблемы. Экономисты и социологи уже привлекли наше внимание к тому, что принцип представительства плохо работает в больших частных корпорациях. Считается, что акционеры имеют мало влияния на поступки менеджеров, а дискреционные полномочия последних, являющиеся одновременно и причиной, и следствием современной «революции менеджеров», тем больше, чем более многочисленны акционеры, которых «представляют» менеджеры компании¹. История представительства в политической и экономической жизни служит нам уроком, которого люди еще не усвоили. В моей стране есть пословица: *chi vuole vada* — если вы действительно чего-то хотите, вы должны сами пойти и посмотреть, что нужно для этого сделать, вместо того чтобы послать кого-то другого. Конечно, ваши действия не принесут хороших результатов, если вы не обладаете умом, навыками или достаточной информацией, требующимися для того, чтобы достичь желаемого результата. Примерно это сказали бы менеджеры и представители в политике и в бизнесе, если бы они потрудились объяснить людям, которых они представляют, как на самом деле делаются дела.

Джон Стюарт Милль указал на то, что представительство не может работать, если люди, которых представляют, не участвуют каким-либо образом в деятельности своих представителей.

«Представительные учреждения окажутся недействительными и будут служить лишь простым орудием тирании и интриг, если большинство избирателей так мало заинтересовано в этой форме правления, что не желает даже участвовать в выборах, или если и подают голоса, то не руководствуются соображениями общественного блага, а продают их за деньги или вотируют по указанию лица, от которого они зависят, или того, кого они хотели бы по личным соображениям расположить

¹ Это верно, несмотря на отмеченный Милтоном Фридменом факт, что в конечном счете акционеры могут избавиться от акций компаний, которые они в недостаточной степени контролируют, в то время как граждане не могут так же легко расстаться со своим гражданством. (New York: Henry Holt & Co., 1882).

в свою пользу. Такого рода избирательные собрания вместо того, чтобы служить действительной гарантией против дурного управления, чаще всего бывают только придаточным колесом в его механизме»¹.

Однако применительно к политическому представительству возникает множество трудностей, которые, вероятнее всего, не связаны ни с недостатком разума, ни со злой волей или апатией тех, кого представляют. Это банальность, что в политической игре на повестке дня стоит сразу слишком много вопросов, что они чрезвычайно сложны и что очень многие из них неизвестны ни представителям, ни тем, кого они представляют. В этих обстоятельствах в большинстве случаев нельзя дать никаких указаний. В политической жизни сообщества так происходит всегда, когда так называемые представители не в состоянии представлять подлинную волю «народа, который они якобы представляют», а также если есть причины считать, что представители и те, кого они представляют, расходятся по поводу вопросов, стоящих на повестке дня.

Отмечая эту особенность, я имею в виду не только обычный метод, посредством которого в наше время выбирают представителей, то есть голосование. Все эти проблемы не зависят от того, каким именно способом осуществляется выбор представителей и используется ли при этом голосование или нет.

Но голосование, вполне вероятно, увеличивает трудности, относящиеся как к значению «представительства», так и «свободы» индивидов делать выбор. Все трудности, связанные с принимаемыми решения группами и решениями групп, присущи процессу голосования в современных политических системах. Выбор — это результат решения группы, где все избиратели должны рассматриваться как члены какой-либо группы, например, своего избирательного округа или избирателей как совокупности. Мы видели, что групповые решения подразумевают процедуры типа волеизъявления большинства, несовместимые с личной свободой выбора, которой располагает, например, любой отдельный продавец или покупатель на рынке, а также в отношении любых решений, которые он принимает в своей частной жизни. Роль принуждения в механиз-

¹ John Stuart Mill, *Considerations on Representative Government*. [Русск. изд.: Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении. Челябинск: Социум, 2006. С. 8—9.]

ме голосования неоднократно отмечалась политиками, социологами, специалистами по политическим наукам и, особенно, математиками. Особое внимание к отдельным парадоксальным аспектам этого принуждения привлекали критики такого классического варианта представительства, как мажоритарная система, по-прежнему существующая в англоговорящих странах. Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что эта критика в основном основана на предположении, что система не соответствует принципу «представительства»; например, когда, как говорил Джон Стюарт Милль, политические решения принимает «большинство от того большинства, которое может быть, и часто бывает, меньшинством от общего числа». Позвольте мне процитировать Милля по этому поводу: «Предположим, что в стране, управляемой на основании равной и всеобщей подачи голосов, существуют спорные выборы в каждом избирательном округе, и что каждые выборы производятся незначительным большинством. Парламент, составленный таким образом, представляет едва ли нечто большее простого большинства народа. Этот парламент приступает к законодательной деятельности и принимает важные меры простым большинством своего состава. Можно ли поручиться, что эти меры соответствуют желаниям большинства народа? Почти половина избирателей, потерпевших поражение на выборах, не имела вовсе никакого влияния на исход голосования; эта половина может быть, а большинство ее вероятно, враждебно этим мерам, так как они голосовали против тех, кто их одобрил. Из остальных избирателей около половины избрали представителей, которые, как можно предполагать, вотировали против мер. Поэтому возможно и даже вероятно, что мнение, одержавшее верх, было приятно только меньшинству народа»¹.

Эта аргументация не вполне убедительна, так как ситуация, которую приводит в пример Милль, вероятно, является исключительно теоретической, но доля истины в его доводах есть, и мы все знаем, что для того, чтобы выборы были более «представительными» в отношении предполагаемой воли избирателей, были придуманы специальные схемы. Одной из таких схем является, например, пропорциональное представительство, существующее не менее чем в трехстах разновидностях. Однако известно, что никакая другая избирательная система не может избежать этих

¹ Ibid., p. 147. [Русск. изд.: Там же. С. 133—134.]

непреодолимых трудностей, доказательством чего может служить само существование таких институтов, как референдумы, народные инициативы и т.д., которые ввели не для того, чтобы улучшить систему представительства, а для того, чтобы заменить представительство другой системой, основанной на другом принципе, а именно, на принципе прямой демократии.

На самом деле, ни одна представительная система, основанная на выборах, не может нормально работать, пока выборы проводятся с целью достижения групповых решений посредством волеизъявления большинства или любого другого принципа, в результате которого индивиды принуждают к вхождению в проигравшую группу избирателей.

Итак, «представительные» системы в традиционном понимании, то есть такие, где выборы и представительство связаны, несовместимы с личной свободой в смысле свободы выбирать представителя, наделять его полномочиями и давать ему указания.

Тем не менее «представительство» сохранилось до наших дней в качестве якобы одной из характерных черт нашей политической системы за счет того, что это слово просто лишилось своего исторического значения и стало использоваться как пароль или, как сказали бы современные английские политические философы, как «персуазивное» слово. Действительно, в политике слово «представительство» все еще сохраняет положительные коннотации, поскольку люди неизбежно видят за ним связь «того, кто доверяет» и «доверенного лица», так же как в частной жизни, бизнесе и в том, что, по мнению Остина, должно было существовать при английском конституционном праве. Один из современных исследователей нынешних политических партий Р. Т. Маккензи отметил: «На словах еще сохраняется верность классической концепции демократии, даже среди многих, кто осознает, в какой степени она доказала свою неработоспособность. ... Становится все более очевидным, что классическая теория приписывала избирателям совершенно нереалистичный уровень инициативы; она практически игнорировала значение политического лидерства в политическом процессе»¹.

Тем временем внутри групп, например, политических партий, по крайней мере в Европе, происходит процесс «мо-

¹ Р. Т. McKenzie, *op. cit.*, p. 588.

нократизации» (если использовать термин Вебера), в исполнение пророчества моего земляка Роберто Микельса, который в знаменитой статье о социологическом характере политических партий, опубликованной в 1927 году в *American Political Science Review*, сформулировал так называемый железный закон олигархии в качестве основного правила внутренней эволюции всех современных партий.

В той степени, в какой индивид вовлечен в так называемый демократический процесс, и в какой идеи демократии совместимы с идеями личной свободы, все это влияет не только на судьбу демократии, но и на судьбу личной свободы.

Тенденция состоит в том, чтобы принимать вещи такими, как они есть, не только потому, что люди не в состоянии увидеть ничего иного, но и потому, что часто они не осознают, что происходит на самом деле. Люди оправдывают современную «демократию», потому что им кажется, что она обеспечивает по крайней мере какое-то участие индивидов в процессе законодательства и в управлении страной — участие, которое, каким бы размытым оно ни было, воспринимается ими как лучший из доступных в данных обстоятельствах вариантов. Примерно в том же духе пишет Р. Т. Маккензи: «Было бы рационально утверждать, что суть демократического процесса — в том, что он должен обеспечить свободную конкуренцию за лидерство». Он добавляет, что «главное значение электората состоит не в принятии решений по конкретным политическим вопросам, а в том, чтобы решить, какая из двух или более конкурирующих групп потенциальных лидеров будет принимать решения»¹. Не слишком много для политической теории, которая пока еще употребляет термины вроде «демократии» или «представительства». Это также не слишком много, если мы учитываем, что «представительство» — это совсем не то, что подразумевают эти новые теории, или, по крайней мере, что до недавнего времени применительно к политике это слово значило совсем иное и что оно до сих пор имеет другое значение в частной жизни и бизнесе.

Можно высказать возражения по существу против тех, кто согласен на эту кастрированную версию индивидуалистической точки зрения и считает, что «представительная система» в ее нынешнем виде лучше любой другой системы, дающей

¹ R. T. McKenzie, *op. cit.*, 589.

людям каким-либо способом участвовать в выработке политики и, особенно, в создании законов в соответствии со свободой выбора индивида.

Можно сказать, что люди участвуют в этих процессах только посредством групповых решений, таких как решения избирателей округа или группы представителей, например, парламента. Но сказать так означает встать на строго «правовую» точку зрения — правовую в том смысле, что она основана на букве ныне действующих правовых актов — и не учитывать того, что скрывается за официальными нормами. Эта точка зрения оказывается несостоятельной сразу же, как только мы обнаруживаем, что законодательство и конституции, на основании которых мы должны решать, является ли что-нибудь «правовым», часто восходят к чему-то, что не является ни «правовым», ни «законным». Американская Конституция, это величайшее достижение группы первоклассных государственных деятелей конца восемнадцатого века, была результатом *противоправных* действий отцов-основателей на Филадельфийском конвенте 1787 года, где они не имели никаких полномочий от законной власти, а именно от Континентального конгресса. Последний, в свою очередь, тоже возник *незаконным* образом, в результате мятежа части американских колоний против законной власти британской короны.

Происхождение нынешней конституции моей страны вряд ли является более законным, чем это было в США, хотя многие жители моей страны понятия об этом не имеют.

На самом деле, нынешняя конституция Италии была разработана учредительным собранием, которое было создано указом (от 25 июня 1944 года) наследного принца Италии Умберто, который был назначен «наместником» Итальянского королевства с неограниченными полномочиями указом (от 5 июня 1944 года) своего отца, Виктора Эммануила III. Однако ни наместник Итальянского королевства, ни сам король не имели правовых полномочий менять конституцию или созывать для этой цели собрание. Более того, вступление в силу вышеупомянутого указа было следствием так называемого Салернского договора, который под наблюдением союзников был заключен между королем Виктором Эммануилом III и «представителями» итальянских партий, которых никто в нашей стране на выборах не избирал. Тем самым с точки зрения действовавших законов королевства учредительное собрание долж-

но было считаться незаконным, поскольку указ, которым оно было создано, был противоправным сам по себе, так как его автор, «наместник», ввел его в действие, не имея на то полномочий. Правда, в тогдашней ситуации было бы очень трудно избежать «противоправных» действий. Ни один из институтов, предусмотренных конституционными законами королевства, не дожидаясь июня 1944 года. Характер королевской власти изменился после назначения наместника, одна из палат парламента, Палата фашистских организаций и корпораций, была ликвидирована, а другая палата, Сенат, была не в состоянии функционировать. Таков урок для тех, кто решает, что законно, а что нет, на основании якобы «законных» конституций, и не интересуется тем, что стоит за ними.

Пределы чисто юридического подхода удачно сформулировал Лесли Стивен: «Юристы часто склонны выражаться так, как будто они считают парламент всемогущим и как будто им не требуется выходить за пределы решений законодателей. Он, разумеется, всемогущ в том отношении, что он может принять любой закон, какой пожелает, постольку, поскольку любое правило, принятое парламентом, считается законом. Однако, с научной точки зрения, полномочия парламента, разумеется, жестко ограничены. Они ограничены, если можно так выразиться, и извне, и изнутри: изнутри, поскольку парламент является продуктом конкретных социальных условий и детерминирован тем же, чем детерминировано общество; извне, потому что власть вводить законы зависит от инстинкта подчинения, который сам по себе ограничен. Если бы парламент решил, что следует убивать всех голубоглазых младенцев, воспитание голубоглазых младенцев было бы незаконным; но, чтобы принять такой закон, члены парламента должны быть сумасшедшими — а подданные, чтобы подчиниться ему, должны быть идиотами»¹.

Я согласен с Лесли Стивеном, но его рассуждения заставляют меня задуматься о том, правильно ли он определяет точку отсчета, начиная с которой «подданные» становятся идиотами, и нельзя ли представить, что в будущем «подданные» будут радостно соглашаться с решениями, подобными описанному в примере у Стивена, если идеалы «представительства» и «демократии» будут длительное время восприниматься просто как

¹ Leslie Stephen, *The Science of Ethics*, цит. по: Dicey, *op. cit.*, p. 81.

полномочия решать (как выразился бы Р. Т. Маккензи), «какая из двух или более конкурирующих команд потенциальных лидеров будет принимать решения» обо всем, что касается действий и поведения их сограждан.

Разумеется, выбор между потенциальными конкурентами — это достойное занятие свободного индивида на рынке. Однако имеется существенная разница. На рынке конкуренты, если они хотят сохранить свои позиции, обязательно работают на своих избирателей (то есть потребителей) даже тогда, когда и они, и их избиратели не вполне это осознают. В отличие от этого, политические конкуренты не обязательно работают на своих избирателей, потому что те не могут выбирать из «продуктов» политиков так, как это происходит на рынке. Политические производители (если мне будет позволено так выразиться) одновременно являются и продавцами, и покупателями собственных продуктов, причем и то, и другое они делают от имени своих сограждан. От последних не ждут, что они скажут: «Я не хочу этого закона, я не хочу этого постановления», поскольку, согласно теории представительства, они уже делегировали это право выбора своим представителям.

Конечно, это *юридический* взгляд на вещи, который не обязательно совпадает с практическими установками людей. В моей стране граждане часто различают точку зрения закона и другие точки зрения. Я всегда восхищался странами, в которых точка зрения закона совпадает, насколько это возможно, с любой другой, и я убежден, что великие политические достижения этих стран были связаны главным образом с этим совпадением. Я все еще придерживаюсь этого мнения, но меня занимает, не может ли эта добродетель быть пороком во всех тех случаях, когда подход с точки зрения закона приводит к слепому повиновению неправильным решениям. Одна из пословиц моей страны, возможно, объясняет, почему наши политические теоретики — от Макиавелли до Парето, Моски и Роберто Микельса — были не слишком озабочены точкой зрения закона, а всегда пытались выйти за ее пределы и посмотреть, что там происходит. Я не думаю, что похожая пословица может быть у немцев или у англоговорящих народов. Вот она: *Chi comanda fa la legge*, то есть «У кого власть, тот и устанавливает законы». Это звучит, как фраза из Гоббса, но тут не хватает важной для Гоббса идеи «необходимости» верховной власти. Если я не заблуждаюсь, то это скорее циничная сентенция, или,

если вам угодно, реалистическая. У греков, надо сказать, была похожая доктрина, хотя я не знаю, была ли у них похожая пословица.

Пожалуйста, не надо считать, что я рекомендую подобный цинизм в отношении политики. Я просто указываю на научные последствия этого цинизма, если мы позволим себе квалифицировать такие доктрины как циничные. Тот, кто обладает властью, устанавливает законы. Верно; но как насчет людей, у которых нет власти? Пословица об этом умалчивает, но я предполагаю, что из этой доктрины проистекает скорее критическая точка зрения на пределы закона, который исходит из политической власти. Вероятно, в этом состоит причина, по которой мои земляки, в отличие от многих американцев, не знают наизусть свою писаную конституцию. Мои земляки убеждены — я бы сказал, инстинктивно — что политика не ограничивается писаными законами и конституциями. Последние не только меняются и могут меняться довольно часто — они также не всегда соответствуют «закону, написанному на живых скрижалях», как сказал бы лорд Бэкон. Я осмеливаюсь утверждать, что в моей стране существует что-то вроде системы циничного обычного права, которая лежит в основании системы писаного права моей страны и которая отличается от английской системы обычного права тем, что она не только неписаная, но еще и не признанная официально.

Более того, я склонен считать, что что-то в этом роде происходит и в будущем, возможно, будет происходить еще в большем масштабе в других странах, где до последнего времени точка зрения закона и другие точки зрения практически совпадали. Слепое повиновение тому, что соответствует современной точке зрения закона, приведет к постепенному разрушению личной свободы выбора в политике, на рынке и в частной жизни, потому что современная точка зрения закона означает тенденцию замены личных решений групповыми и постепенное уничтожение механизмов стихийной коррекции не только в отношении спроса и предложения, но и для всех видов поведения, которое происходит с помощью такой негибкой и принудительной процедуры, как принятие решений большинством.

Если коротко описать мой взгляд на проблему, то во всех современных политических системах гораздо больше законодательства, групповых решений и негибких процедур выбора

и гораздо меньше «законов, написанных на живых скрижалях», индивидуальных решений и возможностей для свободного выбора, чем было бы необходимо для сохранения индивидуальной свободы выбора.

Я не утверждаю, что следует вообще обходиться без законодательства и совсем отказаться от групповых решений и принципа волеизъявления большинства, чтобы вновь обрести индивидуальную свободу выбора во всех областях, где мы ее потеряли. Я согласен, что иногда бывают вопросы, которые касаются всех и которые нельзя решить посредством стихийной коррекции и совместимых друг с другом актов выбора индивидов. В истории нет доказательств того, что анархическая ситуация, которая возникла бы, если бы законодательства, групповых решений и принуждения относительно личных актов выбора вообще не стало бы, когда-либо существовала.

Однако я убежден, что чем в большей степени удастся сократить обширную область, которую в данное время занимают групповые решения в сфере политики и права, включая их параферналии типа выборов, законодательства и т.п., тем больше будут наши успехи в приближении к той ситуации, которая господствует в области языка, обычного права, свободного рынка, моды, обычаев и др., где все индивидуальные акты выбора приспособляются друг к другу и ни один из них никогда не считается недействительным. Я полагал бы, что в настоящее время размеры области, в которой групповые решения считаются необходимыми или правильными, сильно переоцениваются, а область, в которой необходимым или правильным считается стихийное взаимодействие индивидов, ограничена в гораздо большей степени, чем это разумно, если мы стремимся сохранить традиционный смысл большинства великих идеалов Запада.

Мне кажется, что карты упомянутых выше областей нуждаются в переделке, потому что сейчас на них нарисованы страны и моря в тех местах, где на старых классических картах ничего не было. Если мне будет позволено развить эту метафору, то я бы сказал, что на современных картах имеются знаки и отметки, которые вовсе не соответствуют каким-то новооткрытым странам, и некоторые страны находятся не там, где их поместили неаккуратные картографы политического мира. Действительно, некоторые из отметок на современных политических картах — это просто точки, за которыми нет никакой

реальности, а мы ведем себя по отношению к ним, как тот капитан, который принял за остров мушиный след на карте и упорно искал этот «остров» в океане.

Переделывая карты областей, занятых соответственно групповыми и индивидуальными решениями, следует учитывать, что к первым относятся решения типа «всё или ничего», как сказал бы Бьюкенен, а вторые — это ясно сформулированные решения, которые не просто совместимы с решениями других людей, но и дополняют их.

Золотым правилом этой реформы — если я не заблуждаюсь — должно быть то, что на место групповым решениям в отношении выбора из вариантов, которые ошибочно считались несовместимыми, должны прийти все индивидуальные решения, относительно которых доказано, что они совместимы друг с другом. Было бы глупо, конечно, заставлять индивидов принимать групповое решение, например, о том, пойдут они в кино или гулять, во всех тех случаях, когда между этими двумя формами индивидуального поведения нет несовместимости.

Сторонники групповых решений (например законодательства) всегда склонны считать, что в данном конкретном случае акты выбора индивидов исключают друг друга, а обсуждаемые вопросы обязательно относятся к типу «всё или ничего», так что единственный способ принять окончательное решение состоит в использовании принудительной процедуры, например, принципа большинства. Эти люди претендуют на то, что они — защитники демократии. Однако всегда следует помнить, что во всех случаях, когда индивидуальные акты выбора необоснованно заменяются правлением большинства, демократия вступает в конфликт с личной свободой. Чтобы сохранить максимум демократии, совместимой с личной свободой, этот специфический вид демократии следует свести к минимуму.

Разумеется, необходимо избежать недоразумений в самом начале предлагаемой мной реформы. Важно не смешивать свободу в значении «свободы от нужды» со свободой в значении «свободы от людей», а принуждение не следует понимать как «принуждение» со стороны людей, которые не сделали абсолютно ничего, чтобы кого-нибудь к чему-нибудь принудить.

Оценка различных форм поведения и типов решений с целью установить, к какой области их следует отнести и где разместить, если заниматься этим последовательно, явно привела

бы к настоящей революции в том, что касается современных конституций, законодательства и административного права. Эта революция состояла бы главным образом в перемещении норм из области писаного закона в область неписаного закона. В ходе этого перемещения следовало бы уделить большое внимание понятию «определенности закона» в смысле долгосрочной определенности, чтобы дать индивидам возможность делать свободный выбор не только в настоящем, но и с расчетом на будущее. В ходе этого процесса следует как можно в большей степени отделить судопроизводство от других ветвей власти, как это было в Древнем Риме и в Средние века, когда *jurisdictio* было, насколько это возможно, отделено от *imperium*. Судопроизводство должно в гораздо большей степени заниматься установлением того, в чем состоит закон, а не навязывать сторонам процесса пожелания судей относительно закона.

Процесс создания законов следует реформировать так, чтобы он превратился, если не полностью, то преимущественно, в стихийный процесс, такой же, как торговля, речь или поддержание других совместимых и взаимно дополнительных отношений между индивидами.

Можно возразить, что такая реформа эквивалентна созданию утопического мира. Но такой мир, если брать в целом, положительно не был утопией в отдельных странах и в конкретные исторические эпохи, некоторые из которых еще не совсем изгладились из памяти ныне живущих поколений. В то же время, вероятно, гораздо более утопически звучат призывы по отношению к миру, где старые идеалы погибают, а остаются только старые слова, как пустые скорлупки, которые каждый человек может наполнить смыслом по своему вкусу, вне зависимости от конечных результатов.

Глава 7

СВОБОДА И ОБЩАЯ ВОЛЯ

Поверхностному наблюдателю мой совет переделать карты областей, занятых соответственно индивидуальными актами выбора и групповыми решениями, может показаться скорее рискованной атакой на существующую систему с ее особым вниманием к группам, принимающим решения, и к групповым решениям, чем убедительным доводом в пользу другой системы, которая обращает особое внимание на индивидуальные решения.

Кажется, что в политике много вопросов, по которым, по крайней мере вначале, консенсус невозможен, и в силу этого групповые решения неизбежны, с придатками в виде принудительных процедур, принципа волеизъявления большинства и т.п.

Группы, принимающие решения, часто напоминают нам группы грабителей, о которых выдающийся американский ученый Лоуренс Лоуэлл как-то раз сказал, что они не составляют «большинства» тогда, когда, встретив путешественника в пустынном месте, лишают его кошелька. По мнению Лоуэлла, не следует называть кучку людей «большинством» по сравнению с одним человеком, которого они грабят. В США, как и в других странах, существуют конституционные гарантии и, конечно же, уголовный кодекс, который стремится предотвратить формирование такого «большинства». К сожалению, в наше время многие коалиции большинства часто имеют много общего с тем специфическим «большинством», которое описал Лоуренс Лоуэлл. Я имею в виду *законное* большинство, созданное в соответствии с законодательными актами и конституцией или по крайней мере в соответствии с какой-либо растяжимой интерпретацией конституции, в одной из ныне существующих стран. Во всех тех случаях, когда, скажем, большинству так называемых представителей народа удастся принять групповое решение типа ныне действующего в Англии Акта об арендодателях и арендаторах (*Landlord and Tenant Act*) или похожих законодательных актов в Италии или где-либо еще, предназначенное для того, чтобы принудить арендодателей, вопреки их желанию и в нарушение всех предшествовавших

договоренностей, сдавать жилье по низким ценам арендаторам, большинство из которых в большинстве случаев могли бы без труда платить за аренду по рыночным ценам, я не вижу никаких оснований отличать такое большинство от того большинства, которое описывает Лоуренс Лоуэлл. Есть только одно различие между ними: писанный закон страны запрещает последнее «большинство», но в настоящее время разрешает первое.

Действительно, общая особенность, которую имеют оба этих «большинства», состоит в принуждении, которое одни, более многочисленные люди, осуществляют против других, менее многочисленных, заставляя последних терпеть то, на что они никогда бы не согласились, если бы могли свободно делать выбор и свободно заключать соглашения с первыми. Нет никаких оснований предполагать, что индивиды, принадлежащие к такому большинству, чувствовали бы себя иначе, чем их нынешние жертвы, если бы они сами принадлежали к тому меньшинству, которое им удалось заставить терпеть принуждение. Таким образом, та евангельская фраза, чьи аналоги можно найти и в более ранней истории (как минимум, в конфуцианстве), и которая, вероятно, содержит одну из самых кратких и ясных норм философии личной свободы — «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе» — в интерпретации типа большинства, описанного Лоуэллом, превращается в «Делай другим то, чего не хочешь, чтобы делали тебе». В этом отношении Шумпетер был прав, когда он утверждал, что в современных политических сообществах «общая воля» — это обман. С учетом всех случаев групповых решений, подобных тем, о которых я упомянул, мы обязаны согласиться с Шумпетером. Люди, которые принадлежат к победителям внутри группы, утверждают, что они принимают решения в общих интересах и в соответствии с «общей волей».

Однако во всех тех случаях, когда рассматриваемые решения принуждают меньшинство расставаться с деньгами или продолжать сдавать жилье людям, которым они не хотят его сдавать, внутри группы не будет консенсуса. Это верно, что многие считают как раз отсутствие консенсуса основанием для того, чтобы обращаться к групповым решениям и принудительным процедурам. Тем не менее это не является серьезным возражением против реформы, которую я предлагаю. Если принять во внимание, что одной из главных целей такой реформы было бы восстановление личной свободы в смысле свободы от принуждения

со стороны других людей, то мы не найдем оснований для того, чтобы предоставить место в нашей системе тем решениям, которые связаны с принуждением по отношению к менее многочисленной группе людей со стороны более многочисленной группы. В таких решениях не может отражаться «общая воля», если только не считать «общей волей» волю большинства, пренебрегая свободой людей, принадлежащих к меньшинству.

В то же время у выражения «общая воля» есть и другое значение кроме того, которое используют сторонники групповых решений. Это *воля, которая проявляется в процессе сотрудничества всех вовлеченных в этот процесс людей, без использования групповых решений и групп, принимающих решения*. Эта общая воля создает и поддерживает слова обычного языка так же, как не требующие принуждения договоренности и соглашения между индивидами; она вдохновляет популярных музыкантов, писателей, актеров и спортсменов; она создает и поддерживает модные тенденции, манеры, этические нормы и т.д. Эта воля является общей в том смысле, что все те индивиды, которые участвуют в ее проявлениях и в ее реализации внутри сообщества, делают это свободно и добровольно, в то время как те, кто в итоге не согласен с результатом, в равной степени свободны поступать по-своему, не испытывая принуждения со стороны других людей, которые заставляли бы их согласиться с принятым решением. При такой системе все члены сообщества принципиально согласны в том, что чувства, действия, типы поведения и т.д. принадлежащих к сообществу индивидов разрешены, допустимы и никому не мешают, вне зависимости от количества индивидов, которые предпочитают так действовать или вести себя таким образом.

Следует признать, что речь выше идет скорее о теоретической модели «общей воли», чем о конкретной исторической ситуации, все детали которой могут быть подтверждены. Однако история предоставляет нам примеры обществ, о которых можно сказать, что «общая воля» существовала там в описанном мной смысле. Даже в настоящее время и даже в тех странах, где широко применяются принудительные методы, во многих ситуациях по-прежнему проявляется действительно общая воля — и никто не оспаривает всерьез ее существования и не желает каких-либо перемен.

Давайте теперь посмотрим, сможем ли мы представить себе «общую волю», которая отражается не только в общем языке

или в обычном праве, общей моде, вкусах и т.п., но и в групповых решениях, включая их параферналии в виде принудительных процедур.

Строго говоря, мы должны сделать вывод, что ни одно групповое решение, если только оно не принимается консенсусом, не является выражением воли, общей для всех людей, которые участвуют в принятии данного решения. Однако в некоторых случаях — например, когда суд присяжных выносит вердикт по делу грабителя или убийцы — против меньшинства принимаются такие решения, которые это меньшинство, в свою очередь, без колебаний предпочло бы в том случае, если его члены были бы жертвой соответствующих действий со стороны других людей. Со времен Платона было неоднократно отмечено, что даже пираты и грабители на практике должны выработать какой то общий для них всех закон, чтобы их шайка не распалась и не исчезла в результате внутренних конфликтов. Если принять это во внимание, можно утверждать, что бывают такие решения, которые, хотя и не отражают в каждый момент времени волю каждого из членов группы, могут рассматриваться как «общие» для этой группы, в том смысле, что каждый ее член одобряет их в конкретных, одинаковых обстоятельствах. Я считаю, что в некоторых парадоксальных рассуждениях Руссо, которые кажутся глупостью его противникам и поверхностным читателям, есть зерно истины. Когда французский философ говорит, что преступник желает своего осуждения, ибо ранее он договорился с другими людьми о наказании всех преступников, включая себя самого, в случае, если он совершит преступление, он делает утверждение, которое в буквальном смысле является бессмысленным. Однако вполне осмысленно утверждать, что каждый преступник согласится с осуждением других преступников и даже потребует его. В этом смысле «общая воля» всех членов сообщества, направленная на то, чтобы препятствовать некоторым видам поведения, которые считаются преступлениями в этом обществе, и наказывать за них, существует. То же самое более или менее верно для всех видов поведения, которые в англоговорящих странах называются деликтами (*torts*), то есть поступками, которые не разрешены в данном сообществе вследствие убеждений, которые разделяет это сообщество.

Есть очевидная разница между групповыми решениями в случае, когда они связаны с осуждением преступлений и правонарушений, и в случае, когда они относятся к иным видам поведе-

ния, как, например, в обсуждавшемся примере с арендодателями и арендаторами. В первом случае группа выносит вердикт против такого индивида или меньшинства индивидов в группе, которые совершили грабеж внутри группы. Во втором случае принятые решения как раз и состоят в грабеже других людей, а именно, людей, принадлежащих к меньшинству внутри группы. В первом случае любой, в том числе каждый из членов меньшинства, осужденный за грабеж, согласился бы с приговором, если бы последний не относился к нему лично, в то время как во втором случае происходит как раз обратное: сами члены принявшего решение большинства не одобрили бы это решение (например, ограбить меньшинство группы) ни в одном из случаев, в которых они сами были бы на месте жертвы. Однако в обоих случаях все члены группы, как мы видели, чувствуют, что некоторые поступки достойны осуждения. Именно это позволяет нам сказать, что в реальности существуют такие групповые решения, которые могут соответствовать «общей воле» во всех тех случаях, когда мы имеем основания предполагать, что в подобных обстоятельствах это решение было бы одобрено всеми членами группы, включая тех членов меньшинства, которые в данный момент являются его жертвами. Но в то же время нельзя считать соответствующими «общей воле» группы такие решения, которые в подобных обстоятельствах не были бы одобрены членами группы, включая членов большинства, которые в данный момент пользуются плодами этого решения.

Групповые решения последнего типа должны быть полностью убраны с карты, описывающей область возможных или необходимых в современном обществе групповых решений. После тщательной оценки их целей все групповые решения первого типа должны остаться на карте. Конечно, я не считаю, что в настоящее время устранение таких групповых решений было бы легкой задачей. Устранение всех групповых решений, которые принимает большинство описанного Лоуэллом типа, означало бы прекращение раз и навсегда войны законов, разделившей современное общество на конфликтующие группы, каждая из которых, действуя в собственных интересах, непрерывно пытается принудить членов другой группы согласиться с контрпродуктивными действиями и контрпродуктивным отношением к ней. С этой точки зрения, к значительной части современного законодательства можно приложить определение, предложенное немецким теоретиком Клаузевицем для

войны, а именно, что законодательство — это способ достичь тех целей, которых больше невозможно достичь обычными переговорами. Именно эта господствующая концепция закона как инструмента групповых интересов подсказала Бастиа столетие назад его знаменитое определение государства: «L'État, la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre au dépens de tout le monde» («Эта громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счет всех»^{*}). Следует признать, что и в наше время это определение сохраняет свою актуальность.

Агрессивная концепция законодательства, служащего групповым интересам, извратила идеал политического общества как однородного сообщества — нет, просто как общества. Большинство людей, вынужденное смириться с плодами законодательства, на которые они никогда бы не дали согласия в других обстоятельствах, чувствует себя несправедливо ущемленным и терпит свое положение, только чтобы избежать еще худшего, или пользуется им в качестве прикрытия, чтобы добиться, в свою очередь, принятия других законов, которые приносят вред другим людям. Возможно, эта картина не полностью верна для США — в той мере, в какой она верна для некоторых стран Европы, где социалистические идеалы прикрывают многочисленные групповые интересы временного или стабильного большинства внутри каждой страны. Но мне достаточно упомянуть лишь о законе Норриса—Ла Гардиа, чтобы убедить моих читателей в том, что мои слова относятся и к США. Там, тем не менее, предоставление юридических привилегий конкретным группам обычно оплачивает не другая конкретная группа, как в европейских странах, а все граждане в качестве налогоплательщиков.

К счастью для всех людей, которые надеются на то, что предлагаемая мной реформа когда-нибудь произойдет, не все групповые решения в нашем обществе являются порождением войны законов и не любое большинство относится к типу, описанному Лоуэллом.

Групповые решения, фигурирующие на современных политических картах, относятся и к объектам, которым больше бы подошло место на карте индивидуальных решений. Например, это объекты таких современных законодательных актов,

^{*} Бастиа Ф. Государство // Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. Челябинск: Социум, 2006. С. 91. — *Прим. научн. ред.*

которые ограничиваются сокращенным описанием того, что люди той или иной страны считают правом или обязанностью. Я подозреваю, что многие из тех, кто противопоставляет писанные законы произвольной власти отдельных людей: тиранов, государственных чиновников или даже нестабильных коалиций большинства, подобных тем, которые правили Афинами во второй половине V века до н.э., — более или менее осознанно считают законы кратким изложением неписанных правил, которые уже приняты всеми людьми в данном обществе. Действительно, многие писанные нормативные акты до сих пор можно рассматривать как краткое изложение неписанных правил если не в смысле намерений законодателя, то по крайней мере с точки зрения содержания. Классический случай — Свод гражданского права Юстиниана. Это верно, несмотря на то, что, в соответствии с намерением, высказанным самим императором, который (как мы не должны забывать) происходил из страны и из народа, где существовала склонность отождествлять закон страны с его писанным законом, Свод гражданского права вступил в силу как статут, введенный в действие лично императором.

Однако его содержание является поразительным доказательством неразрывной связи его идеала Свода гражданского права как писаного закона и реально воплощенного в нем обычного, то есть неписаного, права. На самом деле, центральная и дольше всего сохранявшая актуальность часть свода, так называемые «Пандекты», или «Дигесты», целиком и полностью состояли из утверждений древнеримских юристов, относящихся к неписаному праву. Их труды были собраны и отфильтрованы Юстинианом (которого, кстати, можно рассматривать как самого знаменитого редактора *Reader's Digest* всех времен и народов), чтобы представить результат поданным в качестве конкретной формулировки его личных предписаний. Действительно, по мнению современных исследователей, не все так просто с проделанной Юстинианом компиляцией, а также с его отбором и пересказом: в некоторых случаях имеются серьезные сомнения относительно подлинности текстов, включенных в свод под именами древнеримских юристов, скажем, Павла или Ульпиана. Однако исследователи не сомневаются в подлинности всего свода. В последнее время даже сомнения по поводу аутентичности некоторых конкретных отрывков были отброшены большинством специалистов.

В свою очередь, компиляция Юстиниана стала объектом подобной компиляции для континентальных юристов Средневековья и Нового времени — до наступления нынешней эпохи кодексов и писаных конституций. Для континентальных юристов тех времен вопрос состоял не в том, чтобы «отобрать», как это делал Юстиниан, а в том, чтобы «истолковать», то есть расширить, смысл исходных текстов во всех тех случаях, когда это было необходимо, чтобы удовлетворить новые требования времени и при этом, до самого последнего времени, сохранить в силе действие всего свода в качестве закона страны для большинства стран континентальной Европы. Таким образом, если император древности превратил обычное право, подтвержденное римскими юристами, в писаный закон и формально ввел его в действие, то юристы Средневековья и Нового времени (вплоть до вступления в силу нынешних кодексов), в свою очередь, превратили формально введенный в действие закон Юстиниана в новый закон, подтвержденный юристами, — в *Juristenrecht* (право юристов, как называли его немцы), который был, говоря приблизительно, исправленным изданием свода Юстиниана и, соответственно, древнеримского права.

Несколько лет назад мой итальянский коллега, к своему огромному удивлению, обнаружил, что в некоторых странах, например в ЮАР, Свод Юстиниана до сих пор действует в буквальном смысле слова. Его клиентка, дама из Италии, которая имела собственность в ЮАР, поручила ему совершить сделку с этой собственностью, чем он и занялся. Некоторое время спустя юрист из Южной Африки попросил моего коллегу выслать ему подписанный клиенткой документ о том, что она отказывается от использования привилегии, предоставленной женщинам *Senatus Consultum Velleianum*, принятым Римским Сенатом девятнадцать веков назад актом, который разрешил женщинам отказываться от своего слова и вообще не соблюдать некоторых видов договоренностей с другими людьми. Премудрые римские сенаторы считали, что женщины склонны менять свои решения и что было бы нечестно требовать от них той же последовательности, какой закон страны обычно требовал от мужчин. Я полагаю, что результат принятия этого акта отличался от ожиданий принявших его сенаторов. После вступления в силу *Senatus Consultum* у людей было очень мало желания вступать в договоренности с женщинами. В конце концов

средство от этого неудобства было найдено: женщинам разрешили отказываться от привилегии, предоставленной им *Senatus Consultum*, перед совершением сделок, например, купли-продажи земли. Мой коллега послал в Южную Африку отказ клиентки обращаться к *Senatus Consultum Velleianum*, и сделка была успешно завершена.

Когда мне рассказали эту историю, меня позабавила мысль о том, что существуют люди, которые считают, что новые законы — это все, что нам нужно для полного счастья. Наоборот, мы располагаем массой исторических доказательств того, что во многих случаях даже законодательство, по прошествии многих веков и поколений, в большей степени отражало стихийный процесс возникновения законов, чем решения, принятые по произволу большинства законодателей.

Центральную идею *Juristenrecht* и вообще деятельности юристов в континентальной Европе удачно фиксирует немецкое слово *Rechtsfindung* (отправление правосудия), то есть деятельность по обнаружению закона. Закон воспринимался не как что-то «введенное в действие», а как что-то «существующее», что необходимо «обнаружить», «открыть». И это нужно было делать, не исследуя непосредственно смысл человеческих договоренностей или человеческих чувств относительно прав и обязанностей, а прежде всего (по крайней мере так представляется) исследуя письменный текст двухтысячелетней давности: компиляцию Юстиниана.

С нашей точки зрения, эта ситуация интересна в качестве доказательства того, что *писанный закон — это не обязательно законодательство*, то есть закон, официально принятый парламентом. В континентальной Европе «Свод гражданского права» Юстиниана больше не был законодательством, по крайней мере в техническом смысле, — он не был принят и не вводился в действие законодательными органами европейских стран. (Это, кстати, могло бы удовлетворить тех, кто цепляется за идеал определенности закона в смысле точных письменных формулировок, и не потребовало бы приносить в жертву идеал определенности закона в смысле возможности долгосрочного планирования.)

Кодексы стран континентальной Европы предоставляют другой пример феномена, который сегодня мало кем осознается, — жесткой связи между идеалом формально принятого закона и идеалом закона, содержание которого фактически не зависит

от законодательства. Эти кодексы, в свою очередь, можно рассматривать как краткое изложение Свода гражданского права Юстиниана, а также толкований компиляции Юстиниана, создававшихся европейскими юристами в Новое время и Средние века в течение нескольких столетий — вплоть до введения в действие кодексов.

До некоторой степени можно сравнить кодексы континентальной Европы с официальными объявлениями, обычно издаваемых властями, например, итальянскими *municipia* римских времен, в подтверждение пробы и веса металлов, которые частные люди использовали для чеканки монет, в то время как современное законодательство, как правило, можно сравнить с вмешательством всех современных правительств в определение ценности их собственных бумажных денег, не подлежащих свободному размену на золото. (Между прочим, неразменные бумажные деньги представляют собой поразительный пример законодательства в современном смысле слова, то есть группового решения, в результате которого одни члены группы приносятся в жертву ради выгоды других и которое не могло бы быть принято, если бы жертвы могли свободно выбирать, с какими деньгами иметь дело, а с какими — нет.)

Кодексы стран континентальной Европы, например, Кодекс Наполеона, Австрийский кодекс 1811 года и Германский кодекс (Германское гражданское уложение) 1900 года, появились в результате критики компиляции Юстиниана, которая к тому моменту уже превратилась в *Juristenrecht*. Одной из главных причин для кодификации было стремление к определенности закона в смысле точности формулировок. «Дигесты» представляли собой довольно рыхлую систему правил, многие из которых можно было рассматривать в качестве конкретных примеров применения какого-нибудь более общего правила, которое римские юристы не позаботились сформулировать. Действительно, в большинстве случаев они сознательно избегали таких формулировок, чтобы не стать пленниками своих собственных правил в тех случаях, когда им надо было рассматривать дела, не имевшие прецедента. Компиляция Юстиниана действительно содержала в себе противоречие. Император попробовал превратить в закрытую и спланированную систему то, что римские юристы всегда рассматривали как открытую и стихийную систему, но при этом использовал в качестве материала труды этих юристов. Таким образом, система Юс-

тиниана оказалась слишком открытой для закрытой системы, а *Juristenrecht*, право юристов, действуя с характерной для него постепенностью, скорее усилило, чем смягчило это исходное противоречие.

Кодификация была значительным шагом в реализации идеи Юстиниана о том, что закон — это закрытая система, которую должны планировать эксперты под руководством политической власти, но она также подразумевала, что планирование должно касаться в большей степени формы закона, чем его содержания.

Так, выдающийся немецкий исследователь Ойген Эрlich писал, что «реформирование закона в Германском кодексе 1900 года и в более ранних континентальных кодексах было скорее мнимым, чем реальным»¹. *Juristenrecht*, право юристов, было перенесено в новые кодексы практически нетронутым, хотя и в сокращенном виде, а толкование закона по-прежнему требовало серьезного знакомства с трудами континентальных юристов.

К сожалению, через некоторое время оказалось, что новый идеал придания законодательной формы незаконодательному содержанию внутренне противоречив. Закон, который не является законодательством, всегда меняется, хотя это и происходит медленно и скорее подспудно. Его точно так же нельзя преобразовать в закрытую систему, как и обычный язык, хотя применительно к последнему некоторыми исследователями, в частности, создателями эсперанто и других искусственных языков, такие попытки предпринимались. Однако средство для смягчения противоречивости кодексов оказалось малоэффективным. Чтобы изменить кодексы, понадобилось принимать новые писанные законы, и постепенно первоначальная закрытая система кодексов обросла огромным количеством других письменных актов, нагромождение которых представляет собой одну из самых поразительных особенностей правовых систем современной Европы. Тем не менее кодексы все еще рассматриваются в европейских странах в качестве ядра закона, и в той мере, в какой их исходное содержание сохранилось, можно опознать в них связь между идеалом формального принятого закона и содержанием, восходящим к неписаному закону, который изначально послужил основой для компиляции Юстиниана.

¹ Eugen Ehrlich, *Juristische Logik* (Tübingen: Mohr, 1918), p. 166.

Однако, если обратиться к тому, что происходило примерно в то же время в англоговорящих странах, мы легко обнаружим примеры того же самого процесса. Многие из актов английского парламента представляют собой в большей или меньшей степени пересказ *rationes decidendi*, выработанных обычными судами в ходе долгого процесса, растянувшегося на всю историю обычного права.

Те, кто знаком с историей английского общего права, согласятся, когда им напомнят, скажем, что Акт о защите детей (*Infant Relief Act*) 1874 года всего-навсего усилил норму обычного права, что контракты, заключенные от имени детей, оспоримы по их усмотрению. Другой пример: Акт о продаже товаров (*Sale of Goods Act*) 1893 года придавал законодательный характер норме обычного права, согласно которой, когда товары продаются на аукционе, то в отсутствие иных явно сформулированных намерений объявление самой высокой цены означает предложение, а удар молотка означает согласие на него. В свою очередь, некоторые другие акты, например, Закон о мошенничестве (*Statute of Frauds*) 1677 года и Акт о правах собственности (*Law of Property Act*) 1925 года придали законодательный характер другим нормам обычного права (например, норме о том, что некоторые договоры обещиваются санкцией только, если они подтверждены письменно), а Акт о компаниях (*Companies Act*) 1948 года, обязавший учредителей компании раскрывать в проспектах компании некоторые данные, просто сформулировал применительно к конкретному случаю некоторые правила относительно неверного истолкования контрактов, подтвержденные судами. Было бы излишне приводить дальнейшие примеры.

Итак, как уже отмечал Дайси, многие современные конституции и билли о правах, в свою очередь, можно рассматривать не как творения, созданные современными Солонами из ничего, а как более или менее верные пересказы множества *rationes decidendi*, которые обнаружили и шаг за шагом применяли английские суды в своих решениях, относящихся к правам конкретных индивидов.

Тот факт, что писанные кодексы и конституции, хотя и имели в XIX веке форму введенного в действие закона, в содержательном отношении на практике отражали процесс создания законов, основанный по преимуществу на стихийном поведении частных индивидов в течение веков и поколений, может побу-

диль либеральных мыслителей рассматривать писанный закон (понимаемый как набор точно сформулированных общих правил) в качестве средства, необходимого для сохранения личной свободы в наше время.

Действительно, нормы, воплощенные в писаных кодексах и писаных конституциях, могут показаться лучшим выражением либеральных принципов, поскольку в них нашел отражение длительный исторический процесс, результатом которого было, в сущности, не право законодателей, а право судей или право юристов. Это напоминает «созданные всеми» законы, которые так превозносил Катон Старший за их роль в создании величия Рима.

Континентальные сторонники писаных кодексов и, в особенности, писаных конституций, упустили из виду, что введенные в действие нормы, сформулированные в общем виде, точные, теоретически непредвзятые, и — в некоторых отношениях — «определенные», могли также иметь содержание, которое *несовместимо* с личной свободой. Они были убеждены, что *Rechtsstaat* и *état de droit* точно соответствуют английскому *rule of law* и даже превосходят его за счет ясности, большей универсальности и большей определенности формулировок. Когда *Rechtsstaat*, германское правовое государство, начало разлагаться, выяснилось, что это было заблуждением.

В наше время разнообразные подрывные элементы, пытаясь радикально изменить содержание кодексов и конституций, без труда притворялись, что сохраняют уважение к классической идее *Rechtsstaat* с его заботой о «всеобщем характере», «равенстве» и «определенности» писаных норм, одобренных «представительными» посланниками «народа» в соответствии с волеизъявлением большинства. Идея XIX века о том, что *Juristenrecht*, право юристов, на континенте было успешно восстановлено в правах и даже яснее, чем прежде, зафиксировано в кодексах (и, более того, принципы, лежащие в основе созданной судьями конституции английского народа, были успешно перенесены в писанные конституции, принятые законодательными собраниями), теперь открыла дорогу новому, кастрированному, представлению о *Rechtsstaat* — правовом государстве, в котором все правила должны приниматься парламентом. То, что для исходных кодексов и конституций роль законодателей ограничивалась в основном кратким изложением закона, который не был результатом законодательного процесса,

постепенно забылось или считалось несущественным по сравнению с тем, что и кодексы, и конституции были одобрены парламентами, члены которых были «представителями» народа.

Этому факту сопутствовал другой, также отмеченный Эрлихом: *Juristenrecht*, право юристов, введенное в кодексы, было сокращено и пересказано, но в такой форме, которую юристы — современники кодексов легко воспринимали за счет отсылок к литературе и к практике судопроизводства, с которой они были прекрасно знакомы до принятия кодексов¹. Однако юристы следующего поколения уже были не в состоянии этого делать. Они привыкли в гораздо большей степени обращаться к самому кодексу, чем к его историческим истокам. По мнению Эрлиха, характерными чертами комментаторских потуг континентальных юристов второго и последующих поколений были бесплодность и скудость, что является доказательством того, что юристы не могут сохранить высокий уровень квалификации, если работают только с писанным законом, не учитывая исторической традиции.

Самым важным последствием новой тенденции было то, что люди на континенте и, до определенной степени, также в англоговорящих странах все больше и больше привыкали к тому, что право — это *писаное право*, то есть единая последовательность нормативных актов, одобренная законодательными органами на основе волеизъявления большинства.

Таким образом, о праве как таковом начали думать как о результате не индивидуальных актов выбора, а групповых решений, и некоторые теоретики, например, Ганс Кельзен, дошли до того, что начали отрицать даже саму возможность обсуждения юридического или политического поведения индивидов вне рамки принудительных норм, в соответствии с которыми любые поступки должны квалифицироваться либо как «законные», либо как «незаконные».

Другое следствие произошедшей в наше время революции в понимании права состоит в том, что процесс создания закона стал в основном восприниматься не в связи с теоретической деятельностью экспертов, например, судей и юристов, а в связи с волей победившего большинства внутри законодательного органа. Казалось, что принцип «представительства» обеспечивает подразумеваемую связь между победившим большинством

¹ Ibid., p. 167.

и каждым индивидом в качестве члена электората. Таким образом, участие индивидов в процессе создания закона перестало быть реальным и все больше превращалось в пустой церемониал, периодически проводящийся в ходе всеобщих выборов в той или иной стране.

До принятия законов и конституций XIX века стихийный процесс создания законов совершенно не был чем-то уникальным, если рассматривать его в связи с другими стихийными процессами, например, бытованием языка, со сменой модных тенденций или с процессом ежедневных экономических сделок. Характерной чертой всех этих процессов является то, что все они происходят посредством добровольного сотрудничества огромного количества индивидов, каждый из которых участвует в процессе в меру своего желания и своих способностей, чтобы поддерживать или даже менять текущее состояние экономических дел, языка, моды и т.п. Такой процесс не предполагает групповых решений, принуждающих кого-либо использовать новое слово вместо старого, носить модный костюм вместо вышедшего из моды или ходить в кино, а не в театр. Действительно, в наше время действуют колоссальные группы влияния, чья пропаганда* предназначена для того, чтобы заставить людей совершать новые экономические сделки, следовать новой моде, усваивать новые слова и даже новые языки, например, волапук и эсперанто. Нельзя отрицать, что, возможно, эти группы оказывают большое влияние на акты выбора конкретных индивидов, но они никогда не используют принуждение. Путать с принуждением влияние и пропаганду было бы ошибкой, подобной той, которую мы наблюдали, анализируя другие случаи путаницы, связанные со значением слова «принуждение». Некоторые формы воздействия, имеющие целью оказать влияние, могут идти рука об руку с принуждением или даже выступать в качестве эквивалента принуждения. Но они всегда связаны с принуждением в буквальном значении этого слова, например, с принуждением, которое происходит, когда жителям какой-либо страны запрещают импортировать иностранные газеты и журналы, слушать иностранные радиостанции или просто ездить за границу. В таких случаях инструменты влияния и пропаганда внутри страны очень

* Леони иногда употребляет слово «пропаганда» в смысле «реклама»; такого значения в английском языке нет, в отличие от итальянского, где такое значение существует. — *Прим. перев.*

похожи на формы принуждения в точном значении этого слова. Люди не могут услышать другую пропаганду, которая, возможно, понравилась бы им больше, не могут выбирать источник информации, а иногда даже не могут не слушать радио и не читать газет, которые находятся под контролем руководства их страны.

Похожая ситуация возникает в сфере экономики, когда с помощью законодательства (то есть групповых решений и принуждения) внутри страны создаются монополии, например, с целью ограничить или прекратить импорт товаров, которые производят потенциальные конкуренты из других стран. В этом случае индивиды тоже определенным образом подвергаются принуждению, но в основе этих принудительных мер не лежат действия и поступки отдельных индивидов в ходе описанного выше нормального процесса стихийного сотрудничества.

Особые случаи, например, устройства, действующие на подсознание, невидимую простым глазом рекламу, действующую на наше зрение и, соответственно, на наш мозг, с помощью инфракрасного излучения, а также навязчивую рекламу и навязчивую пропаганду, от которых невозможно уклониться, можно рассматривать как нарушение норм, которые уже сложились во всех цивилизованных странах и защищают любого человека от принуждения со стороны других людей. Поэтому такие случаи вполне можно считать примерами принуждения, которое следует предотвращать посредством уже существующих норм, обеспечивающих защиту личной свободы.

Итак, в конечном итоге законодательство оказывается гораздо менее очевидным и гораздо менее распространенным инструментом, чем кажется, если не обращать внимание на то, что происходит в других важных областях человеческой деятельности и человеческого поведения. Я бы даже рискнул сказать, что законодательство, особенно по сравнению с бесчисленными актами выбора, которые индивиды совершают ежедневно, кажется чем-то совершенно исключительным и даже противоречащим всему остальному, что происходит в человеческом обществе. Контраст между законодательством и другими процессами человеческой деятельности наиболее ярок в тех случаях, когда мы сравниваем законодательство с процессом развития науки. Я бы даже назвал это одним из самых больших парадоксов современной цивилизации: она достигла потрясающего уровня развития научных методов, в то же самое

время расширяя, добавляя и поощряя такие прямо противоположные им вещи, как групповые решения и волеизъявление большинства.

Посредством групповых решений и волеизъявления большинства никогда не удавалось достичь никакого научного результата. Вся история современной западной науки является доказательством того, что в долгосрочной перспективе никакое большинство, никакой тиран, никакое принуждение не могут восторжествовать над индивидами во всех тех случаях, когда последние могут убедительно доказать, что их собственные научные теории работают лучше, чем другие и их научный подход устраняет больше проблем и трудностей, чем другие подходы, вне зависимости от того, сколько народу их придерживаются и насколько они распространены или влиятельны. На самом деле, история современной науки, если рассматривать ее с этой точки зрения, представляет собой наиболее убедительное доказательство несостоятельности группового принятия решений, групповых решений, основанных на какой-либо принудительной процедуре, и — обобщая — несостоятельности принуждения по отношению к индивидам в качестве якобы средства продвижения научного прогресса и достижения научных результатов. В этом смысле известный процесс над Галилеем в начале новой научной эры — это символ всей истории науки, ибо вплоть до наших дней в различных странах проходят судебные процессы, в ходе которых предпринимаются попытки принудить отдельных ученых отказаться от своей теории. Но в конечном итоге ни одна научная истина не была установлена или опровергнута посредством принуждения по отношению к ученым со стороны невежественного большинства или фанатичных тиранов.

Напротив, научное исследование — это наиболее яркий пример стихийного процесса, включающего добровольное сотрудничество бесчисленного количества индивидов, каждый из которых принимает в нем участие в соответствии со своими желаниями и способностями. Конкретные индивиды или группы никогда не были в состоянии запланировать или спрогнозировать общий результат процесса. Никому не удалось даже сделать сколько-нибудь определенного утверждения о том, каким будет результат такого сотрудничества, не подтверждая его тщательнейшим образом каждый год — да какой там год! — каждый месяц и каждый день на протяжении всей истории науки.

Что бы произошло в странах Запада, если бы научный прогресс был ограничен групповыми решениями и волеизъявлением большинства, основанными на «представительстве» ученых в качестве членов электората, не говоря уже о «представительстве» всего народа? Именно эту ситуацию описывал Платон в своем диалоге «Политик», когда противопоставлял так называемую науку управления и науки вообще писанным правилам, вводившимся в действие решением большинства в древнегреческих демократиях. Один из участников диалога предлагает, чтобы законы медицины, навигации, математики, сельского хозяйства и всех известных в то время наук и технологий фиксировались бы в виде письменных законов (*syngrammata*), вводимых в действие законодательными собраниями. Понятно (к такому заключению приходят остальные участники диалога), что в таком случае все науки и технологии исчезнут без всякой надежды на возрождение, запрещенные законом, который воспрепятствует каким бы то ни было исследованиям, а жизнь, которая и так уже тяжела, печально добавляют они, станет совершенно невозможной.

Однако итоговый вывод из этого платоновского диалога отличается от приведенного выше. Платон утверждает, что, хотя в сфере науки с таким положением согласиться нельзя, с ним необходимо согласиться в сфере закона и институтов. Нет человека, настолько умного и настолько честного, что он смог бы править своими согражданами, пренебрегая писанными законами, и при этом не причинял бы гораздо больше неудобств, чем жесткая система законодательства.

Это неожиданное заключение напоминает логику авторов писанных кодексов и писанных конституций XIX века. И Платон, и эти теоретики противопоставляли писанные законы произвольным действиям правителя и полагали, что первые предпочтительнее последних, поскольку ни один отдельно взятый правитель не в состоянии поступать достаточно разумно для того, чтобы обеспечить общее благосостояние страны.

Я не возражаю против этого вывода *при условии*, что мы соглашаемся с его посылкой, а именно, с тем, что единственной альтернативой писаным законам является произвол тиранов.

Однако история снабжает нас обильными доказательствами того, что это противопоставление не единственное и даже не самое важное из тех, которые открыты для людей, ценящих личную свободу. Исторические свидетельства куда последова-

тельное отражают другое противопоставление: например, произвольных норм, сформулированных конкретными индивидами и группами, с одной стороны, и стихийного сотрудничества всех жителей страны в процессе создания законов — с другой.

Если рассматривать этот вариант, то не вызывает сомнений, что выбор будет сделан в пользу личной свободы, понимаемой как состояние каждого человека, делающего свой собственный выбор без принуждения с чьей-либо стороны, требующего от него поступать против своей воли.

Произвол королей, государственных чиновников, диктаторов и т.п. не нравится никому. Но законодательство — это неподходящая альтернатива произволу, потому что во многих случаях произвол может твориться и творится с помощью писаных законов, которые люди вынуждены терпеть, потому что в процессе их создания не участвует никто, кроме горстки законодателей.

Хайек, один из наиболее выдающихся современных сторонников писаных, всеобщих и определенных норм в качестве средства противодействия произволу, прекрасно осознает, что верховенства права «недостаточно», чтобы защитить личную свободу, и соглашается с тем, что оно «не является достаточным условием личной свободы, поскольку оно оставляет широкий простор для возможных действий государства»¹.

В этом также состоит причина, по которой свободный рынок и свободная торговля в качестве системы, настолько не зависящей от законодательства, насколько это вообще возможно, должны рассматриваться не только как самое действенное средство обеспечить свободный выбор товаров и услуг для потребителей, но и как образец для любой другой системы, цель которой состоит в обеспечении свободного выбора, в том числе для систем, связанных с правом и правовыми институтами.

Конечно, системы, основанные на стихийном участии всех желающих индивидов, — это не панацея. На рынке, как и в любой другой области, существуют меньшинства, и их участие в процессе не всегда приводит к удовлетворяющим их результатам, по крайней мере до тех пор, пока они не становятся достаточно многочисленными, чтобы у производителей возник стимул пойти навстречу их требованиям. Если я хочу купить редкую книгу или редкую пластинку в маленьком городке, возможно, у меня это не получится, поскольку ни у одного из местных продавцов

¹ F. A. Hayek, *op. cit.*, p. 46.

книг и пластинок не будет того, что мне нужно. Однако это не тот недостаток, который могли бы исправить принудительные системы, если не учитывать некоторых, вероятно, утопических, систем, изобретенных социалистическими мыслителями и мечтателями и построенных по принципу «Каждому по потребностям всё, что ему угодно».

Никто пока еще не обнаружил страну Утопию. Поэтому мало смысла в том, чтобы критиковать существующую систему, противопоставляя ей несуществующие системы, которые, возможно, не содержали бы ее недостатков.

Обобщим сказанное мной в этой лекции. Невозможно совместить личную свободу и «общую волю» во всех тех случаях, когда последняя представляет собой исключительно обман, скрывающий принуждение со стороны большинства описанного Лоуренсом Лоуэллом типа по отношению к меньшинству, которое, в свою очередь, никогда бы не согласилось с итоговой ситуацией, если бы имело возможность выбора.

Однако личная свобода согласуется с общей волей тогда, когда объект последней можно совместить с принципом, установленным правилом «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». В этом случае групповые решения совместимы с личной свободой, так как они наказывают и предлагают возмещение за те поступки, которые осудили бы все члены группы — в том числе те, кто сам так поступает — если бы они сами стали их жертвами.

Более того, личная свобода может быть совместимой с группами, принимающими решения, и групповыми решениями, если они отражают итог стихийного участия всех членов группы в формировании общей воли, например, в процессе создания законов, не зависящем от законодательства. Однако совместимость между личной свободой и законодательством довольно ненадежна из-за потенциального противоречия идеала стихийного формирования общей воли и идеала ее изложения, одобренного с помощью принудительной процедуры, как это обычно происходит в ходе законодательного процесса.

Наконец, личная свобода превосходным образом совместима со всеми теми процессами, результатом которых является формирование общей воли без участия групп, принимающих решения, и групповых решений. Естественный язык, повседневные экономические сделки, обычаи, мода, стихийные процессы создания права и, прежде всего, научные исследования —

вот наиболее распространенные и убедительные примеры такой совместимости и, более того, теснейшей связи личной свободы со стихийным формированием общей воли.

По контрасту с этим стихийным способом определения общей воли законодательство представляется менее эффективным инструментом, что становится очевидным, когда мы обращаем внимание на огромный размер области, внутри которой в странах Запада общая воля определялась стихийно — и в прошлом, и в настоящем.

Исторический опыт показывает, что законодательство не является разумной альтернативой произволу и часто занимает место в одном ряду с самонадеянными постановлениями тиранов или высокомерного большинства, направленными против стихийных процессов формирования общей воли в описанном мной смысле.

С точки зрения сторонников индивидуальной свободы, разумно относиться с подозрением не только к чиновникам и правителям, но и к законодателям. В этом смысле мы не можем согласиться со знаменитым определением свободы, которое дал Монтескье: «Право делать все, что дозволено законами». Как заметил в связи с этим Бенжамен Констан: «Несомненно, нет свободы там, где люди не могут делать все, что дозволено законами; но законом может быть запрещено столько, что свободе будет положен конец»¹.

¹ B. Constant, *Cours de politique constitutionnelle* (Brussels, 1851), I, 178.

Глава 8

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Давайте рассмотрим некоторые возможные возражения против системы, в которой группы, принимающие решения, и групповые решения играли бы гораздо менее важную роль в политической жизни, чем это считается необходимым сегодня.

Несомненно, за последние сто лет современные правительства, законодательные собрания, значительная часть образованных слоев и общество в целом постепенно привыкли считать вмешательство властей в дела частных лиц гораздо более полезным, чем полагали в первой половине XIX века.

Когда сегодня кто-либо осмеливается утверждать, что «большое государство» и патерналистский парламент должны отказаться от своих полномочий в пользу частной инициативы, критика обычно состоит в том, что стрелки часов нельзя заставить идти в обратном направлении, что времена *laissez faire* прошли навсегда и т.п.

Необходимо тщательно различать то, что является возможным, по мнению людей, и то, что было бы возможно сделать в отношении восстановления максимального размера области свободного личного выбора. Конечно, и в политике, и во многих других областях, если мы стремимся достичь наших целей в соответствии с либеральными принципами, без согласия наших сограждан нельзя делать ничего, а это согласие, в свою очередь, зависит от того, во что люди верят. Однако совершенно очевидно, что важно установить, насколько правы люди, придерживаясь того или иного мнения. Общественное мнение — это еще не все, даже в либеральном обществе, хотя общественное мнение — это очень важно, особенно в либеральном обществе. Мне припоминается то, что несколько лет назад написал один из моих соотечественников: «Один дурак — это один дурак, два дурака — это два дурака, пятьсот дураков — это пятьсот дураков, но пять тысяч

дураков, не говоря уже о пяти миллионах, — это великая историческая сила». Я не отрицаю истинности этого циничного утверждения, но историческую силу можно сдержать или изменить, и вероятность этого увеличивается по мере того, как появляются факты, опровергающие то, во что люди верят. Слова, сказанные однажды Ипполитом Тэном о том, что десять миллионов примеров невежества в совокупности не становятся знанием, верны для всех типов невежества, включая невежество людей, принадлежащих к современным политическим обществам со всеми их придатками в виде демократических процедур, правила большинства, всемогущего правительства и всемогущего парламента.

То, что люди в основном еще верят в правильность и, больше того, в необходимость государственного вмешательства — даже в тех случаях, когда многие экономисты посчитали бы его бессмысленным или опасным, — не является непреодолимым препятствием для сторонников нового общества. Нет также ничего дурного в том, что это новое общество в конечном счете напоминает многие успешные общества прошлого.

Действительно, социалистические доктрины, включающие более или менее открытое осуждение личной свободы законодателями и правительствами, все еще более привлекательны для масс, чем холодные рассуждения экономистов. В таких обстоятельствах судьбы дела свободы в большинстве стран мира кажутся безнадежным.

Однако вызывает сомнения то, являются ли именно массы главными персонажами в современной драме личной свободы. Будь я обязан встать на сторону кого-то из современных приверженцев либерального идеала, я предпочел бы Мизеса, а не пессимистов: «Основная ошибка широко распространенного пессимизма состоит в мнении, что разрушительные идеи и практики нашего века произошли от пролетариата и являются “восстанием масс”. На самом деле, массы как раз потому, что они не занимаются творчеством и не выдумывают собственных философских доктрин, следуют за лидерами. Идеологии, вызвавшие все беды и катастрофы нашего времени, — это не достижения толпы. Это победы псевдоученых и псевдоинтеллектуалов. Они распространялись с университетских кафедр и с амвонов; их разносила пресса, романы, спектакли, фильмы и радио. Ответственность за то, что массы обратились к социализму и интервенционизму, несут ин-

теллектуалы. Чтобы развернуть вспять эту тенденцию, необходимо изменить мировоззрение интеллектуалов. Массы последуют за ними»¹.

Я не склонен считать, в отличие от того, как, мне кажется, считает Мизес, что изменить мировоззрение так называемых интеллектуалов было бы несложной задачей. В своей недавно изданной книге «Антикапиталистическая ментальность» Мизес отметил, что многих так называемых интеллектуалов заставляют присоединиться к врагам личной свободы и свободного предпринимательства не только, и даже не столько, ошибки в рассуждениях или недостаток информации, а скорее эмоциональные факторы, например, зависть по отношению к успешным предпринимателям или комплекс неполноценности по сравнению с ними. Если это так, то холодная логика и дополнительная информация будут так же бесполезны для обращения интеллектуалов, как и для непосредственного обращения «ограниченных и умственно инертных людей», принадлежащих к толпящимся на политической сцене массам.

К счастью, не все необразованные люди настолько «ограничены», что неспособны самостоятельно понимать что-либо или разумно рассуждать, особенно когда это связано с опытом их повседневной жизни. Во многих очевидных случаях их личный опыт не подтверждает теорий противников личной свободы. Во многих других случаях социалистические интерпретации столь же малоубедительны, как и другие софистические аргументы, которые, как показывает практика, гораздо сильнее действуют на так называемых интеллектуалов, чем на необразованных людей, руководствующихся исключительно здравым смыслом. Это подтверждается и тем направлением, которое в наши дни приняла социалистическая пропаганда. Современные пропагандисты социализма по Марксу больше не разъясняют публике странную и запутанную теорию так называемой прибавочной стоимости, хотя именно на эту теорию Маркс возлагал задачу теоретического обоснования всех своих атак против якобы имеющей место эксплуатации рабочих капиталистами-работодателями.

Между тем нынешним интеллектуалам продолжают рекомендовать марксистскую философию в качестве современного

¹ Ludwig von Mises, *Planning for Freedom* (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1952), last chapter.

объяснения мира. Сегодня уделяется гораздо больше внимания философскому (условно), а не политическому содержанию работ таких, например, представителей коммунизма, как В. И. Ленин.

В то же время многие экономические учения, провозглашающие личную свободу для всех и вся, в том числе для социалистов, представляют собой развитие в специальных областях простых утверждений, основанных на здравом смысле, так что в конце концов простые здравомыслящие люди не смогут не признать их правильности, несмотря на теории демагогов и разнообразную социалистическую пропаганду.

Все это дает надежду на то, что когда-нибудь людей можно будет убедить согласиться на применение либеральных принципов (в европейском смысле) к гораздо более широкому кругу вопросов и с гораздо большей последовательностью, чем сегодня.

Другой вопрос состоит в том, чтобы удостовериться, всегда ли либеральные принципы в изложении представителей странной науки под названием «экономическая теория», с одной стороны, и представителей более старой дисциплины, именуемой «политическими науками», — с другой, основаны на неоспоримых доказательствах.

Это существенный и важный вопрос, от решения которого вполне может зависеть возможность говорить о системе личной свободы в политике и экономической теории.

Оставим в стороне проблему взаимоотношений науки, с одной стороны, и политических и экономических идеалов — с другой. Науку не следует смешивать с идеологией, хотя последняя может состоять из множества вариантов выбора, относящихся к возможным политическим или экономическим системам, которые неизбежно разными способами связаны с результатами экономической и политической науки, понимаемой в качестве «нейтральной» или «ценностно нейтральной» деятельности, согласно веберовской теории общественных наук. Я думаю, что различие, которое Вебер проводит между «ценностно нейтральными» видами деятельности и идеологиями (наборами ценностных суждений), по-прежнему актуально, но нам не имеет смысла останавливаться на этой теме.

Мне кажется, что гораздо большую трудность представляет методологический вопрос — вопрос неоспоримости эконо-

номических и политических доказательств по сравнению с другими видами доказательств, например, с теми, которые приняты в математике или в естественных науках.

Я лично убежден, что главная причина, по которой экономические и политические вопросы так часто бывают причиной споров и разногласий, состоит как раз в отсутствии в соответствующих теориях строгих доказательств и корректных экспериментов, подобных тем, которые существуют в других областях науки. Я не согласен с утверждением Гоббса, что арифметика была бы совершенно не такой, какая она есть, если бы только кому-нибудь, кого он называет «властью», было важно, чтобы два и два равнялось пяти, а не четырем. Я сомневаюсь в том, что какая бы то ни было власть могла бы преобразовать арифметику в соответствии с собственными интересами и желаниями. Наоборот, я убежден, что для любой власти очень важно не пытаться преобразовывать арифметику в ту своеобразную науку, в которую она могла бы превратиться, по мнению Гоббса. В отличие от этого, действительно, какая-нибудь власть могла бы извлечь выгоду из поддержки той, а не иной, предположительно научной теории, но только в тех случаях, когда не существует определенности по поводу конечного результата научного процесса.

В этой связи стоило бы пересмотреть наше представление о том, что мы сейчас называем научным доказательством. Возможно, беспристрастный и детальный анализ этой проблемы привел бы к значительному улучшению положения с социальными науками. Однако между тем ситуация такова, какова она есть. У экономических и политических теорий есть некоторые ограничения, даже если мы будем рассматривать их как эмпирические или априорные следствия из этих теорий.

Методологические проблемы имеют значение потому, что они связаны с возможностями экономистов достигать однозначных выводов и, соответственно, с их возможностями убеждать других людей использовать эти выводы в качестве предпосылок для выбора не только в отношении их повседневной активности в частной жизни и бизнесе, но также в отношении политических и экономических систем, которые будут приняты данным сообществом.

К сожалению, как эмпирическая наука экономическая теория пока не обрела способности предлагать неоспоримые выводы, а столь частые в наше время попытки экономистов

играть роль физиков, вероятно, с точки зрения воздействия на людей — чтобы они делали свой выбор в соответствии с выводами экономической теории — приносят гораздо больше вреда, чем пользы¹.

Особый интерес представляют отдельные методологические исследования последнего времени, например, выводы Милтона Фридмена, предложенные им в блистательных «Очерках позитивной экономики» (*Essays in Positive Economics*).

Я совершенно согласен с Фридменом, когда он говорит, что «отрицание права экономической теории на эффективное и прямое свидетельство *решающего* эксперимента существенно препятствует корректному тестированию гипотез», и это создает значительные «трудности... на пути достижения в разумной степени скорого и широкого *консенсуса* по поводу выводов, подтверждаемых имеющимися доказательствами».

В связи с этим Фридмен отмечает, что это «делает отбраковку неудачных гипотез медленным и трудным делом», так что «их редко удастся окончательно похоронить, и они постоянно всплывают вновь». Он приводит очень убедительный пример «доказательства гипотезы, утверждающей, что существенное увеличение количества денег в течение относительно короткого периода времени сопровождается существенным ростом цен, с помощью инфляции».

Здесь, как отмечает Фридмен, «доказательство является впечатляющим, а цепочка рассуждений — относительно короткой. Однако, несмотря на многочисленные случаи существенного роста цен, их четкое совпадение с существенным ростом предложения денег и разнообразие прочих обстоятельств, которые бы могли показаться значимыми, каждый новый опыт инфляции вызывает решительные утверждения, и отнюдь не только профанов, что увеличение предложения денег — это либо случайное следствие роста цен, порожденного иными факторами, либо просто событие, не имеющее к росту цен никакого отношения»².

В принципе, я согласен с тем, на чем настаивает Фридмен, анализируя роль эмпирических доказательств в экономической теории и в общественных науках, а также в науке вообще,

¹ Возможно, следует также учитывать ущерб от физиков, играющих роль экономистов!

² М. Friedman, *Essays in Positive Economics* (University of Chicago Press, 1953), p. 11.

а именно с тем, что эмпирические предположения должны тестироваться не на основании того, как они описывают реальность, а на основании того, насколько успешно они позволяют предсказывать будущее.

Однако я возражаю против предложения Фридмена считать физическую гипотезу эквивалентом экономической гипотезы, так как оно пренебрегает некоторыми значимыми и существенными различиями между ними.

В качестве примера первого типа Фридмен приводит гипотезу о том, что ускорение тела, падающего в вакууме, является постоянным и не зависит от формы тела, способа, которым его бросали, и т.п. Все это выражается широко известной формулой $S = gt^2/2$, где S — это расстояние, пройденное падающим телом за любое заданное время, g — ускорение свободного падения, а t — время в секундах. Эта гипотеза хорошо предсказывает движение падающего тела в воздухе, вне зависимости от учета других важных факторов, таких, как плотность воздуха, форма тела и т.п. В этом смысле гипотеза полезна — не потому, что она корректно описывает то, что происходит на самом деле, когда тело падает в воздухе, но потому, что она позволяет успешно предсказывать движение падающего тела¹.

В то же время Фридмен (и Сэвидж) приводит параллельный пример, связанный с поведением человека, когда задача состоит в том, чтобы с помощью какой-либо гипотезы предсказать удары профессионального игрока в бильярд.

Согласно Фридмену и Сэвиджу, «вовсе не кажется обоснованным, что *отличные предсказания* [курсив мой. — Б. А.] будут получены исходя из гипотезы, что игрок в бильярд совершает свои удары, *как будто* он знает формулы, как будто он может точно оценить на глаз углы и тому подобное, описывающее расположение шаров, как будто он может совершать мгновенные расчеты по формулам, и, значит, как будто он может заставить шар катиться в направлении, указанном формулами»².

По этому поводу Фридмен совершенно справедливо замечает, что «если окажется, что игрок в бильярд вообще никогда не изучал математику и абсолютно не способен совершить требуемые вычисления, то это никоим образом не будет противоречить гипотезе и не опровергнет ее, не ослабит в ней нашу

¹ Ibid., pp. 16–18.

² Ibid., p. 21.

уверенность: если игрок не будет способен каким-то образом прийти приблизительно к тому же результату, что и полученный из формул, то он, в сущности, вряд ли будет являться опытным игроком в бильярд»¹.

С моей точки зрения, единственная проблема с этой аналогией состоит в том, что в первом случае наша гипотеза позволила нам предсказать, допустим, скорость падающего тела в любой момент времени с разумной погрешностью, в то время как во втором случае мы не в состоянии не только сделать «отличные предсказания» об ударах игрока в бейсбол, кроме предсказания, что они, вероятно, будут «хорошими ударами», но и вообще что-либо предсказать. На самом деле, сама по себе гипотеза, что игрок в бильярд будет вести себя так, как если бы он знал все физические законы, связанные с игрой в бильярд, очень мало говорит нам об этих законах и еще меньше — о положении шаров после любого будущего удара нашего блестящего игрока. Иными словами, мы не можем дать прогноза того же типа, который позволяет нам дать гипотеза о теле, падающем в воздухе.

Способ, которым проводится это сравнение, мне кажется, намекает или подразумевает, что мы должны быть в состоянии сделать какие-нибудь расчеты, чтобы предсказать, например, будущее положение шаров на бильярдном столе после любого удара нашего игрока. Но это не так. Рассмотрев эту проблему, мы с моим другом Эудженио Фрола, профессором математики в Туринском университете, пришли к следующим занятным выводам.

Для начала любой игрок в бильярд может поместить шар — или же шар может быть размещен без участия игрока — в бесконечном числе начальных позиций, определенных декартовой системой координат, которой соответствуют два борта поверхности бильярдного стола. Каждая из этих позиций является комбинацией бесконечного множества чисел, размещенных в системе этих двух координат, общее количество которых может быть выражено математически как ∞^2 . Более того, мы должны учесть угол наклона и направление кия в момент, когда игрок ударяет по шару. Здесь мы опять сталкиваемся с бесконечным множеством комбинаций факторов, которые можно обозначить, в свою очередь, как ∞^2 . Кроме того, можно уда-

¹ Loc. cit.

рять по шару в бесконечном множестве точек, каждая из которых определяется широтой и долготой на поверхности шара. Здесь мы снова имеем бесконечное множество комбинаций, которое, как и предыдущие, можно обозначить как ∞^2 . Другой фактор, который нужно учесть, чтобы предсказать конечную позицию шара, это сила, с которой наш игрок ударяет по шару. Здесь мы опять имеем бесконечное множество вариантов в зависимости от приложенного импульса, которое мы обозначим символом ∞ .

Если соединить все факторы, которые необходимо учесть, чтобы предсказать, что случится с шаром в момент удара, мы получим результат, который можно выразить как ∞^7 , что означает, что количество факторов, которые следует учесть, соответствует *числу точек в семимерном пространстве*.

Это еще не всё. Для каждого удара потребуется также определить траекторию, то есть путь, по которому шар будет катиться по плоскости бильярдного стола и т.п., что потребует решения сложной системы нелинейных дифференциальных уравнений. Более того, нужно учесть, как шар будет ударяться о бортики стола, насколько сильно он потеряет скорость из-за этого, каким будет вращение шара в результате удара и т.п. Наконец, мы должны составить общее уравнение, чтобы подсчитать, сколько успешных вариантов удара опытный игрок должен рассмотреть перед тем, как ударить, с точки зрения правил игры, физических свойств стола и потенциальной способности противников нашего игрока использовать результирующую ситуацию в своих интересах.

Все это указывает на то, насколько отличаются рабочие гипотезы, которые относятся к некоторым разделам физики (например, к падающим телам), от гипотез, которые относятся к довольно простым проблемам, скажем, игры в бильярд, сложности которой ускользают от внимания большинства людей.

Бесспорно, наша гипотеза — что хороший игрок в бильярд будет вести себя так, как если бы он знал, как решить научные проблемы, связанные с его игрой, — это только метафора, выражающая уверенность, что в будущем, как и в прошлом, он будет делать «хорошие удары», которая совершенно не позволяет предсказать его будущее поведение. Мы похожи на физика, который, вместо того чтобы применить свою гипотезу о телах, падающих в воздухе, для того чтобы, например, предсказать их скорость в любой данный момент, просто сказал бы,

что тело будет падать, как если бы оно знало законы своего падения и повиновалось им, в то время как он будет не в состоянии сформулировать эти законы и произвести хоть какие-нибудь расчеты. Фридмен утверждает, что «только небольшой шаг отделяет эти примеры от экономической гипотезы, что в широком круге обстоятельств отдельные компании ведут себя так, как если бы они рационально стремились максимизировать ожидаемые доходы и обладали бы знанием всей информации, необходимой для того, чтобы преуспеть; то есть, как если бы они осознавали значимые для них закономерности спроса и предложения, подсчитывали предельные издержки и предельную прибыль всех доступных им вариантов действий и доводили бы каждый процесс до того момента, в котором соответствующие предельные издержки равны предельной прибыли»¹.

Я согласен, что предыдущий пример от нового отделяет только небольшой шаг — при условии, что мы рассматриваем оба примера исключительно как метафоры, выражающие нашу веру в способности хороших предпринимателей оставаться на рынке, так же как мы выражали нашу уверенность в том, что хороший игрок в бильярд выиграет в будущем столько же игр, сколько он выиграл в прошлом.

Но от примера с бильярдистом до примера с компанией на рынке гораздо больше, чем один короткий шаг, если предполагается, что мы должны быть в состоянии с помощью каких-то научных методов подсчитать итоги деятельности этой компании в любой данный момент в будущем.

Сложности такого расчета гораздо более грандиозны, чем проблемы, связанные с успехом игры в бильярд. Человеческая деятельность в процессе предпринимательства связана не только с максимизацией дохода в финансовом отношении. Должны быть учтены и не могут игнорироваться в пользу количественного истолкования максимизации множество других факторов, имеющих отношение к человеческой деятельности. Это делает проблему расчета таких максимальных значений гораздо более сложной, чем количественные проблемы, связанные с вычислением удачных ударов в бильярде. Иными словами, в то время как максимизация успеха в игре на бильярде может быть количественной проблемой, максимизация успеха

¹ Loc. cit.

в экономике не эквивалентна максимизации финансовых доходов, это не количественная проблема. Проблемы максимизации в экономике вообще не являются математическими проблемами, и понятие максимума в экономическом поведении не тождественно понятию максимума в математике. Здесь мы сталкиваемся с терминологической путаницей; ее может проиллюстрировать пример человека, который, услышав о существовании самой красивой девушки в городе, чтобы найти ее, занялся бы математическими вычислениями максимума возможной красоты девушек.

Продолжая наше сравнение проблем бильярдиста с экономическими проблемами, необходимо учесть ситуацию (сравнимую с преобладающей в области экономики), в которой бы бильярдный стол тоже двигался, его поверхность нерегулярно расширялась и сжималась, шары начинали движение сами по себе, не дожидаясь ударов игроков, и, сверх всего, кто-нибудь раньше или позже менял законы, управляющие всеми этими процессами, как это часто случается, когда законодательные собрания и правительства вмешиваются, чтобы изменить правила экономической «игры» в той или иной стране.

Экономическая теория как априорная наука была бы обречена на провал, даже если бы мы могли ожидать, что с помощью единственно ее тавтологий удастся найти все доводы, необходимые для того, чтобы разрешить вопросы, жизненно важные для индивидов — и как для частных лиц, и как для членов политического и экономического сообщества. В этом отношении я полностью согласен с Фридменом, когда он говорит, что в то время как «только правила формальной логики могут доказать, является ли конкретный язык полным и логичным... только факты могут доказать, есть ли у категорий аналитической системы учета эмпирическое соответствие, то есть пригодятся ли они для анализа отдельного класса конкретных проблем». Я также согласен с примером, который он приводит про категории спроса и предложения, чья полезность «зависит от эмпирических обобщений, согласно которым перечисление в каждом конкретном случае сил, влияющих на спрос, и сил, влияющих на предложение, даст два списка, которые практически не будут пересекаться». Однако как только мы вступаем в область эмпирических предположений, сразу возникают все ограничения, связанные, как мы видели, с эмпирическим подходом в экономической теории. В итоге до сих

пор ни эмпирический, ни априорный подход в экономической теории не принесли полностью удовлетворительных результатов.

Это, конечно, подразумевает, что выбор системы личной свободы образованными людьми, так же как и людьми вообще, не может быть следствием экономической аргументации, сила убеждения которой была бы сравнима с соответствующей аргументацией в математике или отдельных разделах физики.

То же самое верно и для политических наук, вне зависимости от того, считать ли их науками того же уровня, что и экономическая теория.

Существует еще огромная территория сомнительных вопросов, что-то вроде «ничей земли», которую поверхностные мыслители и демагоги тщательно возделывают на свой лад, чтобы вырастить на ней разнообразные грибы, многие из которых ядовиты, и подать их согражданам под видом итогов научной работы.

Следует честно признаться, что сложно не только ознакомить людей с выводами науки, но и найти подходящие аргументы, чтобы убедить их в том, что наше учение верно. Есть некоторое утешение в том, что, в соответствии с либеральными идеалами, нужно только несколько общих предположений, чтобы основать и развивать либеральную систему, потому что по самой своей природе такая система позволяет людям работать так, как им кажется лучше, при условии, что они не вмешиваются в такого же рода работу других людей.

С другой стороны, свободное сотрудничество заинтересованных индивидов не обязательно подразумевает, что выбор каждого индивида будет хуже, чем он был бы, если бы им руководили экономисты или специалисты по политическим наукам. Мне рассказывали, что один наш современник, знаменитый экономист, как-то раз чуть не разорил собственную тетешку, дав ей, по ее настойчивой просьбе, конфиденциальный совет насчет фондового рынка. Каждый человек разбирается в своей собственной ситуации и, вероятно, по многим относящимся к ней вопросам способен принимать лучшие решения, чем кто-либо другой. Вероятно, каждый человек больше выиграет от системы, в условиях которой решения других людей не будут препятствовать его решениям, чем проиграет от того, что он, в свою очередь, не сможет вмешиваться в решения других людей.

Более того, система, основанная на свободе выбора в политической и экономической сфере, предоставляет каждому индивиду драгоценную возможность, с одной стороны, воздержаться от участия в решении вопросов, которые он считает слишком запутанными, сложными и, кроме того, маловажными, а с другой стороны, сотрудничать с другими людьми в решении тех трудных вопросов, которые ему было бы важно решить. Нет оснований считать, что в этом случае люди стали бы вести себя не так, как в других похожих обстоятельствах, например, когда они обращаются к адвокату или психоаналитику. Это не означает, конечно, что есть такие эксперты, которые в состоянии решить проблему любого типа. В связи с этим едва ли стоит специально припоминать то, что мы говорили об аргументах экономистов. Однако во всех тех случаях, когда объективное решение проблемы не представляется возможным, следует делать вывод не о том, что индивидам следует действовать под руководством властей, а наоборот, о том, что власти должны воздержаться от указаний, которые не могут быть основаны на объективных решениях соответствующих проблем.

Мало кто из современных сторонников социалистических решений согласится с тем, что их теории не основаны на объективных аргументах. Однако в большинстве случаев вполне достаточно вывода о том, что их возражения по поводу максимального расширения области личного выбора основаны на сомнительных философских или, скорее, этических постулатах и на экономических доводах, которые еще более сомнительны.

Распространенное заявление «мы не можем повернуть время вспять» не просто выражает гордость тем, как широко распространились социалистические идеи, но, вероятно, подразумевает, что социалистические часы показывают не просто правильное время, а такое время, которое считается правильным по умолчанию. Это не может нас особенно радовать.

Современные противники свободной экономики не добавили к повестке исполнительных и законодательных органов ни одного серьезного нового пункта, который бы уже не внесли туда те классики экономической теории, которые рекомендовали либеральную систему.

В области экономики (а экономика — это любимая сфера всех современных сторонников принудительных процедур)

национализация некоторых отраслей часто считается необходимой или, как минимум, подходящей заменой частных компаний, регулируемых законами и постановлениями властей.

В поддержку такого рода национализации предлагается множество резоннов. Возможно, некоторые из них приемлемы, хотя и не новы; а те, которые новы, совершенно неприемлемы, исходя из тех оснований, которые выдвигают сегодня их сторонники.

Из декларации о программе и принципах британского демократического социализма, опубликованной британской лейбористской партией в 1950 году, мы узнаем о трех главных принципах, лежащих в основании идеи национализации промышленности или государственной собственности в промышленности:

1. Обеспечить, чтобы монополии — там, где они «неизбежны» — не эксплуатировали народ, что, по мнению этих специалистов, непременно случилось бы, будь монополии частными.

2. «Поставить под контроль» базовые отрасли промышленности и сферы услуг, поскольку контроль невозможно «доверить» «безответственным» частным собственникам.

3. Разобраться с «неэффективными» отраслями, в которых частным собственникам не хватает желания или возможности для внедрения улучшений.

Ни один из этих принципов не является убедительным, если его подвергнуть тщательному анализу. Монополии — во всех случаях, когда это необходимо, — могут без труда контролироваться властями без всякой необходимости с их стороны подменять инициативу находящейся под их контролем монополии собственной инициативой. В то же время нет реальных доказательств того, что государственная монополия, то есть монополия властей или назначенных ими лиц, не будет эксплуатировать народ или будет эксплуатировать его в меньшей степени, чем частные монополии. На самом деле, исторический опыт многих стран доказывает, что государственная монополия может эксплуатировать народ гораздо более последовательно и уверенно, чем частная. Контролировать власти посредством других властей или частных лиц гораздо тяжелее, чем контролировать частные монополии посредством властей или даже посредством других частных групп и индивидов.

Второй принцип — что контроль над базовыми отраслями нельзя доверить частным собственникам — одновременно под-

разумеает, что частных собственников никак нельзя заставить отвечать перед обществом за контроль над базовыми отраслями и что частные собственники не отвечают перед обществом. К несчастью для сторонников национализации, ни первого, ни второго нельзя убедительно доказать. Частные собственники несут ответственность перед обществом по той простой причине, что они неизбежно от него зависят — и потому, что они должны продавать свою продукцию, и потому, что им нужно сырье, заводы, услуги, капитал, оборудование и т.д., чтобы произвести то, что они намерены продавать. Если они отказываются идти навстречу требованиям общества, они теряют потребителей и не имеют возможности остаться на рынке. В этом случае они должны уступить место другим, более «ответственным» собственникам, контролирующим базовые отрасли. В отличие от этого, власти в этом отношении вообще не зависят от общества, поскольку с помощью законов и постановлений они в принципе могут принудительно установить цены на услуги и товары, чтобы, если это необходимо, получить преимущество и по отношению к другим продавцам, и по отношению к другим покупателям. Более того, они не могут обанкротиться, поскольку — по крайней мере в принципе — они всегда могут компенсировать убытки, до которых они довели национализированные отрасли, увеличением налогового бремени для граждан, то есть того самого сообщества, перед которым они якобы «отвечают». Конечно, сторонники государственной собственности на базовые отрасли промышленности будут утверждать, что власти должны быть избранными, что в силу этого они «представляют» сообщество и т.п. Но мы это уже слышали и видели, что это означает: более или менее пустой церемониал и в основном символический контроль электората над горсткой правителей.

Третий принцип не менее сомнителен, чем первые два. Невозможно логически доказать, что неэффективность отрасли связана с тем, что она находится в руках частных собственников, так же как и то, что инициатива властей приведет к восстановлению эффективности после того, как на смену частной собственности придет государственная.

Все эти принципы основаны на предположении, что в сфере экономической деятельности власти не только честнее, но и мудрее, квалифицированнее и компетентнее, чем частные лица. Очевидно, что это предположение не доказано, а против него свидетельствует масса экономических примеров.

Другие различия, например, различие между «желаниями», за которые индивид мог бы заплатить, и «потребностями», за которые индивид не мог бы или даже не стал бы платить, о чем некоторые люди говорят в оправдание национализации отраслей, — ради того, чтобы удовлетворить эти «потребности», а не «желания», которые предположительно удовлетворяли бы частные отрасли — основаны на подобной, и тоже недоказанной идее, что власти лучше всех подготовлены для того, чтобы обнаруживать и даже удовлетворять индивидуальные «потребности», которые частные граждане были бы не в состоянии удовлетворить или даже не захотели бы удовлетворить, если бы у них был выбор.

Конечно, некоторые старые аргументы в пользу национализации сохраняют свою убедительность. Таков случай с отраслями промышленности или сферы услуг, в которых не все издержки можно оплатить за счет потребителей из-за сложностей, связанных с оценкой их использования конкретными потребителями (например, в случае с маяками*), или из-за сложностей организации системы взимания платы (например, на загруженных дорогах, мостах и т.п.). В этих случаях, вероятно, обеспечивать предложение товаров и услуг было бы невыгодно для частной отрасли, и тут должна вмешиваться какая-то другая система. Интересно отметить, что в этих случаях принцип свободы выбора в экономической деятельности не отбрасывается и даже не ставится под сомнение. Признается, что люди, которые свободно выбирают эти услуги, были бы согласны заплатить за них, если бы это было возможно, и что именно поэтому их можно обложить налогом в соответствии с их предполагаемой выгодой и стоимостью услуги. Налогообложение не может быть эквивалентом оплаты услуги на рынке, но в таком случае оно может рассматриваться как относительно приближенный к этому вариант. Нельзя сказать того же о других сборах, являющихся следствием мнения социалистов, согласно которому власти лучше, чем индивиды, знают, что индивиды должны делать.

* В статье 1974 г. Рональд Коуз показал, что в Англии в XVII—XVIII веках строительство маяков финансировалось за счет сбора платы, собираемой с судовладельцев. Причем строительством маяков занимались, в том числе, частные лица и организации. См.: Коуз Р. Маяк в экономической теории // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 169—192. — *Прим. научн. ред.*

Возможно, современная технология и современный образ жизни привели к тому, что примеров, когда за услуги сложно или невозможно заплатить обычным способом, стало больше. Но также верно, что в некоторых случаях привычная система цен на услуги по-прежнему работает и в любом случае в новых обстоятельствах можно сохранить эффективность частных предприятий. В промышленно развитых странах гигантское увеличение трафика на обычных дорогах и мостах затруднило или даже сделало невозможным функционирование частных пунктов сбора оплаты за проезд по ним, но на современных скоростных автомагистралях вновь возникают условия для сбора платы на проезд. Другой пример, который можно привести, — это телевидение и радиовещание. Сторонники общественной собственности в этой сфере часто утверждают, например, что частная собственность в ней была бы невозможна из-за невозможности ввести плату за услуги, в то время как в США частное предпринимательство в этом секторе уже решило проблему с помощью продажи услуг компаниям, которые хотят рекламировать свои товары для широкой публики и готовы заплатить за это суммы, которых достаточно, чтобы покрыть все издержки вещателей. К тому же, какие-нибудь предприниматели могли бы найти способ взимать плату за телевидение, если бы власти разрешили им попытаться!

В то же время новые технологические условия могут ограничивать личную свободу — например, в отношении права собственности на землю — но общий принцип, что выбор должен быть у индивида, а не у властей, и в этом отношении вполне может быть сохранен и в современных условиях. Это доказано, например, эффективностью американской системы эксплуатации минеральных ресурсов в соответствии с принципом уважения частной собственности на землю — принципом, который был решительно отброшен в других странах мира из-за якобы несовместимости частной собственности и, к примеру, добычи полезных ископаемых.

Другие трудности могут возникнуть в связи с факторами иного рода. Мы попытались определить принуждение как прямое действие некоторых людей с целью помешать другим достигнуть каких-то целей и, в более общем случае, заставить их сделать выбор, которого бы они в противном случае не сделали.

Прямое действие может восприниматься как физическое действие, и во всех случаях, в которых принуждение эквивалентно

физическому действию, у нас есть простой способ определить, что такое принуждение. Но в большинстве случаев принуждение осуществляется посредством угрозы какого-либо физического действия, которое на самом деле не совершается. Принуждение — это в большей степени ощущение угрозы, чем физическое событие, поэтому идентифицировать принуждение сложнее, чем нам казалось бы на первый взгляд. Угрозы и связанные с ними ощущения составляют цепь, звенья которой просто выявить не во всех обстоятельствах; они легко опознаются только тем, кто является их жертвой, но не другими людьми. Во всех таких случаях предположение, что чьи-либо действия или поступки относительно другого человека являются принуждающими, недостаточно ясно или недостаточно объективно, чтобы создать основание для эмпирически доказуемого утверждения на этот счет. Это создает помехи для всех сторонников личной свободы, так как понятие свободы имеет негативный характер и поэтому не может быть сформулировано без ссылки на принуждение. Чтобы сформулировать, какое поведение или действие было бы «свободным» в конкретном случае, требуется также сформулировать, какое соответствующее этому поведение или действие было бы принуждающим, то есть какое действие в данном случае лишало бы людей их свободы. Во всех случаях, когда нет уверенности в природе соответствующего принуждения, которого следует избегать, выявление обстоятельств, в которых мы можем обеспечить «свободу» для какого-либо действия и определить ее содержание, является очень трудной задачей.

В той степени, в какой свобода не является чем-то, что можно подтвердить либо эмпирическими, либо априорными способами, политическая и экономическая свобода, основанная на «свободе», понимаемой как отсутствие «принуждения», будет вызывать критику, похожую на ту, которой мы подвергли эмпирический подход в экономической теории.

В этом и состоит причина, по которой политическая система, основанная на свободе, всегда включает по крайней мере минимальную долю принуждения, не только в смысле противодействия принуждению, но также в смысле определения решением группы — например, посредством волеизъявления большинства — что группа будет считать свободой и что она будет запрещать как принуждение во всех случаях, где это невозможно установить объективно.

Иными словами, система политической или экономической свободы прежде всего основана на эмпирическом подходе в политике и экономической теории, но она не может быть основана исключительно на нем. Поэтому в такой «свободной» системе всегда есть какая-нибудь жертва принуждения. Можно попытаться убедить людей вести себя в соответствии с тем, что вы считаете «свободой», и удержать их от поведения, которое вы называете «принуждением». Но не всегда можно доказать, что то, что вы считаете свободой, действительно является свободой, а то, что вы считаете принуждением, действительно является принуждением в объективном смысле слова.

В качестве примера того, что я имею в виду, я могу привести религиозную нетерпимость. Бывают люди, которые начинают возмущаться, если вы ведете себя таким образом, который они считают несовместимым с их религиозными чувствами, даже если вы сами никогда не сочли бы поведение, подобное вашему, с их стороны принуждающим по отношению к вам. Тем не менее они чувствуют себя оскорбленными вашим поведением, потому что, с их точки зрения, вы делаете что-то против их Бога или не делаете чего-то, что вы должны делать в интересах их Бога, в результате чего и в том, и в другом случае может разразиться Божий гнев, который падет на головы всех заинтересованных лиц. Действительно, с точки зрения их религии их Бог — это и ваш Бог, и поэтому, весьма вероятно, они полагают, что ваше поведение оскорбительно не только для них, но и для их Бога, который является вашим общим Богом.

Разумеется, я не утверждаю, что нетерпимость свойственна всем религиям. Насколько я знаю, индуизм, буддизм, религии древних греков и древних римлян не были нетерпимыми, поскольку их приверженцы были склонны признавать, что, подобно им, вы имеете право на своих богов. В случае других религий это не всегда так. В Англии был закон, вступивший в силу при королеве Елизавете, который запрещал развлечения по воскресеньям. Этот закон больше не соблюдается, но несколько лет назад я читал в газетах, что одна английская девушка обратилась с иском против английской кинопрокатной компании, которая показывала кино по воскресеньям, требуя компенсации. В газете было написано, что это была бедная девушка, но она позаботилась о том, чтобы выбрать в качестве ответчика очень большую компанию-прокатчика из центра Лондона. Сумма

компенсации — довольно большая — вполне соответствовала размерам компании, хотя, вероятно, была недостаточной, чтобы возместить «ущерб», причиненный бедной «жертве». Я не помню, что решил суд, но я полагаю, что елизаветинский закон, послуживший основанием для иска, — это удачный пример того, что я понимаю под религиозной нетерпимостью и сопровождающим ее «принуждением», которое могут ощущать некоторые религиозные люди из-за поведения, какое никто другой не считал бы принуждающим.

Об этом елизаветинском законе мне напомнило одно небольшое происшествие, случившееся со мной несколько недель назад. Я сидел в уличном кафе на главной улице маленькой итальянской деревушки. По улице проходила процессия, и я не обратил внимания на то, что все вставали в тот момент, когда она проходила мимо. Монахиня, участвовавшая в процессии, взглянула на меня и, увидев, что я все еще сижу, не обращая внимания на то, что другие встали, упрекнула меня, заметив, что человек *должен* вставать, когда мимо проходит религиозная процессия. Я не думаю, что эта бедная монахиня часто вела себя грубо. Скорее всего, она была очень мягким и отзывчивым человеком. Но она не могла допустить, чтобы кто-то сидел в уличном кафе, когда процессия, ее процессия, процессия ее Бога проходит мимо. То, что я сидел, было для нее вызывающим поведением, и я уверен, что она была задета, нет, даже почти оскорблена — так же, как я почувствовал бы себя задетым, если бы кто-нибудь со мной нагло разговаривал.

К счастью, закон моей страны пока не запрещает людям сидеть в уличном кафе, когда мимо проходит какая-либо процессия, но я уверен, что монахиня с энтузиазмом одобрила бы закон, запрещающий такое поведение, и более того, одобрила бы его столь же горячо, как я бы одобрил закон, запрещающий оскорбления и тому подобные вещи.

Я полагаю, что из этого можно извлечь какой-нибудь урок. Но мои уроки на этом закончены.

Заключение

Возможно, самое лучшее, что можно сделать в этом заключении, это попытаться ответить на некоторые вопросы, которые мои читатели, вероятно, задали бы мне, если бы могли. На самом деле, эти вопросы мне задавали, когда я читал лекции, положенные в основу этой книги.

1. *Что я имею в виду, когда говорю (в главе 8), что общественное мнение «это еще не всё»?*

2. *Есть ли какая-нибудь возможность применить «модель Леони» в современном обществе?*

3. *Если предположить, что такая возможность существует, то как «золотое правило», о котором здесь упоминается, может помочь нам отделить сферу законодательства от сферы обычного права? Что является общими границами областей, которые, в соответствии с моделью, должны быть предназначены для законодательства и для обычного права?*

4. *Кто будет назначать судей и других подобных им honoratiores?*

5. *Если мы признаём, что общий тренд развития современного общества направлен скорее против личной свободы, чем наоборот, то как упомянутые honoratiores могли бы этого избежать?*

Конечно, мы могли бы рассмотреть еще массу других вопросов, но перечисленные выше — это, кажется, основные пункты, которые вызывают дискуссию.

Что я имею в виду, когда говорю (в главе 8), что общественное мнение «это еще не всё»? В отношении этого вопроса: я не просто считаю, что общественное мнение может ошибаться — я считаю, что на него можно повлиять с помощью разумных доводов. Верно и то, что этот процесс может быть длительным. Понадобилось больше ста лет, чтобы люди усвоили социалистические идеи; разумеется, им понадобится значительное время, чтобы их отвергнуть, но это не повод для того, чтобы не пытаться их переубедить.

В то время как тренд, направленный против личной свободы, продолжает господствовать в странах, по западным стандартам сравнительно неразвитых, уже появились некоторые

симптомы того, что люди усвоили некоторые уроки в тех странах Запада, где ограничение личной свободы посредством соответствующего расширения законодательства, более или менее открыто проповедовавшееся социалистическими лидерами в качестве необходимого условия прихода «лучшего мира», на практике оказалось очень слабо уравновешено предполагаемыми преимуществами введенных в действие законов. Сегодня мы уже можем наблюдать отступление социализма — в том, что касается так называемой национализации промышленности — в Англии, Германии и, возможно, во Франции. Очевидно, что в результате этого отступления личная инициатива в области экономики постепенно освобождается от угрозы дальнейшего вмешательства со стороны правительства. Недавно вышедшие книги, например, книга бывшего лейбориста Р. Келф-Коэна* очень поучительна в этом отношении.

Особенность социалистического решения так называемых социальных проблем состоит не в самой по себе цели — повышение общественного благосостояния и устранение, насколько это возможно, бедности, невежества и нищеты, поскольку эта цель не просто совместима с личной свободой, но может также рассматриваться как дополняющая ее. Самое главное в социалистическом решении — это тот специфический способ, с помощью которого его сторонники предлагают достичь этой цели, а именно с помощью толпы чиновников, которые, действуя от имени государства, ограничивают, если вообще не уничтожают, частную инициативу в экономике и в некоторых других областях, неразрывно связанных с экономикой.

Если бы социализм в основном сводился, как все еще верят некоторые его сторонники, к его декларируемым целям, то было бы, вероятно, сложно в ближайшем будущем убедить людей от него отказаться. В то же время вполне возможно убедить людей в том, что проблема с социализмом состоит не в его заявленных целях, а в тех неправильных средствах, которые считаются необходимыми для их достижения. Нαιвноcть взглядов социалистов в отношении этих средств просто удивительна. Как отмечает указанный выше автор, «слова “общественный совет” и “общественная корпорация” звучали магически. В них должны были работать самоотвержен-

* Келф-Коэн был крупным чиновником в Министерстве топлива и энергетики с 1946 по 1955 г. — *Прим. перев.*

ные люди выдающихся способностей, преданные национальным интересам. Мы полагали, что таких людей можно найти в большом количестве; естественно, у них не было никаких шансов пробиться в ту вырожденческую капиталистическую эпоху, в которой мы жили.

Мы также считали, что Акт о национализации преобразит промышленных рабочих, которые посвятят себя национальным интересам.

Таким образом, сочетание самоотверженных менеджеров и самоотверженных рабочих приведет к возникновению дивного нового мира социализма — совершенно непохожего на капитализм»¹.

Такая же невероятная наивность была характерна для таких знаменитых лидеров лейбористского движения в Великобритании, как Сидней и Беатриса Веббы, которые возлагали огромные надежды на «независимых и бескорыстных экспертов» нового социалистического государства. По утверждению того же автора, «они верили в рациональность человеческого существа, на которое всегда можно повлиять посредством тщательно собранных и опубликованных фактов. ...Они, разумеется, верили в то, что, когда исчезнет персональный фактор, связанный с капиталистами, качества всех связанных с соответствующими отраслями людей настолько глубоко преобразятся, что эти отрасли будут представлять собой новую модель жизни. ...Поскольку Веббы плохо понимали значение менеджмента и его ключевой функции — ответственности за принятие решений, они упустили из виду, что, несмотря на многочисленные комитеты и бескорыстных экспертов, ответственный менеджмент все равно будет необходим. Подсознательно они были склонны отождествлять ответственность менеджмента с капиталистической алчностью»².

Наконец, Келф-Коэн чрезвычайно убедительно демонстрирует, что члены лейбористского правительства в период 1945–1950 гг. проявляли такую же наивность. На самом деле, британские лейбористы в этом не одиноки: эта черта свойственна всем сторонникам государственных предприятий, которые должны работать как коммерческие предприятия.

¹ R. Kelf-Cohen, *Nationalization in Britain: The End of a Dogma* (London: Macmillan, 1958), Preface, p. v.

² Ibid., p. 12.

В долгосрочной перспективе такие иллюзии сохранить невозможно. До людей медленно, но верно начинают доходить факты бесчисленных провалов государственных предприятий. Общественное мнение будет вынуждено измениться.

2. *Есть ли какая-нибудь возможность применить «модель Леони» в современном обществе?* То, что я сказал выше, дает мне возможность ответить на второй вопрос — о возможности применения в современном обществе того, что некоторые мои друзья и слушатели из Клэрмонта шутили называли «моделью Леони». Смещения центра тяжести правовых систем от законодательства к другим процессам создания закона невозможно достичь за короткое время. Тем не менее это может произойти в результате изменения общественного мнения о роли и значении законодательства по отношению к личной свободе. История демонстрирует нам другие примеры подобных процессов. Классическое греческое право, основанное на законодательстве, уступило место римскому праву, основанному главным образом на авторитете юрисконсультов, обычаев и судопроизводства. Когда позже Юстиниан, римский император греческого происхождения, попытался оживить греческую идею «право=законодательство», введя в действие огромную коллекцию мнений греческих юрисконсультов, его попытку постигла похожая судьба — она стала основой для права юристов, которое существовало в течение многих столетий, вплоть до наших дней.

Это правда, что история не повторяется, но я бы не рискнул сказать, что в ней не повторяются похожие сюжеты. Сейчас существуют страны, где основанное на законодательстве официальное правосудие, которое осуществляют назначенные судьи, настолько медленно, громоздко и к тому же дорого, что люди предпочитают обращаться за разрешением споров к частным арбитрам. Более того, во всех тех случаях, когда официальное законодательство слишком усложнено, возникает большая вероятность, что арбитражное разбирательство будет проходить не на основе действующего законодательства, а по другим принципам. В то же время во всех случаях, когда это возможно, судебным слушаниям (основанным на действующем законодательстве) предприниматели предпочитают переговоры. Несмотря на то, что по большинству стран у нас нет статистики, представляется разумным мнение, что движение в этом направлении усиливается и в нем можно увидеть один из симптомов новой тенденции.

Другой признак движения в том же направлении можно увидеть в поведении людей, которые в некоторых странах добровольно отказываются, по крайней мере в определенной степени, от права извлекать пользу из дискриминационных законов типа Акта об арендаторах и арендодателях, позволяющих одной из сторон нарушить предшествующие договоренности — например, посредством продления или непродления договора аренды — право арендодателя увеличить арендную плату и т.д. В этих случаях сознательная попытка законодателей с помощью принятия закона разрушить предыдущие добровольные договоренности, терпит неудачу, несмотря на очевидную выгоду, которую одна из сторон могла бы получить от использования закона.

Характерной чертой некоторых законодательных инициатив такого рода, по крайней мере в отдельных странах, является то, что введенные законом дискриминационные меры были и/или являются до сих пор обязательными, распространяются или распространялись на предыдущие соглашения сторон, в то время как в других случаях заключенные позже вопреки уже действующему закону соглашения могут быть, согласно этому закону, нарушены одной из сторон при полной незащитности другой стороны. В таких случаях понятно, что законодателей волновала — с их точки зрения, нежелательная — возможность того, что привилегированная сторона может отказаться от своих привилегий, заключая и соблюдая другие соглашения — не только из-за своих представлений о необходимости честного соблюдения договоров, но и потому, что ее оценка своих собственных интересов может отличаться от оценки законодателей. В таких случаях мы видим на первый взгляд парадоксальную ситуацию, в которой неписаный закон преобладает над официально принятым законом в качестве непризнанного, но все равно действующего, «обычного права».

Более общее явление, которое следует учитывать в связи с этим, это уклонение от действующего законодательства во всех случаях, когда те, кто уклоняется, считают себя жертвами большинства, случайно сложившегося в законодательном собрании. Это случается в особенности в связи с высокими ставками прогрессивного налога. Действительно, в этом отношении нужно различать ситуации в разных странах, но есть много оснований полагать, что уклонение от высоких прогрессивных

налогов — явление куда более универсальное и распространенное в странах Запада, чем принято считать и признавать официально. В этой связи можно также сослаться на распространяющуюся в США практику создания фондов и других освобожденных от налогообложения организаций, одна из целей которых состоит в выводе «капитала и годового дохода из корпорации»¹.

Не менее интересны в этой связи реальные мнения людей по сравнению с действующими законами, запрещающими те привычки и формы поведения людей, которые обычно считаются относящимися к сфере морали и личных взглядов.

В качестве признаков возможного отступления законодательства в этой сфере можно привести, например, резкую критику некоторыми современными американскими социологами попыток подкрепить мораль санкцией закона (как до сих пор происходит в некоторых штатах, где «голосуют за сухой закон и пьют горькую» [*vote dry and drink wet*]) или рекомендации доклада, только что опубликованного в Великобритании. В докладе говорится: «С нашей точки зрения, в функции закона не входит вмешательство в частную жизнь граждан или попытки навязать им какой-либо конкретный тип поведения в большей степени, чем это необходимо для реализации уже перечисленных нами целей... охранять общественный порядок, защищать гражданина от того, что причиняет неудобство или вред, а также предоставлять достаточные гарантии против эксплуатации других людей и склонения их к совершению правонарушений...»²

Наконец, в качестве части общей картины, чтобы верно представлять себе пределы официально «действующего», но во многих случаях плохо исполняемого законодательства следует учитывать, что человек с улицы не знает содержания очень многих законодательных актов, а о существовании многих из них даже и не подозревает, и, соответственно, про-

¹ Ср. в этой связи: М. Friedman, *op. cit.*, pp. 290 ff. и приведенные там цитаты.

² Wolfenden Report, the Committee on Homosexual Offences and Prostitution (1959). Тем не менее в качестве примера противоположной, «реакционной» точки зрения можно привести Маккавейскую лекцию по юриспруденции, прочитанную сэром Патриком Девлином в марте 1959 года в Британской Академии наук: Sir Patric Devlin, *The Enforcement of Morals*.

являет небрежность в их соблюдении (несмотря на классическое правило, что незнание закона не освобождает от ответственности).

Чем больше люди будут осознавать эти пределы законодательства, тем больше они будут привыкать к мысли, что современное законодательство, с его претензией на регулирование всех сфер человеческого поведения, на самом деле в гораздо меньшей степени способно к организации жизни общества, чем считают его сторонники.

3. *Если предположить, что такая возможность существует, то как упоминаемое здесь «золотое правило» может помочь нам отделить сферу законодательства от сферы обычного права? Что является общими (general) границами областей, которые, в соответствии с моделью, должны быть предназначены для законодательства и для обычного права? Я бы хотел ответить на третий вопрос, что «золотое правило» нельзя превратить в правило буравчика, которое позволит нам определить, когда нужно использовать именно законодательство, а не обычное право. Совершенно ясно, что для того, чтобы решить, необходимо или нет законодательство в какой-либо конкретной ситуации, нужны и другие критерии. «Золотое правило» имеет исключительно негативное значение, поскольку его функция не в том, чтобы организовывать общество, а в том, чтобы предотвращать, насколько это возможно, уничтожение личной свободы в организованных обществах. Тем не менее оно дает нам возможность очертить некоторые границы, о которых я говорил во вводной главе, кратко излагая некоторые тезисы этих лекций; я утверждал, что необходимо отказаться от законодательства во всех случаях (а) когда его используют исключительно как средство подчинить меньшинства и обращаться с ними как с проигравшими и (б) когда люди могут достичь своих целей вне зависимости от решений какой-либо группы и не принуждая других людей делать то, чего они никогда бы не сделали без принуждения.*

Другой критерий, упоминавшийся во вводной главе и вытекающий из «золотого правила», состоит в том, что во всех случаях, когда законодательство не было отброшено на основании вышеупомянутых причин, необходимо очень тщательно оценивать предполагаемые выгоды законодательного процесса относительно других процессов создания закона. Если

необходимость законодательства в конкретном случае не доказана, его следует отнести к сфере обычного права¹.

Я склонен согласиться с тем, что попытка определить на этих основаниях границы между областью законодательства и областью обычного права многих случаях, вероятно, столкнется с большими трудностями, но это не повод от нее отказываться.

В то же время если бы существовала возможность заранее перечислить все случаи применения «золотого правила» при определении границ между областью законодательства и областью обычного права и если бы, кроме того, все они были включены в эту книгу, то мой главный тезис попросту рассыпался бы, потому что сам перечень можно было бы рассматривать как своего рода кодекс. Было бы крайне нелепо, с одной стороны, критиковать законодательство, а с другой — публиковать проект собственноручно написанного кодекса. Очень важно постоянно помнить о том, что, с точки зрения обычного права или права юристов, применение правил — это непрерывный процесс. Никто не может самостоятельно и на свое усмотрение завершить его. Я могу добавить, что, по моему мнению, любой человек должен препятствовать другим, если они попытаются это сделать.

4. *Кто будет назначать судей и других подобных им honoratiores?* Четвертый вопрос — «Кто будет назначать судей, юристов или других *honoratiores*, чтобы они занимались определением закона?» — так же, как и предыдущий, может иметь дезориентирующие последствия. На первый взгляд, подразумевается, что процессом назначения судей и им подобных, так же как определением границ между областью законодатель-

¹ На практике можно было бы сократить область законодательства с применением самого законодательства — например, ввести в писаные конституции соответствующих стран статью, препятствующую законодательным собраниям принимать законы по каким-то вопросам или/и предписывающую необходимость консенсуса или квалифицированного большинства в качестве условия вступления в силу определенных законодательных актов. В особенности требование принятия решений квалифицированным большинством, сделав согласие меньшинства обязательным для одобрения закона, могло бы воспрепятствовать нынешней общепринятой практике, когда группы внутри законодательного собрания подкупают другие группы, принося в жертву интересы меньшинства. Такой порядок был предложен Джеймсом Бьюкененом на конференции Общества Мон-Пелерен в Оксфорде в сентябре 1959 года.

ства и областью обычного права, должны заниматься какие-то определенные люди в определенное время. На самом деле почти не имеет значения, кто будет назначать судей, потому что в некотором смысле это может делать каждый, как это до некоторой степени и случается, когда люди обращаются к частным арбитрам, чтобы те уладили споры между ними. Власти, в общем и целом, назначают судей, руководствуясь теми же критериями, которыми руководствовался бы и обычный человек. Дело в том, что назначение судей — это такая же проблема, как проблема «назначения» физиков, врачей или других опытных и образованных людей. Появление в любом обществе высокопрофессиональных людей только на первый взгляд происходит благодаря официальным назначениям. В действительности оно основано на широком консенсусе их клиентов, коллег и публики вообще — консенсусе, без которого назначать бесполезно. Конечно, люди могут ошибаться относительно подлинной ценности тех, кого они выбрали, но это неотъемлемое свойство любого акта выбора. В конце концов, имеет значение не то, кто назначает судей, а то, как судьи будут работать.

Во вводной главе я уже указал на возможность того, что судопроизводство может претерпеть некоторые изменения, в результате чего под маской судопроизводства может быть снова введено законодательство. Такая вероятность высока прежде всего тогда, когда верховные суды уполномочены принимать окончательные решения по делам, которые уже рассматривались в суде более низкой инстанции, и когда, кроме того, решения верховных судов считаются обязательным прецедентом для всех остальных судей. В подобных случаях положение членов верховного суда напоминает положение законодателей — хотя, конечно, есть и отличия.

На самом деле, как правило, власть верховного суда более значительна в системах обычного права, чем в правовых системах, основанных на законодательстве. Последние пытаются достичь «последовательности в судебных решениях» с помощью обязательных для исполнения точно сформулированных норм. Первые обычно решают задачу создания и обеспечения такой последовательности во всех тех случаях, когда трудно рассчитывать на достижение консенсуса среди судей или юристов с помощью принципа прецедента. Действительно, вероятно, все системы обычного права основаны или были

основаны на принципе прецедента (или «президента», как говорили средневековые английские юристы), хотя этот принцип нельзя смешивать с принципом прецедента, имеющего обязательную силу, в современных системах обычного права в англосаксонских странах.

Сегодня и законодатели, и судьи верховных судов занимаются тем, что сохраняют правовую систему в определенного рода колее — именно по этой причине и законодатели, и судьи верховных судов могут находиться в положении, когда они способны навязать свою личную волю большому количеству инакомыслящих. Тогда, если мы признаём, что для того чтобы в максимально большой степени восстановить личную свободу, понимаемую как отсутствие принуждения, необходимо сократить полномочия законодателей, и если мы также согласны с тем, что «последовательность юридических решений» должна в первую очередь относиться к тому, чтобы дать возможность индивидам самостоятельно строить планы на будущее, то нам будет трудно избавиться от подозрения, что создание правовой системы, которая могла бы в свою очередь привести к повышению значимости полномочий конкретных индивидов, к примеру, судей верховных судов, было бы обманчивой альтернативой.

К счастью, даже у верховных судов реальное положение совсем не такое, как у законодателей. В конце концов, не только суды низшей инстанции, но и верховные суды могут принимать решения только по просьбе сторон; и хотя в этом отношении они отличаются от судов первой инстанции, они все равно обязаны «толковать» закон, а не принимать его. Действительно, результатом толкования может быть законодательство или, выражаясь точнее, замаскированное законодательство — во всех тех случаях, когда судьи растягивают значение существующих писанных норм, чтобы втиснуть в их рамки какое-нибудь совершенно новое значение, или когда они внезапно пересматривают свои собственные прецедентные решения. Но это, без всякого сомнения, не дает оснований для заключения о том, что верховные суды находятся в том же положении, что и законодатели, которые могут, как выразился бы Карлтон Кемп Аллен, «создать новый закон в том смысле, который совершенно исключен для судьи»¹.

¹ Carleton Kemp Allen, *Law in the Making* (5th ed.; Oxford: at the Clarendon Press, 1951), p. 287.

В то же время в системе прецедента, «имеющего обязательную силу», для верховных судов, как, например, для палаты лордов в Великобритании, могут быть обязательны их собственные прецедентные решения, и в то время как решения высших судов имеют обязательную силу для низших судов, даже «самый скромный служитель суда (как справедливо утверждает вышеуказанный автор) должен решать самостоятельно, имеет ли в конкретных обстоятельствах дела обязательную силу какое-либо решение» суда более высокой инстанции или даже верховного суда¹. В том, что касается нежелательного навязывания их воли потенциально большому числу людей, придерживающихся другой точки зрения, это явно создает большую разницу между судьями верховного суда и законодателями. Разумеется, в этом отношении между разными верховными судами может быть большая разница. Например, всем известно, что полномочия Верховного суда США гораздо шире, чем у верховного суда Великобритании, то есть Палаты лордов. Наиболее явное отличие между этими двумя англосаксонскими системами состоит в том, что в американской системе есть писаная конституция, а в британской — нет. В последнее время некоторые американские теоретики отмечали², что проблема прецедента в связи с писаной конституцией очень резко отличается от проблемы прецедента в прецедентном праве [*case law*].

«Кроме проблемы двусмысленности [текста Конституции] и того, что [ее] творцы могли иметь в виду живой инструмент, имеется еще и влияние культа Конституции. Этот культ дает суду большую свободу. Он всегда может отказаться от того, что было сказано, чтобы вернуться к самому тексту. Это бóльшая свобода по сравнению с тем, если бы такого документа не существовало. ...И действительно, возможность обратиться к Конституции увеличивает дискреционные полномочия суда. ...Возможные последствия этого в некоторых областях могут вызвать тревогу»³.

В таких случаях, разумно замечает автор (цитируя судью Верховного суда США Феликса Франкфуртера), «в конечном счете источником защиты должны быть сами люди».

¹ Ibid., p. 269.

² См., напр.: F. H. Levi, *An Introduction to Legal Reasoning* (4th ed.; University of Chicago Press, 1955), pp. 41 ff.

³ Ibid., pp. 41—43.

На самом деле, в этом отношении внутри судопроизводства можно с легкостью разработать систему сдержек и противовесов, так же как в тех же Соединенных Штатах соответствующая система была разработана для разных функций или «властей» внутри политической организации общества. Если такое положение верховного суда, как в Великобритании, где он связан прецедентом, кажется недостаточным в отношении изменений и новых требований времени и, наоборот, предполагается, что верховный суд должен иметь право пересматривать свои прецедентные решения или менять свое истолкование писаного закона, т.е. писаной конституции, как Верховный суд США, все равно можно ввести специальные нормы для ограничения полномочий верховного суда в том, что касается обязательной силы его решений. Например, можно потребовать, чтобы решения, которые пересматривают давно установленные прецеденты или вносят значительные изменения в предшествовавшие толкования конституции, принимались консенсусом. Можно придумать и другие сдержки, но это не входит в мою задачу.

То, что относится к положению верховных судов по сравнению с положением законодателей, еще более верно применительно к судам низшей инстанции и вообще к обычным судьям. Их нельзя рассматривать в качестве законодателей — не только из-за их психологической установки по отношению к закону, который они обычно хотят «открыть», а не «создать»¹ — но прежде всего из-за их фундаментальной зависимости в процессе «создания» закона от сторон дела. Никакие настойчивые утверждения о вмешательстве личного фактора в этот процесс создания закона не могут заставить нас забыть об этом. Некоторых людей приводит в чрезвычайное возбуждение то, что личные чувства и жизненные обстоятельства судей потенциально

¹ Как сказал бы Карлтон Кемп Аллен, судьи «создают» закон только во вторичном смысле слова, подобно тому, как «человек, который разрушает дерево на поленья, в каком-то смысле *создает* поленья... Несмотря на всю свою изобретательность и имеющиеся с его распоряжении ресурсы, человечество ограничено дарованными ему природными материалами. Таким же образом творческие полномочия судов ограничены имеющимися в их распоряжении правовым материалом. Они находят материал и придают ему форму. Законодательное собрание может произвести совершенно новый материал» (*Op. cit.*, p. 288).

могут повлиять на отправление ими правосудия. Удивительно, почему эти люди совершенно не обратили внимание на тот, гораздо более важный момент, что личные чувства и личные жизненные обстоятельства точно таким же образом могут помешать деятельности законодателей, а через нее — деятельности всех членов соответствующего общества, причем гораздо сильнее. Если такие помехи неизбежны и у нас есть выбор, то, вероятно, гораздо разумнее предпочесть те, которые менее значимы и имеют менее серьезные последствия.

5. Если мы признаём, что общая тенденция развития современного общества направлена скорее против личной свободы, чем наоборот, то как упомянутые *honoratiore*s могли бы этого избежать? В связи с этим можно дать ответ на пятый вопрос: почему судьи в большей степени, чем законодатели, будут неподвластны современному движению в направлении от личной свободы?

Чтобы дать разумный ответ на этот вопрос, сначала необходимо провести различие между судьями судов низшей инстанции и судьями верховного суда. Более того, нам следует проводить различие между судьями верховного суда, которые имеют право изменить закон, пересмотрев свои судебные прецеденты, и судьями верховного суда, которые не имеют такого права. Очевидно, что как бы судья лично ни относился к вышеупомянутой тенденции, возможность судей суда низшей инстанции свободно следовать ей ограничена, если такое поведение противоречит мнению верховных судов. Возможность судей верховных судов свободно следовать этой тенденции, в свою очередь, ограничена, если они не могут по своему усмотрению отменять собственные прецедентные решения или если какие-нибудь условия, например, требование консенсуса, ограничивают влияние их решений на правовую систему в целом.

Кроме того, даже если признать, что судьи не могут остаться в стороне от современной тенденции против личной свободы, то следует признать, что основой их деятельности является взвешивание аргументов сторон. Любой априорный отказ рассматривать и взвешивать аргументы, доказательства и т.п. был бы немислим с точки зрения процессуальных норм любого суда, по крайней мере в Западном мире. Перед судьей стороны *равны* в том смысле, что они располагают полной свободой в представлении аргументов и доказательств. Они не составляют группу, в которой инакомыслящее меньшинство склоняется перед

волей большинства; нельзя также сказать, что участники похожих дел, решение по которым принимали разные судьи в разное время, составляют группу, внутри которой большинство господствует, а меньшинство обязано уступить. Конечно, аргументы могут быть сильнее и слабее, так же как продавцы и покупатели на рынке могут находиться в более сильной и более слабой позиции; но то, что их может выдвигать каждая сторона, позволяет сравнить ситуацию в суде с рынком, где каждый может конкурировать со всеми остальными, чтобы продать или купить товары. Процесс в целом подразумевает возможность равновесия, очень похожего на рыночное, а конкретно, такой рынок, на котором цены имеют право устанавливать арбитры, свободно уполномоченные на это сторонами. Конечно, между таким типом рынка и обычным рынком есть различия. Поскольку стороны уполномочили арбитра остановить процесс переговоров, зафиксировав цены, они предварительно связали себя обещанием продать или купить по этим ценам, тогда как на обычном рынке такое обязательство возникает в момент заключения договоренности между сторонами.

В этом отношении положение сторон перед судьей в какой-то степени похоже на положение индивидов внутри группы. Ни проигравшая сторона в судебном процессе, ни инакомыслящее меньшинство внутри группы не могут не согласиться с заключительным решением. В то же время, однако, обязательства, которыми стороны связывают себя перед судьей, имеют очень определенные границы: не только в том, что касается заключительного решения, но и в отношении процесса, посредством которого решение достигается. Несмотря на все формальности и искусственно созданные процедурные правила, в основе решения суда лежит принципиальная установка на то, чтобы определить, какая из сторон права, а какая виновата, без какой-либо автоматической дискриминации, свойственной групповым решениям, в частности, волеизъявлению большинства.

В этой связи история опять дает нам урок. Принудительное проведение в жизнь судебных решений возникает на сравнительно поздней стадии развития процесса создания законов посредством судей, юристов и других подобных им людей.

Собственно говоря, подкрепление санкцией решения, достигнутого на основании фундаментальной теории (то есть установления по каким-либо опознаваемым стандартам, ка-

кая из сторон права), в течение долгого времени считалось несовместимым с любым обеспечением выполнения этого решения с помощью принудительного вмешательства против проигравшей стороны. Это объясняет, почему, например, в древнегреческом судопроизводстве исполнение судебных решений было прерогативой сторон, которые клялись подчиниться решению судьи, и почему во всем классическом мире короли и другие военные лидеры обычно откладывали в сторону знаки своей власти, когда тяжущиеся просили их вынести решение по делу.

Та же идея принципиального различия между судебными решениями и другими решениями, относящимися к военным или политическим вопросам, лежит в основании фундаментального различия между государственной властью (*gubernaculum*) и судебной функцией (*jurisdictio*), которое так любил подчеркивать знаменитый средневековый английский юрист Генри Брэктон. Хотя последующее развитие конституционной истории Англии угрожало, и сейчас угрожает, сохранению этого различия, его значение для поддержания личной свободы от власти государства в этой стране и, в определенной степени, в других странах, которые имитировали Англию в Новое время, с точки зрения всех тех, кто знаком с этим сюжетом, переоценить невозможно¹. К сожалению, в настоящее время огромные полномочия парламентов и правительств приводят к размыванию различия между законодательной и исполнительной властью, с одной стороны, и судебной властью — с другой, различия, которое со времен Монтескье считается одним из триумфов английской конституции. Это различие, однако, основано на идее, которую люди сегодня, кажется, забыли: *создание закона есть в гораздо большей степени теоретический процесс, чем акт воли, а теоретический процесс не может быть результатом решений, принятых властными группами за счет инакомыслящего меньшинства*.

Если фундаментальное значение этой идеи будет вновь осознано в наше время, то восстановится подлинный смысл

¹ Самый точный и глубокий анализ этого вопроса из известных мне содержится в: Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern* (Cornell University Press, 1940; есть второе исправленное и дополненное издание).

судебной функции, и законодательные собрания, а также квази-законодательные комиссии потеряют свою власть над обычными людьми. При этом ни один судья не располагает такими полномочиями, чтобы его личные поступки могли деформировать процесс, в котором могут состязаться все аргументы всех сторон, и обеспечить ему личное доминирование над ситуацией, похожей на ту, которая описана в строках Теннисона:

Где расширяется Свобода
От прецедента к прецеденту*.

* “Where Freedom slowly broadens down / from precedent to precedent”. Бруно Леони цитирует патриотическое стихотворение А. Теннисона *You ask me, why, tho’ ill at ease*. — Прим. перев.

ЗАКОН И ПОЛИТИКА

Введение

Этот цикл лекций под общим названием «Закон как индивидуальное требование» был прочитан в Фронтистерии Школы свободы (*Freedom School Phrontistery*) в Колорадо-Спрингс, со 2 по 6 декабря 1963 года. Фронтистерий (от греческого слова, означающего «место для размышлений») — это экспериментальная полугодовая программа, которая продолжалась с ноября 1963 года по апрель 1964 года, предоставившая восемнадцати предварительно отобраннным студентам возможность интенсивного индивидуального изучения вопросов человеческой свободы. Он был предназначен для сбора материала для программы планировавшегося курса гуманитарных наук в колледже Рэмпартс.

В разное время в фронтистерии прочли лекции 11 выдающихся исследователей. Кроме Бруно Леони, это были Гилберт Уоррен Наттер, Роджер Дж. Уильямс, Артур А. Экирч, Милтон Фридмен, Силвестер Пьетро, Людвиг фон Мизес, Оскар Кули, Джеймс Дж. Мартин, Флойд Харпер и Гордон Таллок.

Версия первой главы (с небольшими отличиями) была опубликована в 1964 году в *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Hermann Luchterhand Verlag, Berlin, Germany.

Глава 3 написана в основном по мотивам двух более ранних статей: “The Economic Approach to Politics,” *Il Politico*, Vol. 26, No. 3, 1961, pp. 491—502; и “The Meaning of ‘Political’ in Political Decisions,” *Political Studies*, Vol. 5, No. 3, October 1957, pp. 225—239.

Глава 4 была основана на статье “Political Decisions and Majority Rule,” *Il Politico*, Vol. 25, No. 4, 1960, pp. 724—733.

В оригинале лекций примечаний не было, они были добавлены в это издание.

Глава 1

ЗАКОН КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИТЯЗАНИЕ

Современные философские школы, занимающиеся анализом языка, несмотря на все свои притязания, скорее всего, научили нас не так уж многому. Тем не менее они напомнили нам о том, что мы хорошо знаем, но легко забываем. Слова — это «слова», и с ними нельзя обращаться так, как если бы они были «вещами», или, иначе говоря, как если бы они были объектами чувственного опыта, определения которых имеют смысл постольку, поскольку они более или менее прямо ссылаются на этот опыт. В частности, со словом «закон» нельзя обращаться так, как с некоей «вещью», тем более что у него нет значения, которое бы прямо или однозначно отсылало к чувственному опыту.

Любой анализ «закона» сначала представляет собой лингвистический анализ, то есть попытку преодолеть вышеуказанную трудность, выяснив реальное значение этого слова в языке. Это нелегко, потому что люди могут использовать слово «закон» с разных точек зрения и в значениях, которые не просто меняются в соответствии с разными типами людей, употребляющих это слово, но могут меняться также в речи одних и тех же людей. Можно заметить, что даже профессора-юристы употребляют это слово не в одном и том же значении. В этой связи можно сослаться на хронические споры специалистов по международному праву и конституционалистов, с одной стороны, и цивилистов — с другой.

Эта трудность обычно утомляет и приводит в уныние, так что те, кто начинает анализировать значение слова «закон», могут поддаться соблазну и рано или поздно отказаться от решения этой задачи, согласившись с одним из следующих утверждений: а) закон — это то, что так называю я и мои коллеги X, Y и Z, а что думают другие, нам всё равно; б) закон — это то, что подпадает под сформулированное мной определение, и мне, в общем, все равно, какие условные определения этого слова

предлагают другие; в) закон — это все, что люди желают так называть, и не стоит продолжать исследование, которое не имеет конца.

В то время как третье утверждение ведет к скептицизму, первое и второе порождают большинство так называемых теорий права. Честно говоря, усталость — не единственный источник первого и второго утверждений. У них имеется также практическое основание. Юристов и преподавателей юриспруденции теоретический анализ значения слова «закон» волнует далеко не в первую очередь. Как любые участники процесса, они прямо или косвенно стремятся к практическим результатам, например, убедить судью или выиграть дело. Их устраивает любое традиционное определение, которое поможет им достичь их цели.

Тем не менее, если предположить, что у нас нет практических целей, но в то же время мы не хотим скатиться в скептицизм, то я полагаю, что у нас есть только один способ избежать произвольности первого и второго утверждений: по возможности учесть *все* употребления слова «закон», чтобы понять, сможем ли мы установить *минимальное общее значение* этого слова. Такой подход не следует смешивать с подходом лексикографа, который ограничивается тем, что фиксирует одно или несколько значений одного и того же слова, и при этом его не обязательно волнуют связи между всеми его значениями. Наш подход возможен только, если мы постулируем, что минимальное общее значение существует. Другими словами, мы должны исходить из предположения, что для целей нашего исследования язык, который используют как обычные люди, так и специалисты по судопроизводству, законодательству и прецедентам, достаточно однороден¹.

Я рискнул бы утверждать, что поиск *минимального общего значения слова «закон»* — и есть, в конце концов, тяжелая судьба так называемых философов права.

Отсутствием предварительной теории определений и удовлетворительного лингвистического подхода к проблеме опре-

¹ Мне нет нужды подробно объяснять, почему я называю это «постулатом». Действительно, пока исследования не закончены, представить доказательства этого утверждения невозможно; в то же время очевидно, что материал практически неисчерпаем в силу большого количества существующих языков и значений, которые должны быть учтены.

деления слова «закон» объясняется то, что язык, которым пользуется большая часть общих теорий права, просто позаимствован у юристов — или у *некоторых* юристов. Таким образом, он перенесен из сферы, в которой люди преследуют более или менее прямым путем исключительно практические результаты, в совершенно иную сферу, где люди совершенно не обеспечены практическими результатами, а пытаются выработать теоретические заключения.

Одно из обычных значений слова «закон», заимствованных общими теориями у профессиональных юристов, это значение «правовой нормы» или, в более широком смысле, «системы», или «последовательности», норм. Собственно, эта «система», или последовательность, норм, и есть теоретический предел не только для профессиональных юристов, но и для участников процесса в принципе, то есть для людей, которые стремятся решить какие-нибудь практические вопросы, например, заставить должника выплатить долг, развестись и т.п. Для этих целей им достаточно предположить, что закон — это просто последовательность *тех* норм, «применение» которых позволяет им достичь вышеупомянутых целей. Точно так же для участников экономической деятельности экономика — это просто рынок или, выражаясь точнее, «рынок», где они могут покупать и продавать по каким-либо ценам экономические блага или услуги. Людям, которые хотят развестись или взыскать долг, достаточно просто предварительно выяснить соответствующие *нормы* — точно так же, как людям, которые хотят купить или продать какие-либо товары на рынке, нужно предварительно выяснить цены на них. Если участники процесса лично не интересуются сравнительным законодательством или историей права, то их обычно не волнуют причины, по которым в каждой стране существуют определенные нормы (которые, возможно, отличаются от норм, существующих в других странах, или от норм, существовавших в той же стране, но в другое время), относящиеся к разводам или выплате долгов, обычно не волнуют участников процесса. Точно так же причины (часто относящиеся к давно прошедшим временам), по которым цены на определенном рынке в данный момент именно таковы, не волнуют покупателей и продавцов, если они не экономисты и не историки экономики.

Еще в меньшей степени участники процессов, относящихся к сфере права, с одной стороны, и участники рынка — с другой,

интересуются причинами, по которым в сфере права существуют нормы как таковые, а на рынке — цены как таковые. Ни профессиональным юристам, ни экономическим советникам, совершенно не нужно знать эти причины, чтобы консультировать клиентов. В итоге все они относятся к нормам и, соответственно, к ценам, как к конечным данным, из которых они исходят, чтобы достичь своих целей.

Однако задача экономиста состоит в том, чтобы установить связь между действиями участников рынка и ценами на товары, которые они продают или покупают. Задача философа права состоит в том, чтобы реконструировать связи между участниками процесса и соответствующими нормами, к которым они могут обращаться в своих целях. Это означает, что для философа права нормы не являются конечными данными, точно так же как для экономиста цены не являются конечными данными об экономическом процессе.

Экономисты проследили источник цен как социального феномена до актов индивидуального выбора между редкими благами. Я полагал бы, что философы права также должны проследить связь правовых норм как социального феномена с какими-либо индивидуальными действиями или установками. Эти действия неким образом отражаются в нормах правовой системы, подобно тому, как акты индивидуального выбора из редких благ отражаются в рыночных ценах в финансовой системе.

Я предлагаю называть эти индивидуальные действия и установки «требованиями» (*demand*) или «притязаниями» (*claim*). Словари определяют притязание как «требование чего-то положенного». В связи с этим я предполагаю, что предъявлять претензии могут только индивиды, подобно тому, как только индивиды могут совершать акты выбора. Однако в то время как при совершении акта выбора им не обязательно ссылаться на других индивидов, им необходимо ссылаться на других индивидов в случае предъявления претензии.

Я прекрасно понимаю, что сведение норм закона к индивидуальным *притязаниям* может показаться парадоксом. Это может даже неприятно поразить людей, которые исходят из обычных представлений, находящихся в основании большинства современных теорий права. Разве норма — это не выражение «обязанности»? Разве норма «закона» прежде всего не является выражением «обязанности по закону»? Разве закон-

ные «права» (когда таковые имеются) не являются отражением соответствующих «обязанностей», зафиксированных в нормах закона? Разве логически норма не является «предписанием»? Разве природа «обязанности по закону», выраженной в виде нормы, не определяется «санкцией» и «мерами принуждения», которые содержатся в самих этих нормах закона? Вот некоторые из «очевидных» возможных возражений против моего предложения. Мой скромный ответ состоит в том, что подобно тому как нормы не являются конечными данными юридического процесса, точно так же предписывающая, или обязательственная, природа норм закона не является для философа права их конечной природой.

На первый взгляд, аналогия между так называемой обязанностью по закону и «нравственной обязанностью» выглядит действительно соблазнительно. В кантианской традиции нравственные обязанности рассматриваются как конечные данные этики. Почему мы не должны рассматривать обязанности по закону как окончательные данные права? К несчастью, если выбрать этот путь, мы немедленно столкнемся с препятствием, потому что сначала нам будет нужно отделить нравственные обязанности от обязанностей по закону, чтобы концептуально определить последние. Мне неизвестно об успешных попытках в этом направлении. Обычно утверждают, что обязанности по закону отличаются от нравственных обязанностей тем, что в отличие от последних их формулировка предполагает связь с какого-либо рода «принуждением» или по крайней мере с потенциальной возможностью принуждения. Это объяснение меня не очень устраивает. Как можно игнорировать то, что множество норм, которые обычно считаются нормами закона (и в особенности те, которые считаются основой любой правовой системы), совершенно не предполагают принуждения, и в той форме, в которой они выражены, упоминание о принуждении также отсутствует?

Конечно, для этого есть хорошее объяснение, хотя многие теоретики упускают его из виду. Если бы соблюдение норм закона действительно зависело в основном от принуждения или даже от страха перед принуждением, то во всем этом процессе было бы столько трений и он был бы настолько сложным, что не работал бы. Любопытно отметить, на какое количество людей особые свойства принуждения как якобы типичного компонента правовых норм производят такое глубокое

впечатление, что они совершенно пренебрегают тем, что в любой действующей правовой системе роль принуждения в целом чрезвычайно незначительна.

Санкции и принудительные меры не создают закона; они всего лишь содействуют ему в ограниченном числе случаев, и, кроме того, как я уже отметил, они могут распространяться только на те типы норм, которые мы оценили бы как «подчиненные» другим нормам. Основные нормы часто даже не упоминают о санкциях и принудительных мерах, по той простой причине, что никакие санкции и никакие принудительные меры не в состоянии способствовать их действенности; таковы, например, конституционные нормы каждой отдельно взятой страны или международные нормы, определяющие отношения между государствами.

Попытки провести различие между моральными нормами и нормами права по другим основаниям не более убедительны, чем попытки представить санкции и принудительные меры в качестве якобы типичного компонента правовых норм. По крайней мере мне не известно ни об одной успешной попытке сделать это.

В свою очередь, не менее соблазнительная аналогия между юридическими правилами, с одной стороны, и техническими правилами, с другой стороны, тоже оказалась неудачной. На первый взгляд кажется, что юридические и технические правила похожи потому, что они сформулированы в виде предписаний и обычно исходят из какой-то гипотезы. Общая формула этих двух типов правил приблизительно сводится к выражению: «если вы хотите А, то вы должны сделать В». Однако и здесь сложность состоит в том, чтобы установить границы области так называемых юридических правил, отделив их от технических. Любая попытка учесть одновременно якобы обязательственную природу правовых норм и их якобы техническую природу только еще больше усложняет задачу. Синкретические теории норм закона — не более чем метафоры, объясняющие очень немногое. Это относится и к теориям покойного Алесандро Леви, который считал, что норма закона должна быть шарниром, связывающим экономические и моральные правила, и к теориям покойного Гурвича, по мнению которого нормы закона, являясь смесью логики, этики, экономики и т.п., всегда будут отличаться «драматической напряженностью».

Ни одной нормативной теории права пока не удалось объяснить, что такое правовая норма, или, другими словами, по ка-

ким основаниям норма считается «правовой», а не «моральной», «технической» или «общественной». Понятие «власти» тоже не смогло ничем помочь в отделении юридических норм от других. Люди считаются с судебной «властью» только потому, что существуют некоторые «юридические» нормы, которые определяют и предписывают, кто должен считаться «властью» в соответствующей сфере. Достаточно важно то, что главное понятие, на котором построены самые знаменитые «нормативные» теории права, — это «норма», а не власть. С точки зрения этой теории, никакая реальная власть в юридическом смысле не создает фундаментальных норм правовой системы.

Неразборчивость в употреблении знаменитого немецкого слова *Sollen*, которое в одно и то же время означает «долг, обязанность» и глагол «быть обязанным», «быть должным», неспособно скрыть трудности построения общей теории права вокруг понятия юридической нормы и, в конечном счете, вокруг обязанности по закону, зафиксированной в виде юридической нормы. Для того чтобы мы поняли, что такое «обязанность по закону», совершенно недостаточно употребить этот глагол в инфинитиве. Когда я говорю «я обязан», это может значить три различные вещи: а) мой моральный долг состоит в том, чтобы...; б) я вынужден... если я хочу достичь желаемого результата; в) кто-то хочет, в соответствии с законом, обязать меня сделать...

Вполне возможно, что в конкретном случае имеет место более одного значения или даже все три. Но тем не менее это три различных значения, которые не следует смешивать друг с другом. Только третье представляет собой «юридическое» значение этого выражения. Но различие между этим юридическим значением и остальными двумя состоит как раз в том, что в юридическом значении я ссылаюсь на волю кого-то, кто хочет от меня, чтобы я сделал то, что я обязан сделать. Значение (а) ссылается на мое моральное чувство, которое, с кантианской точки зрения, может рассматриваться как окончательный параметр; значение (б) ссылается на гипотезу о том, что я желаю чего-то, что является следствием из посылки, которую я могу создать посредством своего действия. В отличие от значений (а) и (б) значение (в) относится в итоге к притязанию, которое предъявляют ко мне другие люди. Если бы никто не хотел от меня, чтобы я что-то сделал в соответствии с законом, у меня не было бы никакой обязанности по закону, и выражение «я должен» не имело бы

никакого юридического значения. Говоря коротко, выражение «я должен», взятое в юридическом смысле, можно объяснить, только редуцировав его к (юридическому) притязанию со стороны другого индивида.

Разумеется, теперь необходимо определить, что такое *притязание* и что такое *законное притязание*. Это означает, что мы должны перенести наше внимание с людей, которые говорят «я должен» на людей, которые говорят «я претендую», «я требую», «я намерен» или «я прошу». Без этих людей «закона» не существует, даже если есть другие люди, которые так не говорят, даже если оставшиеся люди ощущают моральные обязанности или соблюдают технические правила. Это не означает, разумеется, что притязание удовлетворено, если люди, чье поведение является его объектом, не ощущают соответствующей моральной обязанности удовлетворить это притязание, или если они не понимают, что удовлетворение этого притязания с их стороны «технически» разумно. Но в то время как центральный компонент значения (а) — это «долг, обязанность», а центральный компонент значения (б) — это «целесообразность», то центральным компонентом значения (в) — в конце концов, оказывается притязание со стороны других людей.

Что означает «притязание»? С точки зрения психологии, притязание представляет собой комплексный акт. Во-первых, очевидно, что, согласно тем словоупотреблениям, которые мы должны учитывать в ходе нашего анализа, не все притязания являются юридическими, или законными, притязаниями. Грабитель поджидает меня ночью в укромном месте и «претендует» на мои деньги. В то же время мой кредитор претендует на мои деньги, если я должен вернуть ему какую-то сумму. Но если первое притязание повсюду в мире обычно считалось бы «незаконным», то второе обычно всюду считается «законным». Мне кажется, что самое очевидное различие между двумя этими притязаниями состоит в том, что каждый человек (в том числе грабители) обычно не планирует, чтобы его грабили. Каждый обычно планирует получить деньги, которые он одолжил, в том числе те мерзавцы, которые стараются не возвращать денег своим кредиторам. Притязание грабителя или мерзавца представляет собой «особое» притязание, которое противоречит «обычному» притязанию, то есть такому, которое они сами предъявили бы всем остальным потенциальным грабителям или нечестным должникам.

Сторонники «нормативной» теории права могут возразить, что как раз существование «нормы», а именно юридической нормы, и есть то, что позволяет нам говорить о противоречии между «обычными» и «особыми» притязаниями. На это я бы хотел ответить, что тем не менее совершенно не обязательно думать о «норме юридического типа» как о критерии упомянутого различия. Вполне достаточно классического понятия *id quod plerumque accidit* (о том, что обычно происходит) в конкретном обществе, чтобы мы отличали «законные» притязания от «незаконных». С точки зрения статистики, вероятность того, кто прохожий преобразится в грабителя, когда он повстречает другого прохожего в пустынном месте, сравнительно низка, и в любом случае, она всегда ниже, чем вероятность обратного. То же самое относится к человеку, который занимает деньги, и к вероятности, что он не собирается их возвращать. Известная русская пословица — там, где все грабят, нет грабителей — верна. Это значит, что там, где все грабят, отсутствуют предпосылки для того, чтобы определить, кто является грабителем, поскольку не существует организованного сообщества. Притязание, которое мы назвали «особым», *статистически маловероятно в данном сообществе*. Это, так сказать, исключение из правил, и я имею в виду под «правилом» не обязательно норму закона, а описание реальных событий в соответствии с какой-либо структурой.

Притязание кредитора, когда он хочет, чтобы должник ему заплатил, *подразумевает* прогноз (*prevision*), что его должник заплатит. Притязание прохожего не быть ограбленным или не стать жертвой нападения, в свою очередь, *подразумевает* прогноз, что его никто не тронет. В основе их притязаний лежат вероятностные суждения.

В отличие от этого в установке грабителя или недобросовестного должника, когда они хотят достичь своих целей, подразумевается прогноз, что в нормальных обстоятельствах их притязание не было бы удовлетворено жертвой. В этом состоит причина, по которой такой индивид пытается поставить себя и/или жертву в особую ситуацию, чтобы увеличить обычно низкую вероятность удовлетворения своих «особых» притязаний.

Я предлагаю называть «законными» именно те притязания, которые имеют высокую вероятность быть удовлетворенными соответствующими людьми в данном обществе в данный момент времени, при том что в каждом конкретном случае причины,

по которым они могут быть удовлетворены, различны и основаны на этических и/или технических правилах.

«Незаконные притязания», напротив, — это такие, которые имеют низкую вероятность быть удовлетворенными соответствующими людьми в нормальных обстоятельствах (или вообще не имеют такой вероятности). (Как если бы грабитель требовал денег у жертвы в полдень на оживленной улице.)

Явно «законные» притязания, с одной стороны, и явно «незаконные» — с другой, расположены на разных концах шкалы, включающей все притязания, которые люди могут выдвинуть в данном обществе в данный момент времени. Однако не следует забывать об огромном промежуточном секторе «почти законных» или «почти незаконных притязаний», чья вероятность быть удовлетворенными ниже, чем у явно «законных», но выше, чем у явно «незаконных».

Положение многих, если не всех, притязаний может меняться, и оно реально изменяется в любом обществе в любой данный момент времени. Этот процесс, по знаменитому выражению Юстиниана, *semper in infinitum decurrit* (продолжается всегда), и мы не могли бы понять его, не введя временного измерения. Новые притязания могут возникнуть в то время, как старые исчезают, а текущие притязания могут изменить свое положение на шкале. Поэтому весь процесс можно описать как *постоянное изменение относительных вероятностей того, что все притязания должны быть удовлетворены в данном обществе в любой данный момент времени.*

Как мы видели, притязания основаны на «прогнозах». Однако их нельзя просто свести к прогнозам. Положение участника юридического процесса — это не просто положение астронома, который предвидит (*foresee*) затмение. Оно напоминает положение астронома, если тот не просто предвидел затмение, но и *по каким-то личным причинам хотел*, чтобы оно произошло, а также *мог повлиять на это событие с помощью собственных действий.* Никакое притязание невозможно без элемента *желания*, на основании которого существуют *интересы* того, кто предъявляет притязание. В то же время никакое желание невозможно, если оно не основано на вышеупомянутом прогнозе. Конечно, необходимо различать виды прогнозов, относящихся к конечной цели, которой мы хотим достичь, когда выдвигаем притязание. Кредитор может предвидеть, что его должник заплатит ему, но, кроме того, кредитор хочет, что-

бы должник заплатил ему, и чтобы заставить должника заплатить, намерен использовать определенные средства, имеющиеся в его распоряжении. Это не обязательно означает, что он хочет использовать какое-либо «принуждение» или что он не может без него обойтись. Может быть, должник заплатит добровольно, может, ему потребуется просто напоминание, может, он заплатит после короткого спора, если его пристыдить, и т. п. Даже когда кредитор прибегает к так называемому принуждению (или к угрозе принуждения), это понятие не имеет такого большого значения во всем процессе, как это может показаться на первый взгляд, потому что применение принуждения к должнику требует *сотрудничества* других людей, которые должны осуществить это принуждение. Эти люди могут, как в предыдущем случае, осуществить принуждение добровольно или после личного вмешательства кредитора, что не обязательно подразумевает потребность кредитора применять принуждение к этим людям, чтобы они осуществили принуждение в отношении его должника. Существенным понятием здесь является не принуждение, а *желание кредитора добиться от других людей такого поведения, которое он считает статистически вероятным*¹.

Притязания переплетаются и могут даже вступать в конфликт, «законные» с «незаконными», а также «законные» с «законными» и «незаконные» с «незаконными»; при этом успех тех или иных притязаний будет зависеть от вероятности их удовлетворения другими людьми.

Интересно сравнить результаты нашего анализа с некоторыми основными понятиями, которые используют юристы и, следует добавить, все участники правового процесса. Я уже говорил, что обычно они исходят из понятия нормы закона, а не «законного притязания». Даже те юристы, которые пытались рассуждать о понятии законного притязания как о базовом понятии юридического языка, запутывались в противоречиях

¹ В этих обстоятельствах я предлагаю называть «полномочиями» (*power*) нашу возможность удовлетворить свои притязания, вне зависимости от причин, по которым они удовлетворяются, а «законными полномочиями» — нашу возможность удовлетворить наши законные притязания, опять-таки вне зависимости от причин, которые побуждают других людей удовлетворять их или способствовать тому, чтобы их удовлетворили те люди, от кого это зависит.

во всех случаях, когда продолжали цепляться за конечный характер понятия нормы закона, из которого следует исходить в качестве начального пункта.

Теперь необходимо подчеркнуть некоторые другие различия, которые мы можем заметить в языке и, соответственно, в мышлении юристов и вообще участников процесса, по сравнению с языком, типичным для философа права. Юристы не только «выводят» требования закона из норм закона, но и считают такой путь единственно возможным. С точки зрения юристов, притязания законны, если они «производны» от норм закона, и «незаконны» — если нет. В свою очередь, нормы считаются законными или незаконными в зависимости от того, принимают их упомянутые юристы и другие участники процесса, чтобы достичь собственных практических целей, или не принимают. Третьего не дано. Картина норм и, соответственно, притязаний участников процесса всегда, так сказать, черно-белая. Кроме того, у этой картины нет временного измерения: участников процесса волнуют сегодняшние, а не завтрашние и вчерашние нормы закона. Наконец, их интересует только та норма закона, которую они приняли в своих собственных практических интересах, а на все остальные они не обращают внимания. Им присущ крайне узкий взгляд на юридическое общество. На самом деле, их волнует только *их собственное* юридическое общество. Они могут также ссылаться на другие общества, но только чтобы принять или отвергнуть их на основании исключительно тех норм, которые они приняли. На практике участникам процесса нужно именно предъявлять определенные притязания, и их мышление и язык приспособлены к этой цели. Однако участник процесса не хочет предъявлять или поддерживать какое-то собственное притязание — он хочет использовать уже существующие притязания, чтобы восстановить их основные взаимосвязи друг с другом, а также с нормами закона в любом данном обществе в любой данный момент времени.

Философ права не просто исходит из понятия притязания, но и осознает, что притязания могут вступать в конфликт друг с другом. Более того, он осознает, что конфликтовать могут притязания, которые разные люди считают «законными» в один и тот же момент времени. Для философа права картина закона никогда не бывает черно-белой, потому что он должен учитывать целый сектор притязаний, которые не волнуют юристов. Он знает, что именно в этом секторе происходят события, которые мо-

гут изменить всю картину для участника процесса в любой момент времени. Философ права также знает, что существует не только одно юридическое общество, а именно, выбранное с практическими целями каждым из участников, но и другие «юридические» общества, которые могут конфликтовать с первым и которые другие люди, в свою очередь, выбрали в своих собственных практических целях. Итоговая картина, в представлении философа права, состоит из множества нюансов и деталей, а также разворачивается во времени, как японские картины, на которые можно смотреть, только развернув длинный свиток бумаги, на котором они написаны. В картине философа норма закона не только занимает другое место по сравнению с картиной участника процесса — она имеет другой *смысл*. Норма закона является правилом в статистическом смысле, в то время как, с точки зрения участника процесса, это просто описание притязаний, которые он считает законными, невзирая на все остальные, потенциально противоречащие им притязания.

Различие между двумя точками зрения не всегда просто увидеть. В конечном итоге и участник процесса, и философ права считают законным притязание, удовлетворение которого они оценивают как вероятное. В то время как участник процесса оказывает влияние на увеличение вероятности этого события, философ права не участвует в процессе, а наблюдает за ним. И участник процесса, и философ права рассматривают норму закона как формулу, выражающую притязания. В то время как участник процесса обращается к ней, чтобы поддержать свое собственное притязание, философ изучает норму закона как отражение притязаний, которые не обязательно являются его собственными. В результате участник процесса не сомневается в юридической действительности формулировки, потому что он не подвергает сомнению обоснованность собственных (основанных на ней) притязаний. Философ права всегда готов подвергнуть формулу анализу, чтобы установить, верно ли она описывает «законные», в статистическом смысле, притязания.

Из этих двух различных точек зрения вытекают две различные точки зрения на нормы закона и на их значение в юридическом процессе в целом. Участник процесса предполагает, что у истоков процесса лежит фиксация норм закона, например, посредством законодательства. В то же время философ права должен рассматривать фиксацию норм только как один из факторов процесса, причем не тот, который является решающим.

Собственно говоря, законодательство не обязательно описывает законные в статистическом отношении притязания, хотя, разумеется, оно может повлиять на вероятность их удовлетворения в любой конкретный момент времени и в любом конкретном обществе. На самом деле, только несколько человек (представители народа) прямо участвуют в законодательном процессе, и их деятельность состоит в том, что они просто описывают те притязания, которые они сами выдвигают или поддерживают; эти притязания не обязательно совпадают с теми, которые, как правило, удовлетворяются, или, как правило, будут удовлетворяться на практике в этом обществе. Типично, что во все времена действовала ярко выраженная тенденция (и это особенно относится к нашему времени) переоценивать если не степень адекватности описания законодателями статистически «законных» притязаний, то по крайней мере их возможности влиять посредством законодательства на вероятность удовлетворения уже существующих законных притязаний.

Я полагаю, что в плане практики эта тенденция соответствует теоретическому предположению, считающему «нормы» источником всего юридического процесса и рассматривающему притязания исключительно как логическое *следствие* из нормативных «предписаний». Я предполагаю, что роль философа права состоит не только в том, чтобы реконструировать реальные связи между статистически законными притязаниями и нормами закона, но и в том, чтобы напомнить всем участникам процесса, что в любом юридическом процессе фиксация норм закона имеет ограниченное значение.

Законодательство можно рассматривать как более или менее успешную попытку описать статистически законные притязания, а не только «предписать» их. Законодатели могут описывать: а) то, что они считают реальными, статистически законными нормами общества; или б) те реальные статистически законные нормы этого общества, которые, как они считают, возникнут в результате их законодательных инициатив и использования имеющихся в их распоряжении средств (а именно, психологического или физического принуждения) с целью обеспечить этот результат. Однако в этом месте необходимо снова вернуться к тому, о чем уже говорилось: к принуждению и его значимости в юридическом процессе в целом. Законодательство, описывая ситуацию, которой законодатели желают достичь в будущем, сталкивается с трудностями, кото-

рые связаны с несущественной ролью принуждения в юридическом процессе. Конечно, законодательство может просто описывать текущую правовую ситуацию, не стремясь ее изменить или даже стремясь сохранить. Примером этого могут служить юридические кодексы, подобные тем, которые были приняты в Европе в прошлом веке. Законодательные акты и кодексы, которые принимаются по всему миру в нашем веке, как правило, представляют собой пример законодательства, которое стремится изменить существующую ситуацию. Во всех этих случаях законодательство — это одновременно выдвижение притязаний, которые поддерживают сами законодатели, и описание притязаний, которые упомянутые законодатели должны рассматривать как статистически законные для данного общества. Степень соотношения в законодательстве этих двух аспектов может существенно образом различаться.

Аналогичные замечания относятся к иным способам фиксировать нормы закона, помимо законодательства, например, к их фиксации судьями. Решения судьи или ответы юрисконсульта (как в древнеримские времена) всегда одновременно являются, с одной стороны, предъявлением притязаний, которые рассматриваются в качестве статистически законных, а с другой — предъявлением притязаний, которые также лично поддерживаются их авторами. Однако юристы и судьи, в то время как они описывают статистически законные притязания общества в данное время, еще в большей степени, чем законодатели, ограничены в попытках поддержать свои собственные притязания. Если работа законодателя, по крайней мере по определению, не должна ограничиваться, работа судьи или юрисконсульта по определению ограничена прецедентами, нормативными актами и собственно притязаниями сторон. Даже в большей степени, чем законодатели, судьи и юрисконсульты сталкиваются с незначительностью роли принуждения и других способов повысить вероятность удовлетворения притязаний людьми, к которым они предъявлены.

Юридический процесс всегда в конце концов восходит к индивидуальной жалобе. Индивиды создают закон и право в той мере, в какой они успешно предъявляют притязания. Они не просто делают прогнозы и предсказания, но и стремятся повлиять на успех этих прогнозов посредством собственного вмешательства в процесс. Судьи, юрисконсульты и, прежде всего, законодатели — это просто индивиды, особенности положения

которых позволяют им посредством собственного вмешательства влиять на процесс в целом. Как я говорил, возможности такого вмешательства ограничены и не должны переоцениваться. Я бы хотел добавить, что при этом мы не должны переоценивать *искажения*, которые способны вызвать в процессе в целом вмешательство конкретно этих индивидов, прежде всего законодателей.

Нормы закона, вне зависимости от того, что является их источником: решения судей, ответы юрисконсультов или нормативные акты, — почти всегда в определенной степени влияют на этот процесс. Даже когда они просто описывают уже существующую ситуацию с законными притязаниями, они стремятся, как минимум, сохранить эту ситуацию, представив людям четкое изображение того, что происходит внутри уже существующего юридического процесса. Когда же нормы закона описывают будущую ситуацию, которой их авторы желают достичь посредством влияния на существующий юридический процесс, они вполне могут помешать людям добиться удовлетворения своих притязаний, даже если эти авторы не смогут добиться удовлетворения иных (противоположных) притязаний. Разумеется, у норм закона имеется негативный эффект, который является более действенным, чем любые позитивные эффекты, так как помешать людям сделать что-то, чего они хотят, легче, чем заставить их сделать что-то, чего они не хотят. Индивиды, которые находятся в особой позиции по отношению к юридическому процессу, могут воспользоваться своим преимуществом, но не в такой степени, как они того желают или, возможно, как они считают. Если я не заблуждаюсь, именно эту идею более или менее невнятно сообщали нам старые доктрины естественного права, а точнее, доктрина прав человека. Этой идее и следует обслуживать эти доктрины, хотя ей не хватает акцента на практической стороне дела, или именно в силу этого. Это не столько притязание участника юридического процесса, сколько теоретический вывод философа права.

Глава 2

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЗАКОНА И ЭКОНОМИКИ

Общие исследования природы экономической науки — это, скорее, редкость. То же самое можно сказать и об общих исследованиях юридической науки. Вероятно, это хорошее объяснение того, почему нет достойных упоминания работ, сравнивающих особенности процесса создания закона с особенностями экономического процесса и, конкретно, с особенностями рыночного процесса. Однако это, определенно, не единственная причина. В нашу эпоху узких специалистов есть немного экономистов, которые были бы также и юристами, и наоборот. У нас есть несколько примеров выдающихся экономистов, получивших юридическое образование, например, Людвиг фон Мизес и Фридрих Хайек. Некоторые экономические или юридические консультанты крупных компаний или отраслевых ассоциаций — это юристы, получившие экономическое образование. (В этой связи я мог бы упомянуть моего доброго друга Артура Шенфилда: он одновременно юрист и экономист, а сейчас он работает главным экономическим советником Федерации промышленности Великобритании.) Люди, которые одновременно и подготовлены, и способны погрузиться в сравнительное исследование юридического и экономического процессов, — это очень большая редкость. Я не претендую на то, что я — один из них. Тем не менее, как профессиональный юрист, который живо интересуется экономической теорией и практикой, я всегда считал очень важным, чтобы у юристов и экономистов было ясное представление об этих процессах, об их сравнительных особенностях и, наконец, об их теоретической и практической взаимосвязи.

Значение такого исследования не является чисто теоретическим. То, считают ли политики себя уполномоченными принимать определенные меры для достижения определенных целей в экономической сфере, в большой степени зависит от их представлений о соответствующих особенностях каждого

из этих процессов и об их взаимосвязи. Отношение обычного человека к этим мерам — то, требует ли он их, одобряет или просто терпит — в большой степени зависит от этих представлений.

Я не думаю, что представления политиков и обычных людей об отношениях между процессом создания закона и экономическим процессом неизбежно обусловлены их политической идеологией. Наоборот, я подозреваю, что во многих случаях их политическая идеология может быть обусловлена их более или менее ясными представлениями об особенностях и взаимосвязи процесса создания закона и, соответственно, экономического процесса.

Я начну с того, что попытаюсь описать основные типы известных нам, по крайней мере из истории стран Запада, процессов создания закона. Позже мы увидим, что все эти типы процессов можно свести к более общему, хотя и менее очевидному, способу получить закон, о котором я скажу в конце.

Я хотел бы сразу перейти к резюме и сказать, что можно выделить *три главных способа, или метода, создания закона*, которые проявляются, хотя и не исключая друг друга, а напротив, в сочетании, на протяжении всей истории Запада, от древних греков до сегодняшнего дня.

1. Получение закона посредством мнений особого класса экспертов, которых в Риме называли *juris-consults* (юрисконсульты), в Германии — *Juristen* (юристы), а в англосаксонских странах — *lawyers* (законники). Эти люди создали тип права, который называют, по источнику, «правом юристов», или, как говорят немцы, *Juristenrecht*.

2. Получение закона другим специальным классом экспертов, которых называют «судьями». То, что я имею в виду, говоря об этом типе закона, в точности отражает английское выражение «закон, созданный судьей» (*judge-made-law*).

3. Получение закона посредством *законодательного процесса*. В наши дни этот процесс стал настолько распространенным, что во многих странах обычные люди даже не в состоянии представить себе другой способ получить то, что мы называем законом. Законодательство воспринимается как продукт воли неких людей, которых называют «законодатели», а в его основе лежит представление о том, что воля законодателей в конечном счете должна считаться законом страны.

Законодательство весьма существенно отличается от двух других способов получения закона. Юристы и судьи создают

закон, работая с определенными, предоставленными им материалами, которые ограничивают итоговый результат. Если воспользоваться удачной метафорой великого ученого наших дней Карлтона Кемпа Аллена, они «создают» закон в том же смысле, в каком человек, который рубит дерево на поленья, «создает» поленья¹. Напротив, замысел законодателей состоит в том, чтобы создавать закон без каких-либо ограничений такого рода. Они не только «делают» закон, они также желают делать его из ничего, вне всякой зависимости от исходных материалов и даже от противоположных желаний и мнений других людей. То, что они имеют в виду, — это не просто получение закона; это, как выразился бы один из самых знаменитых современных теоретиков и защитников этого процесса, *сотворение* закона². Специфическая природа этих особенностей законодательства осознавалась уже очень давно, а ученые выражали ее с помощью противопоставлений слов *jus* и *lex*, «закон» и «воля», «закон» и «король», «закон» и «суверен» и т.п. На протяжении истории это противопоставление часто окрашивалось метафизическими и религиозными оттенками и смыслами.

Тем не менее это противопоставление вполне можно понять, изложив его с помощью обыкновенных человеческих, светских терминов. Если предположить, что закон — это «творение» законодателя, следует также предположить, по крайней мере имплицитно, что закон — это результат действия неограниченной воли каких-то людей, например, королей, суверенов и т.п. В силу этого законодательство восходит, более или менее имплицитно, к неограниченной воле какого-нибудь суверена, кем бы он ни был. Сама идея законодательства внушает надежду всем тем, кто считает, что законодательство, являющееся результатом действия неограниченной воли каких-то людей, сможет достичь целей, которых невозможно достичь посредством обычных процедур, которые используют обычные люди, то есть судьи и юристы. Фраза, которую сегодня можно часто услышать от обычных

¹ Carleton Kemp Allen, *Law in the Making* (5th ed.; Oxford: at the Clarendon Press, 1951), p. 288.

² Позже мы увидим, что именно означает это «сотворение закона», по крайней мере на практике, и какие ограничения и ошибки связаны с этой идеей. Можно сказать, что процесс создания законов посредством законодательства имеет очень своеобразную специфику, которая не присуща или присуща в гораздо меньшей степени двум остальным процессам создания закона.

людей, о том, что «нужен закон» для того или для сего, — это наивное выражение веры в законодательство. В то время как процессы, сводимые к праву юристов и к закону, созданному судьями, кажутся способами получения закона в рамках определенных ограничений, законодательный процесс представляется, или обычно представляется, в чистом виде вопросом [политической] воли, без каких-либо ограничений.

Саму идею о том, что возможно создание закона вне всяких ограничений, в разное время осуждали многие выдающиеся ученые. Например, в римские времена один из самых выдающихся государственных деятелей Рима, Катон Старший, сторонник традиционного, в противовес иностранному (то есть греческому), образа жизни, хвалился превосходством римской правовой системы по сравнению с греческой, достигнутым за счет того, что римская система создавалась веками и поколениями, по кусочку, длинной чередой людей, каждый из которых должен был исходить в своих трудах из опыта и прецедентов и всегда был ограничен условиями существующей ситуации. Позже, в Средние века, используя совершенно другой язык, соответствовавший его совершенно иным философским и религиозным взглядам, прославленный английский юрист Брэктон часто говорил, что сам король — подданный закона, потому что закон создает короля: «Пусть же король предоставит закону то, что закон предоставляет ему, а именно, господство и власть, потому что нет короля там, где господствует воля, а не закон». Если пересказать слова Брэктона в более современных выражениях, получится следующее: даже король со всей его властью не может создать закон; он может только обеспечить его санкцией. Не существует способа создания закона по чьему-либо желанию, без ограничений, даже если иметь большую власть над людьми.

В XIX веке другой юрист говорил то же самое другими словами. Я имею в виду Блэкстона, часто повторявшего, что суверен — это не *источник*, а лишь *хранилище* закона, из которого — по тысяче каналов — индивид получает закон и справедливость.

Это критическое отношение к мнимой возможности законодателя сотворить закон из ничего разделяли большинство знаменитых юристов Запада. Например, величайший германский юрист XIX века, Фридрих-Карл фон Савиньи, основатель так называемой исторической школы права, в начале того века написал, что нормы нашего поведения (включая сферу права)

связывает в единое целое «общая убежденность людей, братское сознание внутренней необходимости, исключаящее любое представление о случайном или произвольном источнике». Другой великий юрист, Ойген Эрлих, чье влияние в США в последнее время росло благодаря таким юристам, как Паунд, Тимашев, Кернс и Джулиус Стоун, уже в нашем веке решительно заявил: «Сегодня, как и в любое другое время, центр тяжести развития правовой системы находится не в законодательстве... но в самом обществе». К этим критикам идеи законодательного процесса как способа получить закон по собственной воле, без каких-либо ограничений, мы должны добавить многих экономистов классической и неоклассической школы. (Позже мы вернемся к законодательству и к той идее, которая лежит в основе любых попыток заменить им любые другие способы создания закона.)

Сейчас мы перейдем к рассмотрению двух других, упомянутых выше способов получения закона. Первый способ используется юристами. Возможно, за единственным исключением Древней Греции, во всех странах Запада, начиная с определенного уровня их развития, существовали юристы в качестве отдельного класса экспертов. Однако самый высокий статус за всю историю юристы, вероятно, имели в Древнем Риме. На протяжении веков древнеримские юристы профессионально создавали закон признанным публично и почти официальным способом. Верно, что сами они обычно не были склонны этого признавать. Вырабатывая правовые нормы, они обычно ссылались на какие-нибудь древние нормативные документы типа законов Двенадцати таблиц; тем не менее на самом деле они создавали эти нормы, а их сограждане вполне добровольно подчинялись им, в то время как их правительство обычно не вмешивалось в этот процесс. Конечно, за свою историю римляне приняли много законодательных актов, но эти акты в основном относились к функционированию их собственного правительства и крайне редко затрагивали частные взаимоотношения индивидов. До нас дошли упоминания только о 50 документах, введенных в действие римской законодательной властью и имеющих отношение к частным взаимоотношениям граждан — и это за всю более чем тысячелетнюю историю Рима.

Начиная со Средневековья и до начала прошлого века, а что касается стран немецкого языка, то до его конца, статус итальянских, французских и немецких юристов был почти таким же,

как у юристов Древнего Рима. Способ, которым эти юристы создавали закон, отличался от того, которым пользовались в Риме. Они все еще «получали» собственный закон способом, который признавался публично и официально, хотя его время от времени и предъявляли [на утверждение] некоторым структурам — до введения кодексов в континентальных европейских странах в конце XVIII — начале XIX века. В книге «Свобода и закон» я уже попытался кратко описать особенности процесса, который использовали римские юристы. При этом я пользовался увлекательными исследованиями таких современных ученых, как итальянцы Ротонди и Винченцо Аранхио Руис, англичанин Баклэнд и немец Шульц.

Я писал так: «Римский юрист по сути был исследователем: объектами его исследований были решения дел, за которыми к нему обращались граждане, примерно так же, как сегодня промышленники могут обратиться к физику или к инженеру за решением технической проблемы, касающейся оборудования или производства. Поэтому римское частное право представляло собой целый мир реально существующих вещей, которые были частью общего достояния всех римских граждан — то, что можно было открыть или описать, но не принять и не ввести в действие. Никто не принимал этих законов, и никто при всем желании не мог их изменить. Это не означало, что изменений не было, но это определенно означало, что люди не ложились спать, строя планы на основании действующего закона, чтобы наутро обнаружить, что законодатели заменили этот закон другим.

Римляне выработали и применяли принцип определенности закона, который можно было бы описать так: закон не может быть изменен внезапно или непредсказуемым образом. Более того, как правило, закон не мог быть представлен на рассмотрение какому-либо законодательному собранию или отдельному индивиду, включая сенаторов и других высших должностных лиц государства, и не зависел от их произвольных желаний или произвольных полномочий. В этом состоит долгосрочная, или, если вам так больше нравится, римская концепция определенности закона»¹.

Я уже отмечал, что такое представление о законе было ключевым с точки зрения свободы, которой римские граждане обычно обладали в экономической деятельности и вообще в частной

¹ См. наст. изд., с. 102–103.

жизни. В связи с этим очень важно отметить, что процесс создания закона, который использовали римские юристы, привел к тому, что юридические взаимоотношения граждан очень напоминали экономические отношения на свободном рынке. Закон в целом был не менее свободным от принуждения, чем рынок. Или если использовать слова Фрица Шульца, частное право в Риме возникло и развивалось «на основе Свободы и Индивидуализма»¹.

Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы ответить на одну из рецензий на книгу «Свобода и закон»², в которой меня обвинили в чрезмерном энтузиазме по отношению к древнеримской правовой системе. Я с этим не согласен. Я никогда не утверждал, что римское право обеспечивало «рай свободы» и уж совсем никогда не заявлял, что римское право обеспечило этот «рай» в императорском Риме. Однако я полагаю, что можно сказать многое в пользу правовой системы древних римлян, даже в эпоху императоров, если сравнивать эту систему со многими, господствующими в наше время. Верно, что те древнеримские правители, которые были всесильны, иногда распоряжались жизнью и собственностью некоторых граждан по собственной воле. Но это всегда делалось в порядке исключения и рассматривалось как исключение — как ненадлежащее исключение из общего правила, согласно которому государство не могло распоряжаться жизнью и собственностью граждан. Сравните это общее правило с теми, которые господствуют почти во всех современных государствах, где практика конфискаций и другие ограничения свободного выбора индивидов на рынке действительно распространяются, по крайней мере, принципиально, на всех граждан. Сравнение между существующими правовыми системами и древнеримской системой очень лестно для римлян.

Во времена старой республики римский тиран, например, Сулла, мог отомстить врагам, попытавшись казнить их или конфисковав их имущество. В более поздние времена римский

¹ Fritz Schultz, *History of Roman Legal Science* (Oxford: at the Clarendon Press, 1946), p. 84.

² Murray N. Rothbard, "On Freedom and the Law," in *New Individualist Review*, Vol. 1, No. 4, Winter 1962, pp. 37–40. Complete edition of *New Individualist Review* reprinted by Liberty Fund, Indianapolis, 1981, pp. 163–166.

император мог послать наемника убить какого-нибудь опасного соперника или претендента и издать указ о конфискации его имущества. Но современные нормы, даже в свободных странах вроде этой, включают принципиальные полномочия на то, чтобы при условии соблюдения некоторых юридических формальностей лишить всех граждан практически всей их собственности, если не жизни.

Если рассматривать римскую систему налогообложения по сравнению со многими современными системами, мы приходим к похожим выводам. В упомянутой выше рецензии на мою книгу упоминалось о якобы «чудовищных» римских налогах. К сожалению, мы не знаем достоверно, как на самом деле функционировала римская фискальная система, поскольку до сих пор остаются некоторые белые пятна. Однако совершенно точно, что римские граждане, по крайней мере в классический период римской истории, в принципе не подлежали никакому реальному налогообложению. Единственно, что делало их правительство, — занимало у них деньги, необходимые для ведения войны. Когда в войне одерживалась победа, что происходило довольно часто, деньги, одолженные государством, возвращались гражданам. В свою очередь, завоеванные страны обычно облагались налогом (так называемым *vectigal*), который воспринимался как своего рода выкуп, выплачивавшийся покоренным народом римским завоевателям за право использования земли. Но даже этот налог, как правило, не превышал 10 процентов дохода людей, которые должны были его платить. Если учесть, что фискальные полномочия современных правительств, даже в свободных странах вроде этой, практически не ограничены и правительства могут поглотить почти все доходы некоторых налогоплательщиков, принадлежащих к так называемым высокодоходным группам, при сравнении с римской налоговой системой у нас должно захватывать дух от ее великодушия. Современные правительства так называемых свободных стран ведут себя по отношению к своим гражданам так, как ни одно римское правительство, по крайней мере в сфере налогообложения, не стало бы себя вести не только по отношению к собственным гражданам, но даже по отношению к гражданам покоренных стран.

Чтобы закончить с этим сравнением и вернуться к нашим рассуждениям, я должен, наконец, упомянуть о так называемой репрессивной сети экономического регулирования и соци-

ального обеспечения, которую, как утверждает автор рецензии, якобы использовали древние римляне. Даже здесь нам следует проводить четкое различие между классическим римским периодом и постклассическим периодом того, что мы называем упадком Римской империи. В классический период экономическое регулирование и социальное обеспечение были практически неизвестны. В более поздний период эти меры время от времени вводились некоторыми императорами, достигнув расцвета в IV веке н.э. при Диоклетиане, то есть к концу истории Западной Римской империи. Но даже если сравнить систему социального обеспечения и планирования при Диоклетиане с системой социального обеспечения, национализацией и планированием в современных государствах, то сравнение было бы в пользу древних римлян. Как правило, в Риме никогда не конфисковывали землю, находившуюся в частном владении, и правительство никогда не брало на себя управление частными предприятиями. Можно провести такое же сравнение применительно к инфляции и порче денег. Все, на что было способно римское правительство в этом отношении, — ничто по сравнению с неограниченной властью современных правительств развязывать инфляцию путем выпуска необеспеченных денег и т.п.

Но давайте вернемся к нашей основной теме, к «получению» закона юристами. Теперь мы постараемся внимательнее посмотреть, как и откуда древнеримские юристы извлекали свои правовые нормы. Последние исследования позволяют нам сделать вывод, что они сами, вероятно, никогда не формулировали четко и ясно, как именно они работают. Тем не менее можно сделать вывод, что конечными данными, с которыми они работали, всегда были чувства и поступки их сограждан. Это видно по их обычаям и традициям заключения взаимных договоренностей, а также по их ожиданиям в отношении поведения других людей в свете этих договоренностей, или даже без всяких явно сформулированных договоренностей. Римские юристы включали эти данные в состав понятия «природа вещей», а также в состав другого, не менее важного понятия: «то, что случается чаще всего». Их собственная установка по отношению к этим «данным» состояла в истолковании их таким образом, чтобы выявить содержащиеся в них нормы. Конечно, во многих случаях это было сложной задачей, особенно тогда, когда старые обычаи и порядки явно слабели, а на их месте развивались новые и сравнительно необычные.

Задача юристов состояла в том, чтобы выработать норму, которая бы могла рассматриваться, настолько, насколько это возможно, в качестве расширения или аналога уже выявленной нормы или, по меньшей мере, новой нормы, соответствующей предшествующим и логично сочетающейся с ними. По мнению этих юристов, такой способ интерпретации данных был не только возможен, но и предполагал более или менее строгую процедуру. Действительно, с их точки зрения, было всегда возможно провести определенного рода расчеты, чтобы обнаружить причины поведения людей по отношению друг к другу и его скрытую логику. Римские юристы называли эту логику *ratio* («нормой») взаимоотношений людей и их неписаных правил. Эту норму они обычно называли «естественной», потому что она не зависела ни от чьих произвольных желаний и меньше всего — от произвольных желаний юристов, которые пытались ее обнаружить. Только когда римский юрист оказывался в полном тупике если не в отношении формулировки правила, то по крайней мере в обосновании своих выводов в отношении него, он ссылался на авторитет другого юриста, своего предшественника, который пришел к похожим результатам в похожих обстоятельствах.

Иногда, как это ни парадоксально, он ссылался на свой собственный авторитет, хотя такое случалось редко. В связи с римским понятием авторитета следует отметить, что обращение к нему со стороны юристов не предполагало никаких мистических обертонов. Совершенно точно, что в вопросах правильного решения какой-либо юридической проблемы римские юристы не ссылались на божественное откровение. Скорее всего, они предполагали, что их собственное решение верно, даже если они и не могли этого доказать. Даже в истории математики можно заметить похожую установку некоторых великих представителей этой науки. Есть теоремы, например, теорема Ферма, про которую мы не знаем, существовало ли когда-либо ее доказательство и может ли это доказательство быть найдено в будущем. Похожим образом обстоит дело с фундаментальными понятиями современной математики, например, с понятием функции, которое изобрел итальянец Лагранж, или с исчислением бесконечно малых, придуманным немцем Лейбницем или англичанином Ньютоном; сначала они использовались как промежуточные результаты рассуждений, которые не могли быть полностью обоснованы, потому что доказательства еще предстояло обнаружить.

Иными словами, сами римские юристы думали о своей работе, что они всегда или почти всегда могут полностью реконструировать и логику поведения своих сограждан, и логику их отношений в контексте этого поведения. Похожим образом современные экономисты, изучающие так называемую экономическую деятельность человека, подразумевают возможность реконструировать и подоплеку этих действий, и подоплеку их взаимоотношений с другими действиями и с другими людьми.

Давайте теперь коротко рассмотрим, в чем состояла работа и установки юристов в более поздние времена. Подобно своим римским предшественникам континентальные юристы Средних веков пытались выработать нормы закона. И они сами, и их современники считали, что к этой работе следует подходить логически, на основании фундаментальной логики, неявно со-державшейся в материалах этой работы.

Однако между работой средневековых юристов и римских юрисконсультов имелось существенное различие. В Средние века и в Новое Время, до эпохи кодексов, континентальные юристы вырабатывали юридические нормы, выводя их из данных иного рода. Вместо того чтобы рассматривать поведение людей в качестве исходных данных, они изучали их поведение опосредованно, рассматривая его через призму системы правил, уже выработанных до них римскими юристами и зафиксированных в так называемом «Своде гражданского права», великой юридической Библии континентальной Западной Европы, которую ввел в действие император Юстиниан в первой половине VI века. Таким образом, юристы этой новой эры не занимались толкованием поведения своих сограждан. Вместо этого они употребляли слова, которые использовали римские юристы для толкования поведения римских граждан и для того, чтобы сформулировать нормы закона для них. Способ, которым пользовались юристы новой эры, чтобы вырабатывать нормы закона, рассчитанные на современников, действительно воспринимается как парадокс и анахронизм, но он работал; возможно, это доказывает, что основания человеческого поведения в той области, которую обычно называют правовым полем, являются не настолько случайными и условными, чтобы быть привязанными к конкретному историческому периоду или к конкретной стране.

Здесь в мою задачу не входит объяснение причин, по которым европейские юристы Средних веков и более позднего времени использовали такую парадоксальную процедуру. Я просто

хочу еще раз подчеркнуть, что на самом деле эти юристы занимались не совсем тем, чем делали вид, что занимаются. На самом деле, они гораздо больше занимались толкованием поведения своих современников и его подоплеку, чем значением слов своих древнеримских предшественников. В то же время мы выяснили, что их римские предшественники, в свою очередь, делали вид, что занимаются не тем, чем занимались на самом деле; они делали вид, что интерпретируют не факты, а слова, статьи писаного закона (Закона Двенадцати таблиц), а не реальное поведение живых людей.

По сути средневековые и современные юристы, с одной стороны, и древнеримские юристы — с другой, занимались одним и тем же. Все они интерпретируют поведение своих современников и реконструируют его подоплеку и содержащиеся в нем по умолчанию правила.

Давайте теперь посмотрим на категорию производителей закона, о которой я уже упоминал: на судей. Процесс создания закона посредством судей, вероятно, так же стар, как западная цивилизация. Когда Гомер в «Одиссее» хочет подчеркнуть варварство циклопов, он говорит, что у них не было даже двух основополагающих вещей: собраний, чтобы принимать коллективные решения, с одной стороны, и судебных решений — с другой. Циклопы, как добавляет Гомер, просто жили семьями, не имея никакой политико-правовой системы, как мы сказали бы сейчас.

Вероятно, решения судей действительно были главным способом найти и явно сформулировать нормы закона, господствовавшие в Древнем Риме до эпохи законодательства. Еще раз: решения судей в Древнем Риме были обычным способом найти нормы закона посредством так называемого *Jus honorarium*, то есть с помощью решений главного судебного авторитета римлян, претора. Процессы обнаружения закона с помощью юристов и обнаружения закона с помощью судей успешно существовали в Риме в течение нескольких столетий. Они не были несовместимы друг с другом, более того даже дополняли друг друга во всех тех случаях, когда новые нормы закона усваивались гражданами или возникали по их требованию. Претор делал вид, что не занимается содержанием вопросов, которые потенциально возникали в связи с согласованностью новых и старых норм. Он делал вид, что высказывается только по процедурным вопросам, в то время как на

самом деле он заботился о том, чтобы добиться одобрения новых норм и их обеспечения санкцией. Это действительно была своего рода уловка, которую претор использовал, вероятно, в силу своего уважения к старым обычаям и работе профессиональных юристов. Подобно тому как древнеримские судьи получали закон, делая вид, что они занимаются исключительно процедурными подробностями, римские юристы получали закон в замаскированной форме, делая вид, что они истолковывают древние слова, а не новые факты. Древнегреческие судьи, как и английские судьи эпохи Средневековья и Нового времени, получали закон более открытым путем, хотя нам известно о том, что по крайней мере английские судьи любили прибегать к различным уловкам. Но я опять повторяю, что и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Англии судьи имели в виду поведение своих сограждан, его подоплеку и основы их взаимоотношений. Все они могли прибегать — и так и делали — к понятиям, похожим на «природу вещей» у римских юристов, к понятиям, общий смысл которых состоял в том, что проблемы, с которыми они сталкивались, не позволяли им придумывать решение по своему усмотрению, без каких-либо ограничений. Именно это имели в виду древнегреческие судьи и ораторы, когда говорили, что они просто следуют советам богини Фемиды или Дельфийского оракула. То же самое подразумевал римский претор, когда делал вид, что занимается не самой материей права, а исключительно процедурными тонкостями. И это же имели в виду английские судьи, когда говорили о законе страны как о чем-то, что выше их собственного произвольного выбора.

До сих пор мы отмечали базовое сходство между двумя способами получения закона: посредством юристов и посредством судей. Давайте немного подробнее рассмотрим отношения между *данными*, которые они используют для работы, и их работой как таковой. Анализировать эти отношения нелегко; и неудивительно, что мнения ученых на их счет сильно расходятся. Правоведы сформулировали и выдвинули две основные концепции по этому поводу.

Одна из концепций, главным представителем которой является упомянутый выше Савиньи, состоит в том, что толкователи закона выполняют в основном пассивную задачу, связанную с восприятием. Они отражают привычки и обычаи людей, описывая их на своем профессиональном языке, точно

так же, как физик описал бы на своем профессиональном языке взаимоотношения физических сил. Согласно этой теории, в итоге работы профессиональных интерпретаторов не происходит никакого особенного воздействия на привычки и обычаи людей. Иными словами, сами они не влияют на привычки и обычаи посредством своей работы. Они представляют собой своего рода трубы, по которым течет жидкость, которая от этого не меняется. Разумеется, чтобы работать как следует, трубопроводы должны быть сделаны из хорошего материала и по правильным чертежам. Соответственно, профессиональные толкователи закона должны быть образованными, умными и хорошо подготовленными; однако, согласно этой теории, они создают закон в основном в том смысле, что они исследуют его.

Противоположная теория состоит в том, что обычаи и привычки должны выводиться из работы юристов и судей. Некоторые ученые, скажем, Генри Мэн в знаменитой книге «Древнее право» (*Ancient Law*), утверждали, например, что именно так произошло с древними греками, обычаи которых были созданы решениями судей. Другой исследователь, француз Эдуар Ламбер, настаивал на так называемой творческой силе юриспруденции, то есть судебных решений, которая, по его мнению, была ключевым элементом права и одним из самых продуктивных его факторов. Промежуточная теория, разработанная Эрлихом, полагает, что следует строго различать нормы права, применяемые судом, с одной стороны, и правовые договоренности, существующие в обществе, — с другой.

Соответственно, функцию толкователя следует рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, он должен выявить существующие в обществе правовые убеждения и описать их; с другой стороны, он должен оформить универсальные обобщения, отражающие эти убеждения, и применять их во всех делах. Последний вид деятельности включает технические аспекты, которые следует рассматривать как отличные от убеждений и самосознания людей. Исключительно применительно к этой деятельности необходимо различать право юристов и право людей, а также следует признать, что, хотя право юристов возникает из права людей, первое может оказывать воздействие на второе. Однако все теории, вне зависимости от того, на чем они делают акцент — на привычках и обычаях или технических приемах и обобщениях юристов — признают, что без общей почвы обычаев, привычек и убеждений людей не было бы ни-

какого права юристов и права судей. Даже Ламбер, который был одним из самых убежденных защитников теории о том, что право юристов сильнейшим образом влияет на привычки и обычаи людей, признавал, что в конечном счете право юристов — это кристаллизация в виде норм того, что римляне и канонисты Римской Католической Церкви называли бы общим согласием людей, на которых распространяются эти нормы (*communis consensus utentium*). Каждая из этих противоположных теорий может обратиться к историческому опыту и извлечь из нее примеры, подтверждающие ее доводы. То, что в Древней Греции обычай был результатом длинной череды судебных решений, как утверждал Мэн, неверно; однако верно то, что судебные решения, скорее всего, оказали влияние на обычаи греческой цивилизации исторического периода до появления писаного права. То, что, как утверждал Ламбер, люди, живущие в странах обычного права, и права, созданного судьями, просто подчиняют свое поведение решениям судей, неизбежно покоряясь ему, неверно; однако верно то, что история обычного права в Англии раскрывает существенное влияние, которое оказали на него выдающиеся личности отдельных юристов и судей и даже ныне утраченные акты парламента.

История никогда не бывает простой и никогда не укладывается целиком в логические представления об истории. Однако есть одна серьезная причина, по которой следует, я полагаю, очень серьезно отнестись к утверждению Савиньи о том, что не юристы создают закон для народа, а народ создает юристов. Как заметил в этой связи выдающийся современный исследователь, вне зависимости от возможного влияния и значения толкователей, кроме того, что существует исконный закон сообщества, величайший толкователь закона, какого только можно вообразить, может работать только с тем материалом, «который предоставляет ему окружающая среда, и может говорить только на таком языке и только на те темы, которые понятны для современных [ему] умов». В связи с этим необходимо также вспомнить одно из самых интересных сравнений, сделанных Савиньи в его знаменитой статье о призвании нашего времени к законодательству и юриспруденции: сравнение закона и языка. Закон, как он выразился, так же как и язык, это стихийное выражение мыслей людей, которые им пользуются. Нужно добавить, что грамматики могут оказать на язык большое влияние, и выработанные ими правила вполне могут подействовать

на реальное словоупотребление, но грамматики не могут создать язык — он просто дан им как данность. Люди, которые создают языки, обычно терпят поражение. Искусственно сконструированные языки не работают, вне зависимости от их подразумеваемой полезности в качестве простого и потенциально универсального способа коммуникации между различными людьми. Только полубразованным людям могут внушать доверие попытки ввести эсперанто или подобные ему языки в качестве готового универсального средства коммуникации. За этими так называемыми языками не стоят люди, которые были бы их носителями. Точно так же нельзя было бы создать универсальный или даже конкретный закон, если бы за ним не стояли люди, их убеждения, привычки и чувства. Как и язык закон — это не техническое устройство, которое человек может изобрести по своему вкусу. Разумеется, можно попытаться это сделать. Однако весь наш опыт говорит о том, что такая попытка закончится либо чрезвычайно скромным успехом, либо провалом.

Глава 3

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЛИТИЧЕСКОМУ

В начале этого цикла лекций я уже говорил, что нам все еще не хватает достойных упоминания исследований об особенностях процесса создания закона по сравнению с особенностями рыночного процесса. Однако это утверждение нуждается в уточнении. В последние годы появилось несколько работ, сравнивающих рыночный выбор, с одной стороны, и политический выбор посредством голосования — с другой. Сам по себе закон может восприниматься как объект выбора, то есть политического выбора. В той степени, в какой мы отождествляем закон и законодательство, можно воспользоваться сравнительными исследованиями политического и рыночного выбора, чтобы провести сравнение между рынком и законом в смысле законодательства.

Как правило, теории принятия решений или совершения актов выбора рассматривают акт выбора в индивидуалистической перспективе. Обычно считается, по крайней мере по умолчанию, что каждое решение должно быть чьим-то решением. Однако теоретики также осознают, что решения индивидов находятся не только в состоянии *конкуренции* между собой (например, когда индивиды решают каждый за себя), но могут предполагать и *сотрудничество* (например, когда индивиды стараются достичь одного решения для группы в целом). Некоторые авторы называют такие кооперативные решения «групповыми решениями» и пытаются разработать специальные системы, которые позволили бы разным индивидам (независимо друг от друга применяющим стандартные процедуры такой системы к данному множеству информации) прийти в сущности к одним и тем же выводам и, по возможности, в сущности к одним и тем же решениям. Те же авторы, однако, признают, что ценность их системы еще не доказана,

по крайней мере для групповых решений, которые принимаются за пределами сферы науки. Очень жаль (как говорит один из них), потому что до сих пор было придумано очень мало механизмов групповых решений, и все они сомнительны, например, голосование (в частности, правило большинства) и *устные переговоры*. Действительно, все признают, что голосование «работает, (только) когда решения не касаются специальных вопросов и когда лояльность внутри группы достаточно сильна для того, чтобы избиратели меньшинства были согласны остаться в группе и подчиниться решению большинства»¹. В отличие от этого возможности устных переговоров, которые, разумеется, могут сочетаться с голосованием, серьезно ограничены.

Так или иначе, я считаю, что групповое решение, как кооперативное решение группы индивидов в соответствии с какой-либо процедурой, — это одновременно полезная и понятная идея для специалиста по политическим наукам, хотя и не следует приравнивать друг к другу групповое решение и *политическое* решение. Мы, вероятно, не можем исключить некоторых индивидуальных агентов, чьи решения Макс Вебер называл бы «монархическими». Мы также не можем утверждать, что все групповые решения являются политическими. Советы директоров корпораций принимают групповые решения, которые мы не должны называть политическими в обычном смысле слова. Таким образом, необходимо проявлять осторожность, соглашаясь с Дунканом Блэком, который рассматривает свою теорию решений, принимаемых комитетами, как теорию политических решений².

Однако совершенно ясно, что очень многие решения, которые обычно называют политическими, например, решения групп населения, решения административных или исполнительных органов, законодательных собраний и т. п., на самом деле являются групповыми решениями, или кооперативными решениями в смысле, указанном Ирвингом Броссом: «единственными решениями, которые принимают несколько индивидов для всей группы».

¹ Irwin D. J. Bross, *Design for Decision* (New York: Macmillan, 1953), p. 263.

² Duncan Black, "The Unity of Political and Economic Science," *Economic Journal*, Vol. 60, No. 239, September 1950.

Здесь следует отметить, что, когда речь идет о групповых решениях, индивидуалистическая перспектива несколько меняется. Решение «всей группы» может быть или не быть тем же решением, которое бы принял каждый индивид из группы, если бы он принимал решения за всю группу. Мне любопытно, как обстояло бы дело в сфере науки, о которой упоминает Бросс. Однако это именно так во всех случаях, когда между разными членами группы нет консенсуса, а отсутствие консенсуса внутри группы является скорее правилом, чем исключением. Обычно групповые решения не совпадают с каждым отдельным индивидуальным решением внутри группы.

Это отчасти объясняет популярность полумистических или полуфилософских конструкций, в которых такие общности, как государство, воспринимаются как независимые единицы, принимающие решения так, как если бы они были индивидами¹. Но я полагаю, для того чтобы проанализировать следствия, вытекающие из отсутствия консенсуса внутри групп, нет необходимости цепляться за такого рода понятия о «лице, с которым нельзя встретиться» и «никогда нельзя поговорить» (как выразилась бы покойная Маргарет Макдональд)².

Однако когда политические решения являются групповыми решениями, нужно учитывать отсутствие консенсуса. И обычной процедурой для этого является голосование в соответствии с правилом большинства. Таким способом принимаются очень многие политические решения. Это отличает их от индивидуальных актов выбора на рынке, где не требуется никакого голосования, чтобы купить товар. Несмотря на это, то, что голосование также связано с индивидуальным выбором, побудило некоторых исследователей сравнить индивидуальный выбор

¹ Мне кажется, что одна из последних попыток вдохнуть жизнь в это предположение — это идея, что «функция общественного благосостояния» или «рациональный общественный выбор» могут быть обеспечены с помощью математических трюков вроде тех, которые анализирует Кеннет Эрроу в знаменитом эссе: *Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1951). С этой точки зрения современным эквивалентом *Volksgeist* (народного духа) или *Verhunft* (разума) становятся вычислительные машины.

² Margaret MacDonald, "The Language of Political Theory," *Logic and Language (First Series)*, ed. Antony Flew (Oxford: Basil Blackwell, 1955), pp. 167–186.

в ходе политического голосования с индивидуальным выбором на рынке. Действительно, утверждалось, что «существенная часть анализа будет интуитивно знакома всем специалистам по общественным наукам, потому что она служит основанием значительной части политической теории, с одной стороны, и экономической теории — с другой»¹.

Кажется, что все особенности процесса выбора присутствуют и в групповых, и в индивидуальных решениях: упорядочивание ценностей, оценка вероятности, расчет ожиданий, выбор стратегии и т.п. Считается, что голосование напоминает рыночный выбор, а рынок (не очень логично) трактуется как большая группа, принимающая решения, в которой каждый голосует, продавая и покупая товары, услуги и т.п. Эти аналогии заставили Дункана Блэка рассматривать свою теорию комитетов как «общую теорию экономического и политического выбора». Если воспринимать экономическую и политическую теории как теории решений, принимаемых комитетом, обе науки «на самом деле представляют собой две ветви одной и той же темы». «Каждая изучает определенного типа акты выбора», использует «один и тот же язык, одну и ту же степень абстрагирования, одни и те же приемы мышления и одни и те же способы рассуждений». Иными словами, и в той, и в другой науке индивид представлен своей шкалой предпочтений, и обе абстрагируются от технологических фактов. Хотя существует разница в уровне знаний о результатах различных стратегий поведения, которые потенциально могут быть выбраны, — обычно об этом больше известно экономической теории, нежели политической — принципиальной разницы «между экономическими и политическими оценками, на которые способны люди», нет.

Более того (по мнению Блэка), обе науки имеют общий инструмент — понятие равновесия².

¹ James M. Buchanan, "Individual Choices in Voting and the Market," *Journal of Political Economy*, LXII, 1954, p. 334. Статья перепечатана в: *Fiscal Theory and Political Economy: Selected Essays* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960).

² Здесь Блэк, возможно, воспроизводит мысль, которую высказал Пигу в двух статьях, опубликованных, если я правильно помню, в *Economic Journal* в 1901 и 1906 г., где он отметил аналогию между спросом и предложением на рынке в отношении товаров и спросом и предложением в сфере политики в отношении законов и постановлений. Можно также вспомнить идеи, высказанные

По мнению Блэка, в экономической теории, «несмотря на то, что эта концепция по-разному трактовалась разными авторами», в основе всегда лежало представление о том, что равновесие возникает в результате равенства спроса и предложения». «В сфере политических наук предложения, вынесенные на обсуждение комитета, всегда расположены в определенном порядке на шкале предпочтений каждого из членов. Равновесие будет достигнуто путем выбора одного предложения в качестве решения комитета посредством голосования. Сила, побуждающая выбрать одно конкретное предложение, зависит от степени, в которой конкретные предпочтения членов, рассматриваемых в качестве группы, ставят это предложение выше остальных...» Блэк признает, что на пути этого процесса существуют препятствия и одно из них состоит в конкретной форме принятой процедуры, поскольку можно доказать, что внутри данной группы шкал предпочтений «одна процедура приведет к выбору одного предложения, в то время как другая процедура приведет к другому выбору». Это не мешает Блэку сделать вывод о том, что, хотя каждая из этих наук использует свое определение равновесия, «лежащие в их основании концепции — одного и того же типа». Если определение равновесия относится к спросу и предложению, природа явлений будет экономической; если оно относится к равновесию, которое достигается с помощью голосования, они будут политическими, и для обеих наук наиболее общий тип теории равновесия «будет сформулирован на языке математики». Чистая теория позволит предсказывать последствия любого конкретного изменения в экономических обстоятельствах. Можно будет проанализировать первоначальное состояние равновесия до того, как произошло изменение, а когда данные изменятся так, чтобы включить данное изменение, новое состояние равновесия продемонстрирует последствия предполагаемого политического изменения. «Метод, с помощью которого будут устанавливаться последствия таких политических изменений, известен в экономической теории как метод сравнительной статики».

Артуром Бентли: Arthur F. Bentley, *The Process of Government* (Bloomington: The Principia Press, 1935 [1st ed. 1908]), а также американских теоретиков, на чьи идеи обрушился Дэвид Истон: David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science* (New York: Alfred Knopf, 1953).

Я анализировал теории Блэка в моем курсе лекций о теории государства, которые я читал в Павии в 1953/54 учебном году; позже я был удивлен и обрадован тем, что некоторые из сделанных мной критических замечаний независимо от меня сформулировал Бьюкенен в опубликованной в 1954 году статье «Индивидуальные акты выбора в процессе голосования и на рынке». В это время Бьюкенен занимался общей проблемой сравнения рыночных актов выбора и политического голосования, не в обычном смысле — с точки зрения сравнительной эффективности централизованного и децентрализованного способа принятия решений — а с целью достичь более глубокого понимания поведения индивидов в ходе этих двух процессов. Хотя он не упоминал теорию Блэка и мог быть незнаком с ней в это время, Бьюкенен сумел доказать, что между рыночным выбором и выбором в процессе голосования существуют очень важные различия, так что аналогия популярной поговорки «один доллар, один голос» верна только отчасти. В процессе выбора на рынке индивид одновременно является и выбирающей единицей, и единицей, для которой делается выбор, тогда как в случае голосования (по крайней мере применительно к тому, что мы обычно называем политическим голосованием) индивид является действующей, или выбирающей, единицей, в то время как единицей, для которой делается выбор, является общность всех остальных индивидов. Более того, акт выбора на рынке и его последствия однозначно соответствуют друг другу. В отличие от этого, избиратель никогда не может определенно предсказать, какой из вариантов будет выбран.

Бьюкенен указал на другие фундаментальные различия между этими двумя процессами. Индивид, выбирающий на рынке, «обычно ведет себя так, как если бы все социальные переменные были определены вне пределов его поведения, тогда как индивид на избирательном участке, наоборот, признает, что его голос оказывает влияние на определение финального коллективного выбора». В то же время «поскольку голосование подразумевает коллективный выбор, ответственность за принятие любого общественного или коллективного решения неизбежно разделена, и не существует никакой осязаемой пользы или издержек, которые относились бы непосредственно к избирателю на участке, являясь последствиями его личного выбора». Результатом, вероятно, является менее

четкая и менее объективная оценка альтернативных издержек, чем та, которая происходит в умах индивидов, совершающих выбор на рынке. Следующее, причем крайне важное, различие, которое подчеркнул Бьюкенен, почти так же, как это делал я в упомянутом цикле лекций: «В нормальных условиях возможности рыночного выбора находятся в конфликте между собой только в том смысле, что действует закон убывающей отдачи... Если индивид желает приобрести больше конкретного товара или конкретных услуг, то в норме рынок требует от него только того, чтобы он приобрел меньше другого товара или других услуг». Напротив, «возможности электорального выбора носят исключительный характер», а именно: один выбор исключает другой. Групповые акты выбора, в той степени, в какой они затрагивают индивидуальных членов групп, обычно бывают «взаимно исключаящими друг друга по самой природе вариантов выбора», которые регулярно оказываются (как признал Бьюкенен в 1954 году) типа «всё или ничего». Эта особенность возникает не только в силу скудного набора общепринятых схем, а также немногочисленности схем, потенциально подходящих для распределения электоральных предпочтений, но также оттого (как утверждали в 1954 году Бьюкенен и я), что многие варианты из тех, что мы обычно называем «политическими», не допускают сочетаний или составных решений, которые обеспечивают актам выбора на рынке такую высокую гибкость по сравнению с политическими актами выбора. Важное следствие из этого состоит в том, что голосование долларом на рынке никогда не бывает недействительным. Как писал Мизес, индивид никогда не оказывается в положении члена инакомыслящего меньшинства: «...на рынке не пропадает голос ни одного избирателя»¹, по крайней мере в том, что касается существующих или потенциальных рыночных альтернатив. То же самое можно сформулировать иначе: в процессе голосования есть возможность принуждения, которого не происходит на рынке. Избиратель делает выбор только из предложенных ему вариантов: «Он может потерять свой голос и быть принужден согласиться, — я снова цитирую Бьюкенена, — с результатом, противоположным его выраженным предпочтениям».

¹ Ludwig von Mises, *Human Action* (New Haven: Yale University Press, 1949), p. 271.

Мы видим, что во всех тех случаях, когда избиратели голосуют за проигравшую сторону, между актами выбора индивидуальных избирателей и итоговыми групповыми решениями нет соответствия (в том смысле, в каком мы говорили об этом раньше). Проигравший избиратель сначала делает один выбор, но впоследствии вынужден согласиться с другим, который он отвергал до этого. Его личный процесс принятия решений был разрушен. Верно, что для победившей стороны можно установить соответствие между актами выбора индивидуальных и групповыми решениями, но мы едва ли можем говорить о логичности всего процесса принятия групповых решений в том же смысле, в каком мы можем говорить о логичности процесса принятия решений индивидом. Возможно, можно пойти еще дальше и усомниться в том, есть ли смысл вообще говорить о рациональности процесса голосования, если не иметь в виду просто соблюдения правил, установленных для процедур принятия решений. Иными словами, в этом случае, вероятно, лучше говорить не о процессе, а о процедуре. Когда невозможно выявить последовательный процесс выбора, на худой конец вполне можно удовлетвориться последовательной процедурой. Некоторым ученым попытка сравнить две эти разновидности последовательности казалась столь же лишенной смысла, как попытка установить «действительно ли свинья толще, чем жираф выше»¹.

Другой вывод из сказанного нами заключается в том, что понятие равновесия может использоваться в экономической теории и политической теории только по-разному. В экономической теории равновесие определено как равенство спроса и предложения; это равенство доступно пониманию, когда индивид может сформулировать свой выбор таким образом, чтобы каждый его доллар успешно проголосовал. Но о каком рода равенстве спроса и предложения на законы и постановления можно говорить в политике, где индивид может потерять свой голос, где он может попросить хлеба, а получить камень?

Тем не менее во всех тех случаях, когда вы можете представить, что все члены группы принимают какое-то решение единогласно, все-таки есть возможность использовать термин

¹ Robert A. Dahl and Charles E. Lindblom, *Politics, Economics and Welfare* (New York: Harper and Brothers, 1953), p. 241.

«равновесие» применительно к политике. Как однажды заметил Руссо, сообщество должно быть «единогласно» по крайней мере в том отношении, что все его члены согласны подчиниться правилу большинства. Это означает, что во всех тех случаях, когда имеет место групповое решение, все члены группы убеждены, что плохое решение лучше, чем никакое, или, выражаясь точнее, что коллективное решение, которое один из членов группы считает плохим, лучше, чем никакое. Единогласие не требует никакой специальной процедуры для принятия решения, которое члены группы считают приемлемым. Групповое решение, принятое единогласно, может считаться таким же последовательным, как любое решение, принятое на рынке выбирающим индивидом. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с теми же свиньями, что и экономическая теория, и соответственно имеет смысл задать вопрос: какая свинья толще, «политическая» или «экономическая»? Соображения такого рода могут приводить и, действительно, привели Бьюкенена (в его недавно изданной работе (написанной совместно с Гордоном Таллоком) «Расчет согласия»¹) и меня (в курсе лекций, которые я читал в 1958 году в г. Клэрмонт, штат Калифорния [которые стали книгой «Свобода и закон»]), независимо друг от друга, к выводу об исключительной важности некоторых сходных особенностей экономических и политических решений.

Если мы рассматриваем сообщество как «единогласное» (*unanimous*), как минимум, с той точки зрения, что его члены согласны подчиняться какому-либо большинству или в более общей форме какому-либо правилу, которое не основано на единогласном принятии решений, то на более высоком уровне вновь возникает сходство между такими «единогласными» политическими решениями и экономическими решениями. Прежде чем решать конкретные политические вопросы, люди для начала решают, какими должны быть правила принятия всех политических решений, то есть политической игры.

¹ James M. Buchanan and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962). Комментарии к этой и следующей лекции основаны на более раннем mimeографическом издании, которое было напечатано ограниченным тиражом.

На самом деле, выбор правил политической игры может быть результатом такого же рационального и свободного процесса, как и тот процесс, который приводит к выбору на рынке. На этом более высоком уровне люди могут сравнивать издержки и выгоды, связанные с любыми правилами, которые они выберут для принятия политических решений. Они могут решить, например, что в некоторых случаях некоторые правила будут более пригодными, чем другие, и, в частности, что правила консенсуса или квалифицированного большинства будут больше подходить для обеспечения защиты потенциальных инакомыслящих от потенциальных негативных последствий принудительных действий со стороны принимающего решения большинства.

В этом отношении сравнение между политическим и экономическим действием не ограничивается, однако, уровнем, на котором выбираются общие правила принятия решений. Несомненная заслуга Таллока и Бьюкенена заключается в том, что они расширили сферу своего анализа, включив в нее обычные политические решения, также при условии, что они принимаются в соответствии с процедурными правилами (авторы называют их «конституционными» правилами), которые единогласно одобрили все члены данной политической группы. Особенностью их подхода является признание того, что в рамках существующего политического процесса очень часто происходит торговля голосами (или оказание «взаимных услуг»), а также того, что в определенных условиях торговля голосами должна рассматриваться как выгодная всем членам данной политической группы, точно так же, как основатели экономической теории признали торговлю обычными товарами и услугами выгодной для всех членов общества, в котором принята рыночная система. Более того, условия, при которых торговля голосами может быть выгодна всем членам политического сообщества, похожи на те, при которых выгодна обычная торговля товарами и услугами, то есть на условия, при которых один или несколько членов сообщества не могут создать монополию и вступить в сговор с целью эксплуатации остальных.

«Продавая» свои голоса в ходе длительного и постоянного процесса переговоров до тех пор, пока не будет достигнут консенсус, все члены политической группы имеют много возможных вариантов поведения и способны воспрепятствовать в при-

нятии решений, которые могут нанести ущерб остальным, любой коалиции, состоящей из членов группы. В итоге это должно привести к всеобщей договоренности, похожей на ту, которая делает возможным и эффективным конкурентный рынок. Эта теория может быть представлена и как дескриптивная, и как нормативная, в соответствии с обычными типами современных теорий выбора.

Однако следует задать вопрос, насколько далеко может зайти такой подход в отождествлении, с указанной точки зрения, политических решений с экономическими. Я предлагаю проанализировать здесь пределы концепции, которая допускает торговлю голосами в политике, просто предполагая, что голосование означает исключительно способ обеспечить данному индивиду некую полезность в соответствии с разделяемым им некоторым набором ценностей.

Для начала я хотел бы предложить вернуться к потенциально уязвимому пункту в этом, во всех остальных отношениях изящном и интересном анализе возможного сходства политических и экономических решений. Мне кажется, что в этом анализе, во всяком случае, в том виде, в каком мы можем его наблюдать на нынешней стадии работы его авторов, не хватает точных предварительных определений некоторых основных понятий, которые в нем используются. Проводится различие между «политическим», или «коллективным», выбором, с одной стороны, и «частным», или «добровольным», выбором — с другой. Согласно этой теории, частные акты выбора могут быть как индивидуалистическими, так и кооперативными. В свою очередь, кооперативные акты выбора, с одной стороны, и коллективные акты выбора, с другой стороны, всегда — и это совершенно справедливо — считаются типологически различными, даже если между ними имеется видимое сходство. Однако, если я не ошибаюсь, эта теория не дает удовлетворительно эксплицитного определения «коллективного» действия. Причина этой слабости пронизательного и корректного в других отношениях анализа, вероятно, носит психологический характер. Теория в целом основана на индивидуалистической точке зрения, которую я всячески поддерживаю. Но чем больше авторы стараются подчеркнуть роль добровольного согласия в политическом сообществе и на «конституционном», и на обычном уровне, тем меньше, кажется, они склонны признать открыто — хотя имплицитно они с этим

и согласны — что на индивидуальном уровне «коллективное» решение делает «коллективным», а не просто «кооперативным», то, что коллективное действие, в конечном счете, всегда может быть навязано силой всем членам группы — вне зависимости от отношения конкретного индивида к этому решению в любой данный момент времени. Решения, которые можно навязать силой, — это, в конечном счете, принудительные решения. В то время как принуждение — это то, чего экономистам не нужно учитывать, когда они занимаются добровольным предложением товаров и услуг на рынке, а это также то, чего нельзя не учитывать, переходя от анализа рынка к анализу политической сцены.

В связи с тем, что авторы этой теории отказываются открыто признать важность понятия «принуждение» (что бы оно ни значило) для их анализа политической сферы, они явным образом отрицают и любой подход с точки зрения власти к проблемам, с которыми они сталкиваются при анализе политических решений. Они полагают, что такой подход безнадежно противоречит экономическому подходу. Они согласны с аргументом о том, что в то время как с помощью экономического обмена можно максимизировать полезности для покупателя и продавца на рынке, так чтобы в результате оба получили чистый выигрыш, такого же результата нельзя добиться, если максимизировать индивидуальную власть. Невозможно одновременно максимизировать власть человека, который побеждает в борьбе за власть, и человека, который в ней проигрывает.

Я уже говорил по другому поводу, что это сравнение, хотя оно и принимается как данность некоторыми экономистами, не является вполне корректным. Я бы не сравнивал власть с полезностью. Подобно товарам и услугам, которые берут в расчет экономисты, власть также имеет полезность для соответствующего индивида. Но это не единственное сходство власти с товарами и услугами. В определенном смысле власть можно обменивать так же, как обмениваются товары и услуги. Обмен властью тоже может приводить к максимизации полезностей для индивидов, участвующих в обмене. Если я гарантирую вам власть, которая помешает мне причинить вам вред, при условии, что вы гарантируете мне аналогичную власть, которая помешает вам причинить вред мне, то в результате этого обмена мы оба выигрываем, причем мы оба вы-

игрываем с точки зрения полезности. Иными словами, каждый из нас максимизировал полезность собственной власти. (Похожая максимизация явным образом происходит, когда два или большее число индивидов соглашаются объединить свою власть, чтобы помешать другим людям нанести им какой-либо ущерб.)

Я осмеливаюсь предположить, что политическое сообщество возникает в тот же самый момент тогда, когда происходит такой обмен властью, обмен, который предшествует любому обмену товарами или услугами. Собственно говоря, подход с точки зрения власти никак не новый инструмент специалистов по политическим наукам. Вы найдете его в классической политической литературе, и вся теория Аристотеля может рассматриваться как построенная на этом подходе, поскольку Аристотель в самом начале своего трактата о политике признал, что есть люди, по природе предназначенные властвовать над другими людьми (*arkoi*), и люди, по природе предназначенные, чтобы подчиняться власти других (*arkomenoi*). Теория Аристотеля содержит признание того, что и *arkoi*, и *arkomenoi* извлекают выгоду из сотрудничества, хотя Аристотель не смог ясно осознать того, что любое сотрудничество между *arkoi* и *arkomenoi* всегда подразумевает существование какой-то минимальной власти (по крайней мере негативного типа), которая гарантирована *arkomenoi* в качестве своего рода компенсации более явной и более позитивной власти, которая гарантирована *arkoi*.

Такой взгляд на проблему, вероятно, совсем не исключает экономического подхода. Он объединил бы его с тем подходом (подходом с точки зрения власти), который, как представляется, все в большей степени используют современные специалисты в области политических наук.

Однако, если я не ошибаюсь, для концепции, которая допускает торговлю голосами в политике, явно утверждая, что голосование означает просто способ обеспечить некоторые полезности для участвующих в нем индивидов, а также подразумевает, что эти полезности относятся к тому же типу, что и полезности, с которыми индивиды имеют дело на рынке, существуют некоторые ограничения.

1. Как мы видели, авторы этой теории не утверждают, что торговля голосами будет выгодна абсолютно во всех случаях. Они настаивают на условиях, соответствующим правилам Парето,

при которых такая торговля могла бы быть действительно выгодна для всех ее участников, а именно, на условиях, в которых один или несколько членов сообщества не могут создать монополию или вступить в сговор с целью удовлетворения своих «коварных желаний» за счет некоторых или всех остальных.

Однако список условий, которые мы должны учитывать, не исчерпывается этими ограничивающими условиями. Начнем с того, что существует стадия, на которой торговля голосами не имеет никакого смысла, а именно — конституционная стадия. По мнению авторов теории, именно в этот момент решается, какие правила больше всего подходят для того, чтобы успешно принимать любые решения, включая те, которые достигаются посредством переговоров того типа, который приводит к торговле голосами. Причина, по которой торговля голосами на этой стадии не имеет никакого смысла, состоит не только в том, что в данный момент еще не существует никаких процедурных правил, в соответствии с которыми можно голосовать. Есть одна еще более важная причина. Процесс установления правил — это теоретический процесс. Конечно, существуют полезные способы установления таких правил, но вы не можете обменивать их полезности, как если бы они принадлежали исключительно вам, на полезности других способов установления тех же правил, как если бы те, другие, полезности принадлежали исключительно другим людям. Нет смысла торговаться, когда речь идет о том, чему равняется $2+2$ и чему равен квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника в Евклидовой геометрии.

Если сформулировать это в более общих терминах, то можно сказать, что в тех случаях, когда встает вопрос о том, чтобы пренебречь суждением об истинности в отношении какой бы то ни было темы, в торговле или переговорах отсутствует рациональность. Аргументы, которые приводят к правильному выводу, не продаются.

В то время как авторы этой теории предполагают, по крайней мере неявно, что на конституционной стадии не может происходить разумной торговли голосами, они, как представляется, пренебрегают возможностью того, что на стадии более низкой, чем конституционная, голосование могло бы быть процессом, в ходе которого члены политического сообщества, как предполагается, высказывают суждения об истинности, вне зависимости от их личной заинтересованности в пред-

мете. Если это так, то переговоры и торговля голосами были бы так же иррациональны на этой стадии, как и на конституционной.

Мы вполне можем представить себе вопросы, по которым от избирателей могут потребовать суждений об истинности, вне зависимости от их личной заинтересованности. Если предположить, например, что суд присяжных — это политический институт и, соответственно, голосуя, его члены принимают политическое решение, никто бы не утверждал, что они действовали бы рационально, продавая свои голоса другим присяжным в соответствии с какой-либо калькуляцией их индивидуальных полезностей. Конечно, можно представить себе коррумпированных заседателей, которые получили взятку от людей, заинтересованных в их решении. Такую торговлю голосами можно назвать «рациональной», хотя и достойной всяческого осуждения с этической точки зрения. Но если мы исходим из предположения, что заседатели неподкупны, то ситуация меняется, и в этом случае торговля голосами будет просто выглядеть иррационально с любой точки зрения. Похожие аргументы относятся к любым другим суждениям об истинности, которые члены политического сообщества высказывают в ходе процесса голосования.

Правда, авторы теории могут возразить, сказав, вполне резонно, что голосование — это неподходящая процедура для достижения правильных выводов, имеющих отношение к какой-либо объективной истине и в силу этого такие попытки в сфере политики рискуют оказаться чистой иллюзией. Тем не менее имеются случаи, когда суждения об истинности, высказываемые избирателями, полезны, чтобы узнать их мнение о данном политическом вопросе, если оно у них есть. В этих случаях процедура голосования может быть самым подходящим способом точно установить, в чем состоят эти мнения, независимо от того, что в свете каких-либо научных испытаний они могут быть истинными или ложными. Очевидно, что в таких случаях торговли голосами не будет.

2. Вероятно, является разумным подозрение, что применимость модели торговли голосами ограничена в тех случаях, когда возникают такие различия между выбором индивида на избирательном участке и выбором индивида на конкурентном рынке, которые достаточно бросаются в глаза, чтобы заставить нас пренебречь имеющимся сходством. Например, (а) как уже

упоминалось, в отношении процесса выбора посредством голосования существует гораздо больше неопределенности и гораздо меньше информации о связанных с этим выгодах и издержках, чем в отношении процесса купли-продажи на рынке, и это делает торговлю голосами гораздо более сложным занятием, чем торговлю товарами и услугами на рынке. Более того, (б) торговля голосами представляется неизбежно менее выгодной, чем обычная торговля на рынке, потому что избиратель несет гораздо меньше ответственности за свой выбор, чем любой участник рынка. В то время как неуспешные участники вытесняются с рынка, а на их место приходят те, кто лучше их, ничего такого не происходит на политической сцене, с которой никогда не сходят избиратели, а новым, потенциально более успешным избирателям не разрешают занять их места, как это делают успешные участники рынка. На это можно возразить, что в ходе политического процесса неуспешные избиратели могут быть вынуждены покинуть политическую сцену в качестве избирателей в тех случаях, когда они позволяют тирану положить конец демократии. Однако этот довод не только не является убедительным доказательством сходства неуспешных избирателей, с одной стороны, и неуспешных участников рынка — с другой, но и заставляет нас признать важные различия между ними. В случае с неуспешными избирателями и тираном абсолютно все избиратели должны покинуть политическую сцену в качестве избирателей, в том числе потенциально успешные; итоговая ситуация — это не результат отбора самых лучших избирателей, а окончательное разрушение политического сообщества, основанного на системе голосования. (в) Похожее ограничение применимости модели торговли голосами, вероятно, возникает там, где варианты выбора в политике в большей степени исключают друг друга, чем те, которые предлагаются индивидам на рынке. Торговлю голосами в ситуации двух исключających друг друга вариантов можно сравнить с торговлей товарами и услугами в ситуации, когда на рынке доминирует олигополия или олигосония, то есть когда вероятность формирования рыночных цен ниже, чем в ситуации нормальной конкуренции. Наконец, (г) следует заметить, что в то время как отмеченные нами неудобства возникают при любых правилах меньшинства или большинства, связь между коллективным действием, предпринятым в условиях правила единогласия, с одной стороны, и чисто доброволь-

ным действием, таким, какие происходят на рынке, с другой стороны, не является настолько тесной, как это, вероятно, представляется авторам теории. В условиях консенсуса, избирателя, чье согласие необходимо всем остальным избирателям для принятия группового решения, только до известной степени можно сравнивать с индивидом, чье согласие необходимо другим людям, которые хотели бы купить у него товары и услуги на рынке или продать их ему. Ни того, ни другого не заставляют подчиниться решениям других людей без его согласия. Однако для существования конкурентного рынка это согласие определенно является необходимым, хотя и не достаточным условием.

На самом деле, в условиях правила единогласия избиратель находится в положении, сильно напоминающем положение дискриминирующего монополиста, который в состоянии оценить всю выгоду от обмена принадлежащих ему товаров или услуг и поэтому может приобрести весь, или почти весь, так называемый потребительский излишек. Теории, пытающейся обеспечить условия конкурентного рынка в политике, не следует пренебрегать этим явлением, которое иногда несправедливо называли потенциалом «шантажа» со стороны инакомыслящего избирателя. В тех случаях, когда в группе из 100 избирателей 99 выступают за данное решение, а один выступает против, стремление последнего не просто получить компенсацию за отказ от своего мнения, но получить от своих 99 сограждан-избирателей больше, чем компенсацию, — то есть чистую выгоду для себя — является абсолютно рациональным поведением с точки зрения той самой теории, которую мы обсуждаем. Если это происходит, то правило Парето может соблюдаться, однако положение избирателей нельзя сравнивать с положением индивидов на конкурентном рынке. Можно возразить, что в условиях правила единогласия любой избиратель может быть заинтересован дать согласие остальным 99 в обмен на маленькую выгоду, а не рисковать потерять эту выгоду, если остальные 99 избирателей решат, что цена, которую самый последний просит за свое согласие, слишком высока. Но это не влияет на то, что у инакомыслящего избирателя условия для торговли гораздо лучше, чем у остальных 99, — его вполне можно сравнить с монополистом, продающим одни и те же товары по разным ценам. Конечно, дискриминирующие монополии встречаются не только в сфере

политических решений, но и на рынке. Но если на рынке, по крайней мере в долгосрочной перспективе, по мере того, как издержки и цены становятся эквивалентными, их роль уменьшается, то надеяться на это в случае групповых решений в условиях правила единогласия бессмысленно.

Сами авторы допускают, что их теория, возможно, предлагает только частичное объяснение процесса голосования в политике. Соответственно, нормативная ценность их теории ограничена. Если я не ошибаюсь, и для экономистов, и для специалистов по политическим наукам, вероятно, было бы полезно более корректное исследование границ применимости этого интересного экономического подхода к политике, чтобы достичь более глубокого понимания соответствующих дисциплин.

Глава 4

ГОЛОСОВАНИЕ VS. РЫНОК

В предыдущей лекции мы видели, что, несмотря на многие черты сходства, которые могут иметься между избирателями, с одной стороны, и участниками рынка — с другой, действия этих двух групп людей далеки от того, чтобы быть похожими друг на друга. Как представляется, ни одно процедурное правило не способно позволить избирателям действовать так же гибко, самостоятельно, последовательно и эффективно, как действуют участники рынка, совершая индивидуальные акты выбора. Верно, что и голосование, и операции на рынке являются действиями индивида, однако приходится признать, что голосование — это такой тип индивидуального действия, который в процессе осуществления испытывает почти неизбежные искажения.

«Законодательство», если рассматривать его как результат коллективного решения, принятого группой, — даже если в нем участвуют все заинтересованные граждане, как в прямых демократиях древних эпох и в некоторых маленьких демократических сообществах Средних веков и Нового времени — представляется такого рода процессом создания закона, который совсем не похож на рыночный процесс. С участниками рынка можно сравнивать только избирателей, принадлежащих к победившему большинству (если решение принимается большинством). Людей, принадлежащих к проигравшему меньшинству, нельзя сравнивать даже с самыми слабыми участниками рынка, которые, по крайней мере при условии делимости благ (которое обычно выполняется в реальности), всегда могут найти что-нибудь, что они могут выбрать и получить, если заплатят запрошенную за это цену. Законодательство — это результат решения типа «всё или ничего». Либо вы выигрываете и получаете в точности то, чего вы хотите, либо вы проигрываете и получаете ровным счетом ничего. Даже хуже, вы получаете что-то, чего вы не хотите, и вы должны заплатить за это точно так же, как в том случае, если бы вы этого хотели. В этом смысле по результатам голосования победители и проигравшие

похожи на победителей и проигравших на поле боя. Вероятно, голосование — это не столько воспроизведение рыночной сделки, сколько символ борьбы на поле сражения. Если мы внимательно посмотрим на голосование, то увидим, что в нем нет никакой «рациональности», которую можно было бы сравнить с рациональностью на рынке. Конечно, голосованию могут предшествовать дискуссия и переговоры, которые могут быть рациональными в том же самом смысле, что и любые действия участников рынка. Но во всех случаях, когда в конце концов происходит голосование, вы больше не спорите и не торгуетесь. Вы оказываетесь на другом уровне. Вы собираете голоса так же, как вы собирали бы камешки или ракушки — я имею в виду то, что вы выигрываете не потому, что ваши аргументы основательнее, чем у других, и не потому, что их больше, а исключительно потому, что у вас больше голосов в количественном отношении. В ходе этого процесса у вас нет ни партнеров, ни собеседников — только союзники и враги. Разумеется, ваши собственные действия, так же как и действия ваших союзников и врагов, еще могут считаться рациональными, но конечный результат невозможно объяснить, тщательно исследуя и комбинируя ваши мотивы и мотивы тех людей, которые против них голосовали. Вполне естественно, что политический язык отражает этот аспект голосования. Политики охотно говорят о начале «кампании», о «сражениях» на избирательном поле, о борьбе с «врагами» и т.п. На рынке обычно так не говорят. У этого есть очевидная причина: *в то время как на рынке спрос и предложение не просто совместимы друг с другом, но и дополняют друг друга, в политической сфере, к которой относится законодательство, выбор победителей, с одной стороны, и выбор проигравших — с другой, не дополняют друг друга и даже не являются совместимыми.* Удивительно наблюдать, насколько эта простая — и, я бы даже сказал, очевидная — черта групповых решений (и в особенности голосования, которое является обычной процедурой их принятия) выпадает из поля зрения и теоретиков, и обычных людей. Голосование, и в особенности принятие решений большинством голосов, часто рассматривается как *рациональная* процедура не только в том смысле, что оно дает возможность принять решение при отсутствии консенсуса среди членов группы, но также и потому, что оно представляется наиболее логичной процедурой в данных обстоятельствах.

Люди действительно обычно считают, что идеальным было бы единогласное решение. Но поскольку консенсус внутри группы случается редко, они чувствуют себя уполномоченными сделать вывод о том, что лучший вариант из оставшихся — принимать решения большинством голосов; при этом подразумевается, что принятые таким образом решения не только более целесообразны, но и более логичны, чем любые другие.

По другому поводу мне уже приходилось анализировать позицию Энтони Доунса в защиту правила большинства¹. Я считаю, что аргументацию Доунса стоит рассмотреть еще раз, поскольку она резюмирует все известные мне из политической литературы доводы в поддержку правила большинства.

По мнению Энтони Доунса, «главные аргументы в пользу правила простого большинства голосов вытекают из посылки о том, что голоса всех избирателей должны иметь одинаковый вес. Поэтому, если имеются разногласия, но принятие решения нельзя отложить до момента достижения консенсуса, *лучше, когда большинство избирателей говорит меньшинству, что следует делать, чем наоборот*. Единственный практический способ добиться этого — правило простого большинства. Любое правило, которое требует для принятия закона чего-либо большего, чем простое большинство, позволяет меньшинству помешать действиям большинства и тем самым придает голосу каждого члена меньшинства *больше веса*, чем имеет голос каждого члена большинства»².

Продолжим наше любимое сравнение голосования с действиями на рынке: этот довод означает, что в условиях рынка мы должны дать каждому по доллару, чтобы у всех была равная покупательная способность. Но если отнестись к нашей аналогии внимательнее, то становится очевидно: предполагая, что 51 избиратель из 100 «политически» равен 100 избирателям, а остальные 49 (голосовавших против) избирателей «политически» равны нулю (а именно это происходит,

¹ См.: Bruno Leoni, “Political Decisions and Majority Rule,” *Il Politico*, Vol. XXV, No. 4, 1960, pp. 724–733.

² Anthony Downs, *In Defense of Majority Voting* (Chicago: University of Chicago, 1960). (мимеографическое издание, критический отзыв на статью: Gordon Tullock, “Some Problems of Majority Voting”. Статья Таллока представляла собой ранний вариант главы 10 в его книге *The Calculus of Consent*).

когда групповое решение принимается большинством голосов), мы придаем гораздо больше «веса» каждому избирателю, находящемуся на стороне победивших 51, чем каждому избирателю, находящемуся на стороне проигравших 49. Было бы корректнее сравнивать эту ситуацию с такой ситуацией на рынке, когда 51 человек, каждый из которых имеет 1 доллар, складывается, чтобы купить какой-то прибор за 51 доллар, в то время как другие 49 человек, имеющие каждый по доллару, остаются ни с чем, потому что в продаже был только один такой прибор. То, что мы, вероятно, не можем предвидеть, кто войдет в состав большинства, не слишком меняет общую картину.

Совершенно очевидно, что некоторые исторические причины сыграли очень важную роль в том, чтобы помешать людям задуматься над противоречиями доктрины, которая провозгласила равенство политических возможностей для всех, одновременно лишив людей этого равенства с помощью правила большинства. Сторонники правила большинства обычно воспринимали его как единственно возможное средство противостоять неограниченной власти олигархии и тиранов над большими массами людей. «Вес», который имела воля или «идеальное голосование» тиранов в тех политических обществах, где они господствовали, казался настолько доминирующим по сравнению с волей всех остальных индивидов в таких обществах, что использование правила большинства представлялось единственным подходящим способом восстановить равенство «весов» всех индивидов. Мало кто заботился о том, чтобы выяснить, не перевесит ли другая чаша весов. Эта общая установка очень откровенно выражена, например, в письме Томаса Джефферсона Александру фон Гумбольдту от 13 июня 1817 года: «Первый принцип республиканской идеологии состоит в том, что *lex majoris partis* (закон большинства) — это фундаментальный закон любого общества, в котором индивиды имеют равные права: считать волю общества, выраженную большинством в один голос, столь же священной, как и в случае единогласия, — это первый и самый важный из всех уроков, однако он как следует усваивается самым последним. Если нарушить этот закон хотя бы однажды, то остается только закон силы, который неизбежно приводит к военному деспотизму. Такова была история Французской революции; и я желал бы нашим южным братьям

в достаточной степени осознавать это и ясно видеть, что их судьба зависит от соблюдения этого священного закона [так пророчески добавляет Джефферсон]»¹.

Только во второй половине прошлого века некоторые выдающиеся ученые и государственные деятели начали осознавать, что в числе 51 магии не больше, чем в числе 49. Например, французские «гарантисты», точно так же, как некоторые знаменитые английские мыслители, без колебаний выражали свое негативное отношение к неограниченному применению правила большинства для принятия политических решений и к лежащей в основе такой практики идее, которую Герберт Спенсер в 1884 году заклеил как предрассудок, иронически назвав ее «божественным правом большинства»².

Но вернемся к изложению Доунсом главных доводов в защиту правила большинства. «Если имеются разногласия, но принятие решения нельзя отложить до момента достижения консенсуса, лучше, когда большинство избирателей говорит меньшинству, что следует делать, чем наоборот. Единственный практический способ добиться этого — это просто правило большинства».

Мы можем согласиться, что гипотетические обстоятельства, на которые ссылается Доунс, «срочность решения» и «отсутствие консенсуса», могут более или менее часто иметь место во всех политических обществах. Однако и срочная необходимость принять решение, и отсутствие консенсуса могут, так сказать, быть созданы *искусственно* теми людьми, положение которых позволяет им принудить всех остальных членов политического сообщества принять какое-нибудь групповое решение вместо того, чтобы не принимать никакого. Я предлагаю вернуться к этому вопросу. Я хотел бы только подчеркнуть: даже если предположить, что применительно к данному решению и срочность, и разногласия действительно имеют место, все равно просто утверждать, как это делает Доунс, что «лучше,

¹ *The Writings of Thomas Jefferson*, vol. 15, Editor in Chief, Andrew A. Lipscomb (Washington, D.C.: The Thomas Jefferson Memorial Association of the United States, 1904), p. 127.

² См.: "The Great Political Superstition," *The Man Versus the State*, Herbert Spencer (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 1981), p. 129. [Спенсер Г. Личность и государство. Челябинск: Социум, 2007. С. 147.]

когда большинство избирателей говорит меньшинству, что следует делать, чем наоборот», это совершенно ложный вывод из данных посылок. Действительно, легко можно представить ситуацию, в которой только несколько человек обладают знаниями, необходимыми для того, чтобы принять данное решение, и в которых, соответственно, будет значительно менее разумно, если большинство избирателей скажет меньшинству, что они должны делать, чем наоборот.

Конечно, убежденные сторонники правила большинства, не ограниченного никакими условиями, могут возразить, что они выводят свое заключение не столько из гипотезы срочности и отсутствия консенсуса, сколько из неявной гипотезы равенства знаний, или даже равного невежества со стороны избирателей по отношению к рассматриваемым вопросам. Однако последняя гипотеза представляется не очень реалистичной, особенно в современных высокодифференцированных обществах. Тот же автор в другом месте признает, что «специализация создает группы меньшинства, чьи объективные интересы [и, я добавил бы, соответствующие им знания] сильно различаются». Таким образом, реальным основанием этой концепции все-таки является знаменитое представление о «равном весе» всех избирателей, или, выражаясь точнее, двусмысленное использование этого скользкого понятия.

Есть еще один тезис, изложенный Доунсом, который следует рассмотреть. «Любое правило, — утверждает он, — которое требует для принятия закона чего-либо большего, чем простое большинство, позволяет меньшинству помешать действиям большинства и тем самым придает голосу каждого члена меньшинства *больше веса*, чем имеет голос каждого члена большинства».

Давайте сначала проанализируем финальную часть этого утверждения. Кажется несомненным, что если используется правило квалифицированного большинства, то число голосов победителей, необходимое для группы из 100 избирателей, составит не 51, а, скажем, 60 или 70, а число избирателей проигравшего меньшинства будет не 49, а 40 или 30. Но это не означает, что голосу каждого члена меньшинства теперь придается «больше веса», чем голосу каждого члена большинства. На самом деле, в множестве из 100 избирателей те, кто выиграл, принадлежащие к подмножеству из 60 или 70 членов, по-прежнему имеют больше веса, чем каждый из того подмноже-

ства избирателей, в которое входят 40 или 30 членов. В этом новом примере 60 или 70 избирателей считаются «политически» равными 100, в то время как остальные 30 или 40 считаются «политически» равными 0.

Единственное различие между новым и старым примером состоит в том, что если «магическое» число равно 60 или 70, то *абстрактно* каждый избиратель имеет меньше вероятности войти в подмножество проигравших, чем в примере, когда магическое число было равно 51. Но было бы неправильно выводить из этой посылки заключение о том, что «в силу этого» каждому избирателю из подмножества проигравших в новом примере придается больше веса, чем каждому избирателю из подмножества выигравших.

Теперь мы должны проанализировать первую часть утверждения Доунса.

Как мы видели, Доунс говорит о любом правиле, которое требует для принятия политического решения чего-либо большего, чем простое большинство, что оно позволяет меньшинству воспрепятствовать действиям большинства, вероятно, подразумевая также, что такое «воспрепятствование» всегда нежелательно в соответствии с принципом равного веса всех избирателей.

Однако очевидно, что «воспрепятствование» бывает разного типа, и перед тем, как делать какие-либо выводы, вероятно, необходимо более тщательно проанализировать это понятие.

В связи с этим было бы полезно вспомнить пример, который в начале нашего века привел в своей книге выдающийся американский ученый Лоуренс Лоуэлл, имя которого в наше время несправедливо забыто, в увлекательной книге «Общественное мнение и народное правительство»¹. Я обращался к этому примеру по другому поводу, но он кажется мне настолько удачным, что я хотел бы вновь вернуться к нему. Банда грабителей, писал Лоуренс Лоуэлл, не составляет «большинства», когда она подстерегает одинокого путника в пустынном месте и лишает его кошелька. Точно так же нельзя назвать ограбленного «меньшинством». В США, как и в других странах, существуют конституционные гарантии и, конечно же, уголовный

¹ A. Lawrence Lowell, *Public Opinion and Popular Government* (New York: Longmans, Green, & Co., 1913).

кодекс, которые направлены на то, чтобы предотвращать создание такого «большинства». Я должен признать, что в наше время многие коалиции большинства часто имеют много общего с тем специфическим «большинством», которое описал Лоуренс Лоуэлл. Несмотря на это, все еще возможно и, я сказал бы, очень важно отличать парадоксальное «большинство» описанного Лоуэллом типа от «большинства» в более ортодоксальном смысле. Лоуэлловское большинство запрещено во всех эффективно организованных обществах по той простой причине, что на практике каждый член этих обществ хочет, чтобы у него была возможность воспрепятствовать по крайней мере некоторым действиям со стороны любого большинства. Довод Доунса, что в этих случаях каждый избиратель меньшинства имеет больше веса, чем каждый избиратель большинства, не произвел бы ни на кого особого впечатления, даже если предположить, что он был бы справедлив.

Утверждаем ли мы, таким образом, что те случаи, в которых каждый индивид хочет сохранить возможность воспрепятствовать большинству, вне зависимости от его размера, совершать действия типа убийства и грабежа, очень похожи на другие случаи, в которых капризный или испорченный диссидент мог бы воспрепятствовать согражданам достичь каких-нибудь невинных и полезных целей? Кажется очевидным, что слово «воспрепятствовать» в каждом из этих случаев имеет разное значение и что было бы правильно провести различие между этими случаями до того, как мы придем к общему выводу относительно применимости правила большинства. Иными словами, даже если бы мы признали справедливость довода о «равенстве веса», мы должны были бы согласиться с необходимостью дополнительных уточнений, которые раскрывают непреодолимую ограниченность самой аргументации Доунса.

Есть еще один довод в пользу правила простого большинства, который следует рассмотреть. Как мы видели, Доунс не просто возражает против применения других правил, потому что они противоречат «равенству веса», но и довольно решительно утверждает, что «единственный практический способ» позволить большинству избирателей сказать меньшинству, что им делать, — это «правило простого большинства». Таким образом, если воспользоваться любым другим правилом (квалифицированного) большинства, то мень-

шинство будет в состоянии воспрепятствовать большинству сказать меньшинству, что ему делать. Или, другими словами, меньшинство скажет большинству, что большинство *не должно* говорить. К несчастью для сторонников неограниченного правила большинства, этот довод в пользу простого большинства является ничуть не более корректным, чем предыдущие.

Правило простого большинства не препятствует сильным и организованным меньшинствам говорить всем остальным членам политического сообщества, что им делать. Итальянская теория элит, представленная Гаэтано Моска, Вильфредо Парето и в известной степени Роберто Микельсом, всегда активно подчеркивала такую возможность. В недавно изданной книге «Расчет Согласия» (*The Calculus of Consent*) Джон Бьюкенен и Гордон Таллок, пытаясь отвергнуть теорию элит, бессознательно использовали ее при анализе торговли голосами как практического феномена, имеющего место в современных представительных демократиях.

Если я не ошибаюсь, Бьюкенену и Таллоку удалось представить неопровержимое доказательство того, что в тех случаях, когда меньшинство хорошо организовано и готово подкупить столько избирателей, сколько необходимо для того, чтобы получить большинство, которое примет желательное ему решение, правило большинства гораздо в большей степени работает на такое меньшинство, чем это обычно считалось. Если, например, только 10 избирателей из 100 получают всю выгоду в 100 долларов от решения группы, издержки которого в 100 долларов поровну распределяются между всеми членами группы, то эти десять избирателей могут быть заинтересованы в том, чтобы подкупить еще 41 человека — по меньшей мере, возместив им индивидуальные издержки этого решения, то есть по одному доллару на каждого. В результате 41 человек из большинства покроет свои расходы, 40 человек из официального меньшинства заплатят каждый по доллару, не получив никакой выгоды от решения, а каждый из настоящих победителей получит от решения группы по 10 долларов выгоды при издержках 5,1 доллара.

Разумеется, правило может сработать противоположным образом, когда в следующий раз проигравшие 40 объединятся и подкупят по крайней мере двоих членов большинства, чтобы превратить его в меньшинство и оставить 10 хитрецов

с пустыми руками. Однако очевидно, что правило простого большинства может на практике в обоих случаях работать в пользу меньшинства.

Действительно, никто не может утверждать, что правило простого большинства — это единственное правило, кроме правил меньшинства, которое может работать в пользу меньшинств. Все остальные правила большинства могут работать в пользу некоторых меньшинств, если выгода от решения группы в достаточной степени локальна, а издержки в достаточной степени распределены, чтобы стимулировать хитрое меньшинство подкупить столько избирателей, сколько необходимо для того, чтобы сформировать большинство, предписанное действующим правилом. Однако издержки подкупа увеличиваются по мере увеличения числа избирателей, достаточного для формирования предписанного меньшинства. Вполне может случиться так, что издержки, связанные с процессом подкупа возрастающего числа избирателей, предотвратят попытки любого хитрого меньшинства максимизировать свои полезности за счет своих собратьев-избирателей или их части. Возможный вывод состоит в том, что правило простого большинства препятствует упомянутым меньшинствам меньше, чем другие правила большинства. Это звучит совсем не так, как утверждение, которое мы рассматривали до сих пор, а именно, что правило простого большинства было бы «единственным практическим способом» позволить «большинству избирателей сказать меньшинству, что им делать».

Одна из интересных возможностей, на которую также указывают Бьюкенен и Таллок в своем анализе возможных вариантов функционирования правила большинства, состоит в том, что новые максимизирующие меньшинства постоянно пытаются подкупить других избирателей, изначально равнодушных к данному вопросу, чтобы создать новое эфемерное «большинство» за счет менее информированных, менее хитрых или более беспечных меньшинств. Другой интересный возможный результат, на который указывают те же авторы, — что диспропорция между выгодами и издержками для максимизирующих меньшинств побуждает их пренебрегать возможностями минимизации общих издержек группового решения, которое они продвигают в собственных интересах.

Общую ситуацию можно назвать, как я делал по другому поводу, законодательной войной всех против всех или, если вос-

пользоваться знаменитым выражением выдающегося французского экономиста и политического теоретика Фредерика Бастиа, громадной фикцией государства, «посредством которой все стараются жить за счет всех»¹.

Постоянное чрезмерное инвестирование обычно происходит в политическом сообществе всякий раз, когда правила принятия решений таковы, что они стимулируют меньшинство хитрых максимизаторов получить что-то, не потратив ничего и предоставив меньшинству менее хитрых жертв оплачивать счет. Тем не менее Энтони Доунс попытался защитить правило простого большинства от обвинений в том, что оно благоприятствует инициативам максимизирующего меньшинства в ущерб другим членам группы. В своей работе, посвященной анализу статьи Таллока, которая в основных чертах воспроизведена в новой книге Таллока и Бьюкенена, Доунс делает уже упомянутое замечание о том, что все типы правил квалифицированного большинства могут работать примерно так же, как правило простого большинства, поощряя хитрые меньшинства максимизировать собственные прибыли за счет других избирателей. На самом деле, Доунс вынужден признать, что вышеупомянутая критика касается и правила простого большинства. Но он, как представляется, совершенно пренебрегает тем, что, как подчеркивают Таллок и Бьюкенен, правила квалифицированного большинства, вероятно, в большей степени, чем правило простого большинства, препятствуют разного рода хитрым максимизирующим меньшинствам.

Также Доунс пытается защитить правило простого большинства и другие правила (квалифицированного) большинства от обвинения в том, что они обычно приводят к чрезмерным инвестициям посредством серии групповых решений, принятых эфемерным и меняющимся большинством. Он признает, что в реальном мире имеют место «взаимные услуги», но предполагает, что если бы издержки решений, принимаемых политическими сообществами, основанными на избранных народом представителях, действительно превышали бы выгоды, то эти представители были бы вынуждены раскрыть

¹ Frédéric Bastiat, *Selected Essays on Political Economy* (New York: D. Van Nostrand Co., 1964), p. 144. [Бастиа Ф. Государство // Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. Челябинск: Социум, 2006. С. 91.]

негативные результаты торговли голосами в конце срока действия полномочий законодателей. Это вызвало бы возмущение народа, который наказал бы их, назначив других представителей.

Однако этот довод представляется не очень убедительным. Одна из особенностей политической игры состоит в том, что в современных политических обществах «взаимные услуги» начинаются до стадии законодательных собраний. В реальности они начинаются в избирательных округах, когда избиратели в округах соглашаются на какие-то вредные (для них) требования какой-либо политической программы, чтобы получить выгоду от других, полезных для них, требований. Они могут рассматривать в качестве вредной в том числе и возможность того, что «взаимные услуги», которыми их представитель займется в парламенте, приведут к чистому убытку для них в какой-либо конкретный момент. Этот момент может совпасть или не совпасть с тем моментом, когда их представитель по истечении срока действия своих полномочий будет отчитываться перед своими избирателями о проделанной работе. Но даже если они совпадут, их представитель сможет утверждать, что, если его переизберут, у него появятся возможности исправить нынешнюю ситуацию посредством более удачных «взаимных услуг», которые он будет предоставлять в интересах избирателей. Поскольку политическая игра не имеет конца, у избирателей нет никакого мотива отправить в отставку представителя, который всегда может утверждать, что в какой-то конкретный момент или несколько таких моментов результаты его «взаимных услуг» были выгодны его избирателям, и который может также доказывать, что такую же или даже большую выгоду им принесло бы продолжение той же практики «взаимных услуг» в законодательном собрании следующего созыва.

Доунс пытается, тем не менее, выдвинуть другой аргумент в пользу своего тезиса. Он соглашается, что, если избиратели не в курсе некоторых издержек, связанных с серией групповых решений, они могут проголосовать за программу, которой предусматривается слишком большой государственный бюджет. Однако, по мнению Доунса, если мы вводим в наши рассуждения фактор незнания, то избиратели также могут быть не в курсе некоторых выгод, которые они получают, и такая ситуация может породить и государственный бюджет, который чересчур мал, а не только такой, который чересчур велик.

Мне кажется, что этот аргумент еще менее убедителен, чем предыдущий. Мы исходили из относительно реалистического предположения, что хитрое меньшинство лучше, чем избиратели, знает, каковы будут для него издержки и выгоды решения, принятия которого всей группой оно добивается, несмотря на возможное чрезмерное инвестирование, которого это решение требует от группы. Если такое решение пройдет, оно пройдет только потому, что оплачивать счет будут другие избиратели — что означает, что они беспечны, хуже организованы или не знают о реальных последствиях этого решения для них. Тем самым одной из причин, по которой происходит чрезмерное инвестирование, хотя и не единственной, может быть незнание. Но давайте представим себе, что незнание (со стороны проигравших избирателей) — это *единственная* причина. Доунс возражает, что незнание также может породить «слишком» маленький государственный бюджет. Однако это совершенно иной случай, который не имеет практически ничего общего с только что рассмотренным нами случаем чрезмерного инвестирования. Возражения Доунса можно было бы принять, только если бы мы могли предположить, что просто из-за невежества избирателей, оплачивающих стоимость решения, которого добилось хитрое меньшинство, выгоды для группы от этого решения могут быть не только меньше, но и больше издержек. Но это подразумевало бы, что инвестирование — разновидность азартной игры, в которой рациональные и хорошо информированные участники имеют не больше шансов на успех, чем иррациональные или невежественные. Если бы невежество могло случайным образом приводить к таким же благоприятным результатам, что и наличие информации, то экономическая активность была бы явно не такой, какая она есть. В мире, в котором мы живем, предположение, что невежество может оплачиваться так же, как информация, не кажется подходящим объяснением человеческих действий — не только в сфере экономики, но и в других сферах. В отличие от этого разумно предположить, что меньшинство, которое продвигает решение группы ради собственной выгоды, знает, что оно делает, лучше, чем другие члены группы. У членов меньшинства есть четкое представление о том, чего они хотят, и о возможных результатах, которые принесет им решение группы. Они могут также хорошо знать, что выгоды от решения для других членов группы будут меньше, чем издержки. Но они могут этим

пренебречь. Весьма вероятно, что конечным результатом будут инвестиции, которые обойдутся гораздо дороже, чем они стоили бы в других условиях.

Мы видели, что правило простого большинства — это не единственное правило, которое может вызвать такие последствия. *Подобные результаты может иметь любой другой вид правила (квалифицированного) большинства.* Мы также видели, тем не менее, что правила квалифицированного большинства могут в большей степени, чем правило простого большинства, воспрепятствовать попыткам максимизирующих меньшинств навязать свою волю всей группе с помощью хорошо известной процедуры «взаимных услуг». В этот момент может показаться, что чем больше вы увеличиваете большинство, необходимое для принятия группового решения, тем больше вы защищаете инакомыслящие меньшинства от хорошо организованных максимизирующих элит. Однако это не так. Как показали в своей работе Бьюкенен и Таллок, в случае, когда правило квалифицированного большинства приблизительно равно правилу единогласия, издержки достижения договоренности между членами группы стремятся к резкому росту. Иными словами, каждый избиратель склонен считать свое согласие очень ценным, когда он знает, что число необходимых для принятия решения голосов является очень высоким. Если другие избиратели желают его согласия, он может впасть в соблазн поступить таким же образом, как дискриминационный монополист, чтобы получить преимущества от сделки полностью.

Ситуация, которая до известной степени является аналогом того, что происходит с хитрым меньшинством в условиях простого большинства, возникает и при квалифицированном большинстве или единогласии. Могут возникнуть новые максимизирующие меньшинства — не для того, чтобы максимально дешево скупить голоса других людей, а просто чтобы максимально дорого продать свои собственные голоса тем избирателям, которые хотят, чтобы решение было принято при существующих правилах, то есть при правиле высококвалифицированного большинства. Правило единогласия просто приведет к обострению этой черты, и это причина, по которой оно так редко используется — из-за высоких или даже запретительных издержек, которые оно может подразумевать для всех тех, кто стремится к принятию решения в соответствии с этим правилом.

Если теперь вернуться к понятию «равенства веса» избирателей, *мы должны сделать вывод, что ни одно правило для принятия решений не способно обеспечить каждому избирателю равенство веса в смысле равенства возможностей.* Тем не менее можно допустить, что некоторые правила квалифицированного большинства направлены на то, чтобы поставить всех избирателей в положение честного равновесия, в то время как правила меньшинства, правило простого большинства, правила высококвалифицированного большинства и, наконец, правило единогласия неизбежно приводят к нарушению равновесия для участников голосования.

Этот вызов напоминает нам о некоторых непреодолимых различиях, которые, как мы должны признать, существуют между процессом голосования и процессом купли - продажи на конкурентном рынке.

По сравнению с экономической политическая конкуренция, вероятно, по своей природе более ограничена, в особенности, если правила политической игры обычно работают на создание и поддержание неравновесия, а не в противоположном направлении.

Мы должны сделать вывод, что в похвалах правилу простого большинства как лучшему из возможных правил политической игры довольно мало смысла. Гораздо больше смысла в том, чтобы пользоваться разными видами правил в зависимости от целей, которых мы хотим достичь, например, применять правила квалифицированного большинства, когда принимаемые решения важны для каждого члена сообщества, или принимать решение консенсусом, когда оно является жизненно важным для каждого. Я полагаю, что почти все эти идеи были блистательно сформулированы в последних исследованиях, основанных на экономическом подходе.

Однако нужно иметь в виду, что ни одно из правил, которые используются или могут быть использованы для принятия политических решений, не может породить ситуацию, которая действительно похожа на конкурентный рынок. Для того чтобы поместить каждого индивида в то же положение, что и участников свободного процесса купли - продажи товаров и услуг на конкурентном рынке, торговли голосами недостаточно.

Если мы рассматриваем закон (право) как законодательство, мы можем ясно показать, что с точки зрения индивида, принимающего решения, закон и рынок принципиально различны.

Действительно, рыночный процесс и законодательный процесс неизбежно различаются. В то время как рынок позволяет индивидам делать свободный выбор, единственным условием которого является их готовность за него платить, законодательство такого не позволяет.

Теперь нам следует задать следующий вопрос и попытаться получить на него ответ: можем ли мы провести более удачное сравнение рынка и *незаконодательных* форм права?

Глоссарий

Акт о корпорациях (Corporation Act) 1661 г. — принят английским Долгим парламентом; был направлен на усиление власти Карла II. Его цель состояла в устранении из городских муниципалитетов всех заподозренных в нелояльности королю. В годы, предшествовавшие гражданской войне (1642—1645), и в период междуцарствия из органов городского управления были изгнаны многие роялисты и заменены сторонниками парламента. В соответствии с Актом о корпорациях создавались комиссии, которые могли снять с должности любого, кто отказывался принести клятву на верность королю и англиканской церкви, клятву о неоказании сопротивления короне и декларацию против ковенанта (манифеста шотландского национального движения в защиту пресвитерианской религии, изданного в 1638 г. и ставшего основой для сплочения шотландцев в их борьбе против абсолютистской политики короля Карла I). Но даже когда чиновник приносил все эти клятвы, комиссия могла лишить его должности, если члены комиссии подозревали его в нелояльности правительству. В результате роялисты захватили все важнейшие посты в городах, тем самым распространив королевское влияние по всей Англии.

Акт о присяге (Test Act) 1673 г. — принят английским парламентом в 1679 г. В соответствии с ним лица, занимающие государственные и общественные должности в Англии, были обязаны давать присягу о том, что они не признают пресуществление (действительное претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы во время католической литургии — мессы), мессу и отказываются от почитания святых. Этим Актом католики фактически лишались возможности занимать какие-либо должности и посты в Англии. Окончательное восстановление католиков в гражданских правах произошло только в 1829 г.

Акт о профессиональных союзах (Trade Union Act) 1913 г. — в 1909 г. в Великобритании У. В. Осборн, который одновременно был членом профсоюза и активистом либеральной партии, выступил с возражением против того, что его

профсоюзные взносы используются для пожертвований в фонды лейбористской партии. Судьи палаты лордов вынесли решение о том, что профсоюзы не имеют законного права расходовать свои средства на политические цели, тем самым подорвав финансирование лейбористской партии. В 1919 г. премьер-министр Герберт Эсквит и его либеральный кабинет провели новый закон и профессиональных союзах, который дал профсоюзам право делить членские взносы между политическим и социальным фондами. Если кто-то из членов профсоюза, наподобие У. В. Осборна, возражает против политических пожертвований, он может не делать соответствующих платежей.

Венский кружок — объединение, послужившее идейным и организационным ядром логического позитивизма. Вырос на основе семинара, организованного в 1922 г. М. Шликом при кафедре философии индуктивных наук в Венском университете. В Венский кружок входили: Р. Карнап (с 1926 г.), Ф. Вайсман, Г. Фейгль, О. Нейрат, Г. Хан, В. Крафт, Ф. Кауфман, К. Гёдель и др. С Венским кружком сотрудничали Ф. Франк, Э. Кайла, И. Йергенсен, А. Айер и др. Венский кружок явился непосредственным преемником философских идей Э. Маха. Его участники восприняли и ряд идей Витгенштейна — концепцию логического анализа знания, учение об аналитическом характере логики и математики, критику традиционной философии как лишенной научного смысла «метафизики». Осуществив синтез позитивизма Маха с идеями логического анализа знания, участники Венского кружка сформулировали основные положения логического позитивизма в наиболее полной и четкой форме. В 1929 г. Карнап, Хан и Нейрат опубликовали манифест «Научное миропонимание. Венский кружок». В это же время происходит окончательное организационное оформление Венского кружка и устанавливаются международные связи с другими неопозитивистскими группами помимо тех контактов, которые Венский кружок имел с группой Рейхенбаха—Дубислава в Берлине). С 1930 г. Венский кружок издает совместно с группой Рейхенбаха журнал «Познание». В 1930-х годах участники Венского кружка активно разрабатывают идеи логического позитивизма. К концу этого десятилетия в связи с гибелью Шлика и нацистской оккупацией Австрии Венский кружок прекраща-

ет свое существование. Его непосредственным преемником являлся логический эмпиризм (Карнап, Фейгль и др.).

Верховенство права (rule of law) — принцип, согласно которому никто не может быть выше закона. Это правило логически вытекает из идеи о том, что истина (и, следовательно, закон) основана на фундаментальных принципах, которые могут быть открыты, но которые нельзя создать посредством волевого акта. Возможно, самым важным применением принципа верховенства права является представление о том, что правительственная власть может осуществляться легитимно только на основании писанных и публично провозглашенных законов, принятых в рамках надлежащей правовой процедуры.

Демос — свободное население греческих городов, обладающее гражданскими правами (в отличие от рабов, метеков и других категорий зависимого и неполноправного населения). В архаическую эпоху (VIII—VI вв. до н.э.) этим термином обозначали народные массы в отличие от родовой аристократии — эвпатридов. В V—IV вв. до н.э. демосом называли бедную, преимущественно городскую часть населения.

Железный закон олигархии — принцип теории элит, впервые сформулированный Робертом Михельсом в 1911 г. Он состоит в том, что любая форма социальной организации, вне зависимости от ее первоначальной демократичности либо автократичности, неизбежно вырождается во власть немногих избранных — олигархию.

Закон Адамсона 1916 г. (Adamson Act) — ввел для железнодорожных рабочих США 8-часовой рабочий день при сохранении заработной платы, которую они получали за 10-часовой рабочий день, а также установил полуторную оплату за сверхурочные. Стал первым федеральным законом, регулирующим продолжительность рабочего дня в частных компаниях. Верховный суд США подтвердил конституционность закона в решении по делу *Wilson v. New*, 243 U.S. 332 (1917). Конгресс принял этот закон для того, чтобы избежать общенациональной забастовки. Железные дороги отказались выполнять закон в то время, пока их иск о неконституционности закона рассматривался Верховным судом. Однако после решения Верховного суда они начали переговоры о внедрении положений закона. Закон был отменен в период «красной паники» (*Red Scare*), когда (после

русской революции) возникли опасения, что безработные начнут поддерживать коммунизм, а последний, в свою очередь, начнет свое шествие по Соединенным Штатам с 8-часового рабочего дня.

Закон Вагнера о трудовых отношениях (Wagner Labor Relations Act), или закон о *Национальных трудовых отношениях* — принят в США в 1935 г., предоставил право рабочим в частных компаниях организовывать профсоюзы, заключать коллективные договоры, принимать участие в забастовках и других видах совместной деятельности в поддержку своих требований.

Закон Норриса—Ла Гардиа (Norris—La Guardia Act) 1932 г. — снял юридические препятствия, ограничивающие профсоюзную деятельность в США, объявил незаконной практику приема на работу только соискателей, не являющихся членами профсоюзов; отдельные положения данного законодательного акта аннулированы Законом о трудовых отношениях Тафта—Хартли 1947 г.

Закон о трудовых отношениях Тафта—Хартли (Taft—Hartley Act) 1947 г. — дополнил принятый 1935 г. в США закон Вагнера; отменил некоторые положения закона Норриса—Ла Гардиа 1932 г. Фактически этот закон представлял собой ограничение прав рабочих, расширенных указанными законодательными актами в период Нового курса президента Ф. Рузвельта. Он поставил контроль за трудовыми спорами на новую юридическую основу, расширив функции Национального управления по вопросам трудовых отношений; установил, что профсоюз и работодатель до того, как разорвать коллективный договор, должны предупредить об этом противную сторону и служащий посредником между ними государственный орган; последний вправе в 80-дневный срок вынести постановление, запрещающее любую забастовку в том случае, если он сочтет ее угрожающей национальному благосостоянию и безопасности; закон также запретил некоторые виды забастовок, лишил законодательной защиты участников незаконных забастовок; запретил систему «закрытых цехов», однако разрешил такую систему, при которой руководство предприятия по соглашению с профсоюзом может принимать на работу нечленов профсоюза только при условии, что они вступят в профсоюз в течение тридцати дней, если за эту систему проголосует большинство

работников предприятия; ограничил деятельность коммунистов в рядах профсоюзов; запретил профсоюзам участвовать в политических кампаниях; в настоящее время данный закон исполняется с учетом Закона о трудовых отношениях Лэндрама—Гриффина (*Landrum—Griffin Act*) 1959 г.

Закон о трудовых спорах и профессиональных союзах (*The Trade Disputes and Trade Union Act*) — принят в Великобритании в ответ на всеобщую забастовку 1926 г. Ограничил деятельность профсоюзов, запретил забастовки солидарности, массовое пикетирование, а также запретил профсоюзам государственных служащих присоединяться к Конгрессу профсоюзов — объединению, охватывающему большинство профсоюзов Великобритании.

Изономия — принцип одинаковости действия законов или равенства людей перед законом.

История с Кричел Дауном — политический скандал в Великобритании, разгоревшийся в 1954 г. В 1938 г. Министерство авиации принудительно выкупило 725 акров сельскохозяйственной земли недалеко от Кричел Дауна для упражнений в бомбометании за 12 000 ф. ст. В 1941 г. премьер-министр Уинстон Черчилль, выступая в парламенте, пообещал, что после войны земля будет возвращена прежним владельцам. Однако это обещание осталось не выполненным. В 1949 г. сын прежнего владельца Джордж Мартин захотел выкупить свою землю обратно, тем более, что она уже не использовалась для целей Министерства обороны. Однако против выступило Министерство сельского хозяйства, получившее этот участок в свое ведение и желавшее использовать его для агрономических экспериментов. Оно резко повысило цену земельного участка (до 32 000 ф. ст.) и сдало его в аренду. Джордж Мартин, располагая влиятельными знакомыми как бывший конюший королевской семьи, поднял шум в местном отделении консервативной партии и среди правительственных «заднескамеечников» в парламенте. История попала в средства массовой информации, где стала использоваться в качестве яркого примера чрезмерного могущества государства: критике подверглось и само решение Министерства сельского хозяйства, и персонально госслужащие, и используемые методы. В конце концов Мартину было разрешено выкупить землю, а министр сельского хозяйства сэр Томас Дагдейл подал в отставку.

Манумиссия — древнеримский юридический термин, обозначавший освобождение раба на волю. Освобождение проходило официально (в присутствии магистрата, государственным порядком с внесением в цензовые списки) и неофициально (в присутствии свидетелей). Отпущенные обычно сохраняли ту или иную зависимость от прежнего владельца.

«*Нет налогообложения без представительства*» (*No taxation without representation*) — лозунг, в 1763—1775 гг. суммировавший устремления жителей тринадцати американских колоний. В конце концов эти настроения привели к Войне за независимость и отделению американских колоний от метрополии.

Полис — особая форма социально-экономической и политической организации общества в античности. Типичная форма полиса — городское или крупное сельское поселение как политический, идеологический и культурный центр и близлежащая территория (хора). Историческое значение полиса, его уникальность заключаются прежде всего в том, что это первая в истории человеческого общества форма общежития, которую можно определить как гражданскую общину со всем комплексом материальных и духовных ценностей. В зависимости от политического строя древнегреческие полисы были демократические и аристократические, по характеру экономического развития — аграрные (Спарта), аграрно-ремесленные (Афины) или торгово-ремесленные (Коринф).

Правило «самозащиты» (*self-protection*) Джона Стюарта Милля — имеется в виду следующее место из эссе Милля «О свободе» (1859): «Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы установить тот принцип, на котором должны основываться отношения общества к индивидууму, т.е. на основании которого должны быть определены как те принудительные и контролирующие действия общества по отношению к индивидууму, которые совершаются с помощью физической силы в форме легального преследования, так и те действия, которые заключаются в нравственном насилии над индивидуумом чрез общественное мнение. *Принцип этот заключается в том, что люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения (self-protection), что каждый член цивилизованного общества*

только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей, — личное же благо самого индивидуума, физическое или нравственное, не составляет достаточного основания для какого бы то ни было вмешательства в его действие. Никто не имеет права принуждать индивидуума что-либо делать, или что-либо не делать, на том основании, что от этого ему самому было бы лучше, или что от этого он сделался бы счастливее, или наконец, на том основании, что, по мнению других людей, поступить известным образом было бы благороднее и даже похвальнее» (Милль Дж. С. О свободе // О свободе: Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М.: Наука, 1995. С. 296—296. Курсив добавлен).

Свод гражданского права Юстиниана (Кодификация Юстиниана) — систематическое изложение римского и византийского права VI в., предпринятое по приказу византийского императора Юстиниана в 528—533 гг. Изначально включал три части: официальный учебник римского частного права («Институции»); сборник извлечений из сочинений римских юристов («Дигесты» (лат.) или «Пандекты» (греч.)); сборник распоряжений (конституций) римских императоров от Андриана (II в. н.э.) до самого Юстиниана, касающихся административного, уголовного, финансового, церковного и частного права («Кодекс Юстиниана»). Последняя, четвертая часть — «Новеллы» — представляет собой сборник законов, изданных Византийской империи в 534—556 гг. в дополнение к основному тексту кодификации. Создание Свода Юстиниана завершило развитие римского права. Свод Юстиниана сыграл огромную роль в рецепции римского права в Европе (в XVI в. он был издан под названием *Corpus juris civilis* (Свод гражданского (цивильного) права), сохраняющимся за ними до настоящего времени. В отдельных странах (например ЮАР) нормы Свода Юстиниана применяются до сих пор.

Экклезия — народное собрание в полисной Греции — верховный государственный орган, которому принадлежала вся законодательная и исполнительная власть. На экклезии избирались должностные лица, разбирались судебные дела. Экклезия контролировала исполнительную деятельность

должностных лиц. В ряде полисов народное собрание имело свое специфическое наименование: апелла — в Спарте, агро — в Дельфах и городах Фессалии, алия — в Аргосе, Эпидавре и Акраганте.

Habeas corpus — дословно: «право на распоряжение своим телом». В английской юриспруденции термин, обозначающий право каждого заключенного под стражу по обвинению в совершении преступления требовать подтверждения судьей правомерности его ареста.

Jus civitatis — гражданское право, действовавшее в отношении римлян и использовавшееся преторами для решения исков между римлянами.

Landsgemeinde — сохранившаяся в некоторых кантонах Швейцарии разновидность прямой демократии в форме общего собрания жителей кантона; представляет собой систему прямого участия всех избирателей кантона или местности в утверждении некоторых законов и выборах официальных лиц.

Libertas — по-латыни означает «свобода». В древнеримской мифологии Либертас — богиня свободы. Часто изображалась на монетах в виде сидящей женской фигуры в шапке свободы (*lat. pileus libertatis*) и со скипетром, сопровождаемая словами «*Libertas Augusti*» («Священная свобода»), «*Libertas populi Romani*» («Свобода римского народа»), «*Libertas publica*» («Общественная свобода»), «*Libertas aeterna*» («Вечная свобода») и др.

Pater familias — глава семьи (домовладыка), на латыни означает «отец семейства». Власть, которой обладал глава семьи называлась *patria potestas* — отеческая власть. *Potestas* отличалась от *auctoritas* — непререкаемого авторитета, которым домовладыка также обладал. Согласно законам Двенадцати таблиц глава семьи имел «власть над жизнью и смертью» (*vitae necisque potestas*) в отношении своих детей, жены (в некоторых случаях) и рабов, которые находились «под его рукой» (*sub manu*). Чтобы стать свободным раб должен быть отпущен «из-под руки» главы семьи, отсюда термины *manumissio* (манумиссия) и *emancipatio* (эмансипация). Если ребенок был нежеланным, глава семьи по закону имел право приказать предать его смерти путем оставления без заботы. Он имел право продавать своих детей в рабство; однако, если ребенок был три раза продан

в качестве раба, он выходил из-под отеческой власти. Глава семьи имел право одобрять или запрещать браки своих сыновей и дочерей.

Res publica — к классическому периоду это выражение уже покрывало широкое поле значений, основными из которых были следующие:

общественная собственность — *res publica* обозначала то, что не находилось в частной собственности (*res privata* — частная сфера общества), а являлось делом многих людей. Например, парк или сад мог быть как «частной собственностью», так и управляться государством. В последнем случае он являлся (частью) *res publica*;

государство — объединение всего, что относится к общественным интересам, привело к появлению значения, согласно которому выражение *res publica* эквивалентно государству; *res publica* могло относиться к Римской империи (вне зависимости от формы власти — республиканской или императорской);

(Римская) *Республика* — древнеримские авторы используют выражение *res publica* для обозначения собственно эпохи республиканского правления в Риме;

политическое устройство — *res publica* также использовалось для обозначения общей системы правления в государстве. В этом значении оно соответствовало греческой концепции «полития».

Предметно-именной указатель

А

- Австрийский кодекс 1811 г. 164
Административное право (*droit administratif*) 76, 77, 80, 81
«Административное право» 76–77, 81, 86, 89, 119, 154
– в Англии 77, 81–82, 84, 119
– во Франции 82
Административные суды 82–85
– и верховенство права 82
Административный процесс, индивидуальный
– свобода зависит от него 119
Акт о действиях королевской власти 1947 г. 120
Акт о защите детей 1874 г. 166
Акт о компаниях 1948 г. 166
Акт о корпорациях 1661 г. 42
Акт о правах собственности 1925 г. 166
Акт о присяге 1673 г. 42
Акт о продаже товаров 1893 г. 166
Акт о реформе 1832 года 135
Актон, лорд 41, 42, 121
Аллен Карлтон Кемп, сэр 46, 76–77, 80, 81, 105, 120, 206, 208 сн., 233
Англия
– «административное право» в 76–77, 81, 84, 119
– в Викторианскую эпоху 41–42
– верховенство права в 77–78, 87–88, 93, 105
– демократический социализм в 190
– кодификация общего права в 166
– конституция. См.: Конституция Великобритании
– Лейбористская партия 199
– личная свобода в 25
– определенность права в 91
– прецедентное право в средневековой и современной Англии 243
– представительство в 134–135, 137–141
– роль законодательства в 25
– профсоюзы 54–55
– свобода совести в 41–42
– суды в 105–106
Арбитраж 200
Аристотель 64, 90, 93, 95, 97
– и подход с точки зрения власти 258–259

Б

- Бакленд У. У. 100–101, 236
Бастия Фредерик 160, 275

- Бентам Иеремия 110
 Бёрк Эдмунд 108, 133–134
 Бернем Джеймс 24, 76
 Блэк Дункан 126, 250, 251
 Большинство 155–156
 — диктуемое им законодательство 27
 — законодательный процесс и успех 169
 — законное 155
 — принуждение, осуществляемое им 155–156
 Босанкет Бернард 58
 Боулз Честер 51
 Британская Лейбористская партия 199
 Бруцкус Борис 34
 Бьюкенен Джеймс 128, 153, 252, 253, 255, 256, 273, 274, 275
- В**
- Вебер Макс 32, 34
 Велькер К. 78
 Венский кружок 59
 Верховенство закона (supremacy of law) как главная характеристика
 верховенства права (rule of law) 78
 Верховенство права (rule of law) 50, 75, 89
 — и административные трибуналы 82
 — в Англии 77, 88, 93, 105
 — верховенство закона (supremacy of law) 78
 — вклад Rechtsstaat в 78
 — и всеобщность права 79, 87
 — личная свобода 92, 93, 114
 — и определенность закона 115. *См. тж.*: Определенность закона
 — принятие на континенте Европы 77
 — прогрессивное налогообложение как контрпример 86–87
 — равенство перед законом 80, 82, 84, 85
 — и римское право 105
 — семантическая путаница в использовании этого термина 76
 — смысл 75, 79, 84
 — в США 77, 79, 88, 92
 — угроза со стороны законодательства 92
 Верховные суды 39, 205, 206, 207
 — судьи верховных судов 206, 209
 — в США в отличие от Великобритании 207
 «Взаимные услуги» 27, 256, 276
 Власть
 — и аристотелевская теория политики 259
 — и максимизация полезности 258–259
 — ограничение, и свободный рынок 65–66
 — обмен 258–259
 — сравнение с полезностью 258–259
 Воинская обязанность
 — в англосаксонских странах 53
 — в Европе 53

Всеобщее избирательное право 21 сн.

Всеобщий характер права 79, 87. *См. тж.*: Верховенство права

Выбор

- голосование как коллективный выбор 252
- голосование против рынка 252–253
- индивида против группового 254
- индивида на рынке 129
- и комитеты 250, 251
- право как объект выбора 247
- политический («коллективный»), отличный от частного («добровольного») 257–258
- процесс, в групповых и индивидуальных решениях 250, 254
- правил политической игры 256
- рынок. *См.*: Рыночный выбор
- свободный, в экономической сфере 189, 192
- экономический 126–127, 250

См. тж.: Коллективный выбор; Экономический выбор; Групповой выбор; Личный выбор; Политический выбор

Выбор голосованием в сравнении с выбором на рынке 253

Выбор на рынке

- осуществляемый индивидами, против групповых решений в политическом процессе 125–126, 127–128, 129–130
- против выбора голосованием 252–253
- в сравнении с выбором в политике 126–127, 128, 247
- сходство с голосованием 250

Г

Гегель Георг Г. В. 47, 58

Германский кодекс 1900 г. 164

Гизо Франсуа 78

Гильдебранд Карл 39

Гирке Отто, фон 78

Глэдден Э. Н. 115

Гоббс Томас 35, 110–111, 181

Голосование 265–266

- и действия на рынке 265, 266, 267
- достижение равновесия с помощью г. 251
- как аналог выбора на рынке 250
- как коллективный выбор 253
- как средство выбора представителей 144
- как средство принуждения 129, 144–145, 253–254
- как средство принятие решений в комитетах 251
- в сравнении с принятием экономических решений 128
- в условиях правила единогласия 263

Государственный совет (*conseil d'état*) 46, 80–81, 119

Гражданский кодекс Германии 20

Гражданское право 46

- вытесняемое статутным правом 20

Группа, принимающая решения, рынок как 250. *См.*: Групповые решения

Групповые решения

- и волеизъявление большинства 139, 144
 - и выбор победившей стороны 254
 - выражающие общую волю 159
 - и индивидуальные решения 129–130, 153, 254
 - и личная свобода 144, 151
 - и личный выбор 155
 - и научные исследования 171–172
 - несовместимые с общей волей 157–158
 - в политическом процессе против рыночных решений индивидов 126, 128, 129–130
 - и политическое решение 248
 - процесс выбора в 249–250, 254
 - реформа 160
 - сокращение 152
 - и торговля голосами 256
 - и утрата личной свободы 27
- См. тж:* «Общая воля»; Большинство; Правление большинства

Д

Давление, в сравнении с принуждением 169–170

Дайси Альберт Венн 76–85, 86–88, 105, 110, 114, 136–137, 166

Декларация независимости 51

Демократический социализм в Англии 189–190

Демократия

- афинская 97–98
- как термин в греческой политике 48
- классическая концепция 133
- не совместима с личной свободой 121
- представительная 23, 34, 131, 132, 133
- путаница в постоянном использовании слова 48
- совместима с личной свободой 147
- современная швейцарская 48. *См. тж:* *Landsgemeinde*

Демокрит 97

Деннинг Альфред, сэр 120

Дефицит (редкость) 70

Дикинсон Х. Д. 34

Добровольный выбор, в отличие от коллективного выбора 257

Доунс Энтони 267, 275, 276, 277

Древний Рим

- верховенство права 104
- влияние правовой системы на современные кодексы континентальной Европы 102
- законотворческий процесс в 100–101, 124
- личная свобода в 25
- налогообложение в 238
- определенность закона в 102, 103–104, 112
- писанный закон в 100
- право юристов в 235–236, 239–240

- прецедентное право в 242–243
- роль законодательства в 25
- социальное обеспечение и регулирование экономики в 239
- статутное право в 101, 103–104, 235
- судьи в 242–243
- судебные решения в 242–243
- юристы в
- юристы в 102, 105, 112, 161, 235, 235, 239, 240, 241, 242, 243

Древняя Греция

- демократия как политический термин в 48
- достоверность закона в 90–91, 93, 95
- законотворческий процесс в 97–98, 234
- идея свободы в 96, 97
- писанный закон 90, 95, 100
- прецедентное право в 243
- судьи в 242, 243

Е

Единогласия правило

- голосование в условиях е. п. 263
- групповые решения в условиях е. п. 263

Ж

«Желания» в обличье от «потребностей» 192

З

Закон Адамсона 1916 г. 55

Закон Вагнера о трудовых отношениях 56

Закон о мошенничестве 1677 г. 166

Закон о профессиональных союзах в 1906 г. 54

Закон о профессиональных союзах в 1913 г. 54

Закон о трудовых спорах 1906 г. 55–56, 71

Закон о трудовых спорах и Закон о профессиональных союзах в 1927 г. 54

Закон о трудовых спорах и Закон о профессиональных союзах в 1946 г. 54

Законные притязания 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230

Законодатели, их отличие от судей и юристов 37

Законодательный процесс 113

- в Древней Греции 97, 98, 234
- в Древнем Риме 100–101, 123, 234–237
- исторически 169
- основан на действиях индивидов 166
- основанный на праве юристов 167
- относящийся к победившему большинству 168
- отражают существование обычаев и традиций 243–244
- посредством законотворчества 107, 114, 131, 232, 265
- прецедентный. См.: Прецедентное право
- принудительное проведение в жизнь судебных решений в 210
- реформа 154
- роль судей в 105–106

- и свободный рынок 109–110
- связь с экономическим процессом 232
- в Средние века 234
- три метода 232
- Законодательный процесс 92
 - как сущность создания закона 232
 - причины для отказа от 29
- Законотворчество
 - в Англии 25
 - в Древнем Риме 25
 - в законодательном процессе 106, 114, 131–132, 232, 265
 - и изменения в современном обществе 20
 - как альтернатива произволу 173
 - как навязывание воли побеждающего большинства 27
 - как подтверждение существующих законов 26
 - как представительный процесс 22, 34
 - как продукт группового решения 130, 265
 - и личная свобода 20, 151
 - не совместимо с личной свободой 22, 24–26
 - недостатки 33
 - неопределенность характеристики 24, 131
 - и «общественное мнение» 31
 - отличие от общего права 204
 - осознание пределов 203
 - писанный закон, отличающийся от 163
 - право, представляемое в виде, в сравнении со свободным рынком 247
 - и право юристов 26, 40
 - принуждение в 27, 33, 130–131
 - и принуждение 20, 27, 28
 - растущее значение 20–21
 - связано с обеспечением санкцией 125–126
 - и социализм 123–125
 - сила 149
 - угрожает верховенству права 92
 - уменьшение границ 152, 204 сн.
- См. тж.* Писаное право; Право; Законодательный процесс

И

- Иеринг Рудольф 71
- Избирательная система
 - недостатки 145–146
 - См. тж.* Групповые решения; Волеизъявления большинства; Голо-
сование
- Избирательное право, расширение представительства через него 142
- Индивидуальные притязания 218
 - и законотворческий процесс 229
 - норма закона как 218
- Инфляция, определение 47–48

К

- Катон Цензор (Старший) 107, 234
- Кейнс Джон М. 100
- Келф—Коэн Р. 198, 199
- Кельзен Ганс 45, 168
- Китон Дж. У. 24
- Кодекс Наполеона 20, 164
- Кодификация законов
 - в Англии 166
 - в континентальной Европе 91, 163, 164, 165, 236
- Кок Эдвард, сэр 105, 110—111, 112
- Коллективный выбор
 - голосование как 252—253
 - законодательство как 130
 - как принудительный 131, 257—258
 - отличный от добровольного 257—258
- Комиссии (комитеты)
 - голосование как метод принятия 250
 - теория 250
 - и экономический и политический выбор 126—127, 250
- Конкуренция, рыночная против политической 150
- Констан Бенжамен 78, 175
- Конституции
 - Великобритании. См.: Конституция Великобритании
 - европейские, английские толкования 76
 - Италии 148—149
 - писанные 26—27, 91, 151, 166—167
 - США. См.: Конституция США
 - Франции 87
- Конституция Великобритании 26—27
 - континентальные копии 114
 - неверное континентальное толкование 76
- Конституция Италии 148—149
- Конституция США 51, 52
 - личные права, выводимые из нее 79
 - происхождение 148
- Конституция Франции 87
- Континентальное право 26, 27
 - как «право юристов» 26
 - и определенность закона 91, 92—93
 - и принятие Свода гражданского права Юстиниана 26
- «Контрпроизводительный» труд 66, 125
- Крэнстон Морис 58, 63
- Куланж Фюстель де 96

Л

- Ланге Оскар 34
- Леви Алесандро 220

- Лейбниц Готфрид В. 49, 74
Лексикографические определения 59, 61
— свободы 63
Либерал, его сущность относительно принуждения 64
Лингвистические определения 43, 59
— «закона» 215
Линкольн Авраам 41
Личная свобода 17, 19
— в Англии 25
— в бизнесе 109–110
— и верховенство права 92, 93, 114
— вклад экономистов в 17, 34–35
— и групповые решения 144–145, 151
— в Древнем Риме 25
— зависит от «административного» процесса 119
— и законодательство 20, 151–152
— законодательство не совместимо с 22, 25
— как необходимое условие научного и технического прогресса 22
— и место индивида внутри правовой системы 25
— не совместима с «общей волей» 174
— и определенность законов 112–114
— писаное право не совместимо с 167
— и писанный закон 151
— писанный закон как сущность сохранения 167
— политические решения, несовместимые с 141
— потеря ее как результат групповых решений 27
— представительные системы, несовместимы с 146
— и представительство 35
— разрушена статутным правом 119
— совместима с демократией 147
— совместима с «общей волей» 174
— юристы как ее защитники 17
См. тж: Личный выбор

- Личный выбор
— восстановление 77
— избирателя, голосующего за проигравшую сторону 254
— конкуренция 247
— на рынке 26–27, 129–130
— в политическом голосовании против рыночного 249–250
— против группового решения 129–130, 155
— процесс 250, 253–254
— сотрудничество 247
— членов группы 27

См. тж: Личная свобода

- Лоуэлл Лоренс 121, 155, 271–272

М

- Макиавелли Николо 24, 150
Маккензи Р. Т. 146, 147, 150

Маркс Карл 69
Маршалл Джон, главный судья 105
Материальный предмет, определение 43
Меньшинство, принуждаемое большинством 156
Мизес Людвиг, фон 34, 48, 49, 65, 108, 128, 178, 179, 231
Милль Джон Стюарт 30, 140, 141 сн., 143, 144 сн., 145
Михельс Роберто 147, 150, 273
Моль Роберт фон 78
Монократизация 146–147
Монополии 170, 190
 — в политических решениях 263–264
Монтескье Шарль Луи 175
Моральные нормы, отличие от правовых 220

Н

Налогообложение
 — в Древнем Риме 238
 — прогрессивное 86, 201
Насер Гамаль Абдель 51
Научное исследование
 — и групповые решения 171–172
 — как стихийный процесс 171
 — личная свобода как требование 22
 — и правило большинства 171–172
Национализация 189–191
Недескриптивные языки 59
Недотермины 47, 48
Незаконные притязания 224
Нематериальные предметы, определение 44, 45–46
Неопределенность, как характеристика законодательства 24, 130
Не-термины 47, 48
Нижестоящие суды 206, 209
 — судьбы 209
Норриса—Ла Гардиа закон 1932 55, 56, 160
Нужда, свобода от 68, 70, 97, 122, 123, 153

О

«Общая воля» 141, 157, 158. *См. тж.*: Групповые решения; Большинство
 — групповые решения, несовместимые с ней 157–158
 — групповые решения, отражающие ее 159
 — и личная свобода 174
 — в современных политических сообществах 156
 — теоретическая модель 157
Общая собственность 68–69
 — социалистическая версия 69–70
Общего права судьбы 106
Общее (обычное) право 85
 — вытесняемое статутным правом 20
 — кодификация в Англии 166

- отделяемое от законодательства 204
- и система свободного рынка 109–110
- усиленное статутным правом 166
- «Общественное» владение 190–192, 199
- «Общественное мнение» и законодательство 31
- «Обычный язык» 47
- Определения
 - лексикографические 59, 61
 - лингвистические 43, 59, 215
 - персуазивные 59
 - условные 59, 60
- Определенность закона 88, 89, 90, 91, 98, 110, 154
 - английская концепция 91
 - и верховенство права 115
 - долгосрочная 100, 112, 154
 - древнегреческая концепция 90, 93, 95
 - древнеримская концепция 101–102, 103, 112–113
 - классическая интерпретация 89–90
 - континентальная концепция 91, 93
 - краткосрочная 99, 100, 112
 - и личная свобода 113
 - и писаный закон 91, 98–99, 113–114
 - и Свод гражданского права 91
- Остин Джон 45, 110, 136

П

- Палата общин
 - изначальная функция 133–134
 - как голос народа 135
- Парето Вильфредо 121, 150, 273
- Паунд Дин Роско 83
- Перевод юридических терминов, трудности 45
- Перикл 95, 96, 97
- Персуазивные определения 59
- «Персуазивные» языки 59
- Писаное право 163, 198
 - не совместимо с личной свободой 167
 - и статутное право 166–167
- См. тж:* Законодательство
- Писанные конституции 26, 91, 151, 167–168
 - проблема прецедента в 208
- Писаный закон 90, 91, 95, 151, 161, 162
 - в Древней Греции 90, 95, 100
 - в Древнем Риме 100
 - в Европе 91
 - замена на неписанные законы 153
 - как средство сохранения личной свободы 167
 - и личная свобода 151
 - и определенность закона 91, 98, 99, 113
 - в противоположность официально принятому 163

Платон 58, 97, 172

Полезность

- власть в сравнении с п. 258
- максимизация, и власть 259

Политическая конкуренция, против рыночной конкуренции 150

Политическая наука

- и инженерная идея 17
- и подход с точки зрения власти 259
- равновесие в 250–251, 254
- и экономическая теория 127

Политическая наука

- и политологи 17
- принуждение в 258
- и семантическая путаница 48–49

Политическая свобода 114

- введение в теорию 18–19
- как отсутствие принуждения 109–110

Политический выбор 126–127, 250

- монополии в 263–264
- не совместим с личной свободой 141–142
- определяется правилом большинства 249
- отличен от группового решения 248
- отличен от частного выбора 257
- сравнение с рынком 126–127, 128, 247

Политологи

- как защитники личной свободы 17
- и политическая наука 17

Полок Фредерик, сэр 72

Правительство, его роль в свободном рынке 66–67

Правление большинства 265–280

- доводы в защиту 269–270, 272–273
 - и групповые решения 139–140, 144–145
 - и научные исследования 171–172
 - и представительство 139–140
 - принимаемые политические решения 249–250
- См. тж:* Групповые решения; Большинство

Право (закон)

- «административное». *См. тж:* «Административное право»
- верховенство 78. *См.:* Верховенство права
- всеобщий характер 79, 87. *См. тж:* Верховенство права
- законодателей 167
- знание юристами 17–18
- как объект выбора 247
- как правовая норма. *См.:* Правовая норма
- континентальное 26
- лингвистическое определение 215
- «обнаружение» 163
- общее. *См.:* Общее право
- определенность. *См.:* Определенность закона; Верховенство права

- писанный 163, 198
- писаное. *См.*: Писаное право
- представляемое как законотворчество, в сравнении с рынком 247
- процедурный 127
- равенство 79, 80, 82–85. *См. тж.*: Верховенство права
- связь с экономической теорией 66
- создаваемое судьями. *См.*: Прецедентное право
- создаваемое юристами 89
- статутное. *См.*: Статутное право
- судьбы как «открыватели» 25–26, 36
- установление 44–45, 215–217
- юрисконсульты как «открыватели» 25, 232
- юристов 167
- Право законодателей 167
- Право юристов 167
- Право юристов 26, 32, 200, 232
 - в Древнем Риме 235–236, 240
 - и законотворчество 26, 39–40
 - отлично от права людей 244
 - в Средние века 235, 241
 - сходство между правом юристов и рыночной экономикой 38–39
- Право юристов и законотворчество 40
- Правовые нормы 217–221, 223, 226, 227, 228, 230
 - как индивидуальные притязания 218
 - отличаются от моральных 219
- Представители
 - выбор 140, 142, 143–144
 - в истории Англии 133–135, 136–140
 - голосование как суть отбора 143–145
 - исходные обязанности 133
- Представительная демократия 23, 34, 131–132, 133
 - ее история в Англии 134–135
- Представительство
 - в германской истории 139
 - законотворчество как его процесс 22, 33–34
 - в истории Англии 133–135, 136–140
 - и личная свобода 35
 - не совместима с личной свободой 146
 - политическая сущность 137
 - и правление большинства 139–140
 - правовая концепция 137
 - пропорциональное 145
 - расширение представительства через расширение избирательного права 142
 - установление 136–138
- Прецедент
 - имеющий обязательную силу 105–106, 207
 - проблема прецедента при письменной конституции 208
- Прецедент, имеющий обязательную силу 106, 207

Прецедентное право 167, 232, 244–245

– в Древней Греции 243

– в Древнем Риме 242–243

– в средневековой и современной Англии 243

Прецедентное право, «неопределенность» 89

Принуждение

– и законодательство 20, 27

– и значение слова «либерал» 64

– как психологическая установка 18

– путают с влиянием и пропагандой 169

– применяемое большинством 156

– и свобода

– взаимосвязь 18–19, 20, 64–65

– как отсутствие принуждения 19, 122, 194

– противоположна принуждению 18, 19, 64

– свобода от. См.: Свобода от нужды

– связь с 18–19, 20, 67–68

– и свободный рынок 65–66

– частная собственность как результат 68–69

– универсальная теория 18–19

Принуждение 193–194, 219–220

– голосование как метод 129, 144–145, 253

– в коллективном принятии решений 130–131, 257–258

– подразумевается свободой 58

– в политике 257–259

– в экономической теории 257–258

Принцип Конфуция (золотое правило) 30, 156

Притязания 221–222

– законные 222–224, 225, 226–227, 228, 230

– индивидуальные. См.: Индивидуальные притязания

– нелегальные 224

Прогнозы 224

Прогрессивное налогообложение 86–87, 201

Промышленная революция и «принуждение» рабочих 71, 72, 73

Пропаганда, в сравнении с принуждением 169–170

Пропорциональное представительство 145

Профессиональные союзы

– в Англии 55

– и ограничение свободы 55, 56, 72

– политическая власть 54

– предоставленные им законные полномочия 54

Процедурный закон, как спрос и предложение 127

Р

Равенство перед законом 79, 80, 82, 83, 84, 85–86. См. *тж.*: Верховенство права

Равновесие

– достигаемое голосованием 251, 252

– в политических науках 127, 251, 254

– в экономической теории 126–127, 130, 251, 254

- Радиовещание общественное и частное 193
Раздвоенного человека теория 58
Реалистическая школа в теории права 89, 105
Религиозная нетерпимость 195–196
Религия, свобода в Англии 41–42
Роббинс Лайонел 66, 67
Роттек Карл фон 78
Рузвельт Франклин 42
Руис Винченцо 100, 236
Рунес Дагоберт 100
Руссо Жан-Жак 121, 158, 255
Рынок
– как группа, принимающая решения 250
– личный выбор на нем 27, 129
– свободный. См.: Свободный рынок
– право, подразумеваемое как законодательная деятельность, сравнение с 247
– торговля голосами, в сравнении с 256–257, 261–262, 263
Рыночная конкуренция, против политической 150
Рыночная экономика, сходство с правом юристов 38–39

С

- Свобода (*freedom*)
– вероисповедования 41–42
– допускает принуждение 58
– древнегреческая концепция 96, 97
– и законодательство 20
– личная. См.: Личная свобода
– негативные импликации 64
– определение 18, 41, 42, 50, 51, 59, 63
– лексикографическое 63
– лингвистическое 42–43
– персуазивные 59, 61, 62, 63
– основанная на эмпирическом подходе в экономической теории 195
– «от людей» 97, 153
– «от нужды» 68, 70, 97, 122, 123, 124, 153
– от принуждения. См.: Свобода от принуждения
– как отсутствие принуждения 19, 122, 193–194
– политическая. См.: Политическая свобода
– политический подход к 18
– как политический принцип 52, 53
– как правовое понятие 18
– как психологическое понятие 18
– противоречит принуждению 18, 19, 64–65
– связь с принуждением 18, 19, 20, 68
– в сравнении со свободой (*liberty*) 57
– универсальная теория 18
– философский подход к 18
– как человеческое понятие 68

- экономический подход 18
- как экономическая безопасность 20
- См. тж:* Личная свобода
- Свобода (*liberty*) 41
 - в сравнении со свободой—*freedom* 57–58
 - определение 50
 - отрицательный подтекст 64–65
 - См. тж:* Свобода; Личная свобода
- Свобода от принуждения 56, 57, 68, 70
 - значение 57
 - связана с деятельностью профсоюзов 56
- Свободный выбор в экономической деятельности 188–189, 192–193
- Свободный рынок 125
 - и законотворческий процесс 109–110
 - и принуждение 65
 - роль государства 66–67
 - связана с общим правом 109
- Свод гражданского права Юстиниана 26, 39, 91, 100, 102, 161–162
 - влияние на современные кодексы континентального права 26, 102
 - и определенность закона 91
 - содержание 161
 - в Средние века 39, 164
- Семантическая путаница 20, 43, 47–48, 49, 50, 114
 - вклад философов в 49
 - в политико-экономических системах 48
 - в теориях эксплуатации рабочих 71
 - при использовании словосочетания «верховенство права» 76
 - при использовании слова «вмешательство» 56–57
 - при использовании слова «демократия» 48
 - при использовании слова «инфляция» 47–48
 - при использовании слова «общее» 69–70
- Социализм
 - демократический, в Англии 190
 - и законодательство 123, 124
 - наивность 197
 - и общая собственность 69
 - отступление 198
 - теория 179
- Спрос и предложение 34, 124, 126, 127, 129 187
 - как «процедурный» закон 127
- Статутное право 110
 - вытеснение обычного права 20
 - в Древнем Риме 101, 103–104, 235
 - переход обычного права в 165–166
 - размывание личной свободы 119
- Стивен Лесли 149
- Стоики 68
- Судебные запреты 55
- Судебные решения, их обязательность
 - выполнение 210–211

Суды

- Англии 106
- верховные. *См.*: Верховные суды
- внутренние. *См.*: Внутренние суды

Судьи

- английские 243
- в Древней Греции 242, 243
- в Древнем Риме 242
- и законодатели 36–38
- назначение 204–205
- низших судов, отделяемые от высших судов 209
- как «открыватели» закона 25, 35
- роль в законотворческом процессе 105
- См. также*: Прецедентное право

Суждения об истинности и торговля голосами 261

Т

Таллок Гордон 255, 256, 273, 273, 275

Тейлор Фред 34

Телевидение, государственное vs. частное 193

Термины права, трудности перевода 45

Технология, влияние на современное общество 21

Тирания, законодательная деятельность как альтернатива ей 173

Токвиль Алексис, де 121

Торговля голосами 27

- и групповые решения 256
- как конституционная стадия 260
- ограничивающие условия 260
- в сравнении с рыночной торговлей 261–262
- и суждения об истинности 261

Точка зрения закона 148–149, 150

Традиции и обычаи 36

- выводятся из работы юристов и судей 244

Тэн Ипполит 178

У

Уильямс Гленвил 45

Уоттс Орвал 55, 56

Условные определения 59, 60

- свободы 59, 61, 62, 88

Устные переговоры 248

Устные переговоры 248

Ф

Фокс Чарльз 135

Фрезер Линдли 66

Фридмен Милтон 182–183, 186, 187

Фукидид 95, 97

Х

Хайек Фридрих Август фон 24, 48, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 89–90, 119, 173, 231

Хейл Мэтью, сэр 110–111, 112, 113

Хэвлок Эрик 97

Ц

Централизованная экономика

– критика 108–109

– напоминает правовую систему, основанную на законодательстве 37–38

– недостатки 33

Цицерон 90, 93, 104–105, 107, 108 сн.

Ч

Частная собственность, результат насилия 69–70

Частный выбор, в отличие от политического выбора 257–258

Человеческое понятие, свобода как 68

Ш

Шульц Фриц 102, 236

Шумпетер Йозеф 34, 133, 141

Э

Экономика

– рыночная. См.: Свободный рынок; Рыночная экономика

– централизованная. См.: Централизованная экономика; Социализм

Экономическая деятельность, личная свобода 109

Экономическая теория 181–182

– принуждение в 257–258

– и политическая наука 127

– равновесие в 130, 250–251, 254

– свобода, основанная на эмпирическом подходе в 195

– свободный выбор в 189, 192

– связь с правом 66

– и семантическая путаница 48–49

Экономический выбор 126, 250–251

– сравнение голосования с 128

Экономический подход к свободе 18

Экономический процесс, связь с законотворческим процессом 232

Эмден Сесил С. 134, 135 сн.

Эрлих Ойген 33, 39, 91, 165, 168, 235

Эштон Т. С. 72

Ю

Юрисконсульты как «открыватели» закона 25, 232

Юристы

– вырабатывают правовые решения 36

– и законодатели 37

- как защитники личной свободы 17
 - и знание права 17
 - в Древнем Риме 102, 105, 112, 161, 235, 236, 239–243
 - континентальные 26, 162, 163, 164, 241
 - континентальные, в Средние века 241–242
- Юристы континентальной Европы 26, 162, 163–164, 241

Я

Язык

- недескриптивный 59
- обычный 47
- персуазивный 59

Н

Habeas corpus 50, 52

Honoraires 36, 204

Ј

Juristenrecht 162–165. *См. тж.* Право юристов

Л

Landsgemeinde 22, 48, 123, 133

Р

Rechtsfindung 163

Rechtsstaat 77, 78, 85, 88, 167

- вклад в идеал «верховенства права» 78

Бруно ЛЕОНИ

СВОБОДА И ЗАКОН

Корректоры: *А. Андреева, И. Демина*

Дизайнер *Е. Тулунова*

Верстка *А. Иванова*

Подписано в печать 26.11.2008. Формат 60×90¹/₁₆

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Объем 19,5 печ. л. Тираж 2500 экз. Заказ № .

АНО «Институт распространения информации

по социальным и экономическим наукам»

Москва, Бизнес-парк «Румянцево»

тел./факс. (495) 739-71-95, 739-71-74

www.irisen.ru ; info@irisen.ru

ISBN 978-5-91066-014-8



9 785910 660148 >

ВЫШЛИ В СВЕТ

Котликофф Л., Бёрнс С.
Пенсионная система перед бурей
Серия «Экономика»

В этой книге исследуются глубокие структурные пороки современных систем пенсионного обеспечения, действующих в развитых странах. Тщательно анализируя эту проблему на примере США, авторы показывают, что в одной лишь этой стране фискальный разрыв — разница между планируемыми расходами и доходами государства — превышает 51 трлн долл. Это грозит вызвать не только трудности в обеспечении престарелым достойного существования, но и тяжелейший кризис всей международной финансовой системы, который затронет все страны без исключения. Авторы предлагают набор политических мер, позволяющих если не предотвратить грядущую бурю, то, по крайней мере, смягчить ее удар.

Доминик Арментано
Антитраст против конкуренции
Серия «Экономика»

Автор книги — принципиальный противник антимонопольного регулирования. Он убедительно показывает несостоятельность основных постулатов неоклассической теории монополии и конкуренции и на основании этого анализа делает вывод об ошибочности базовых предпосылок антимонопольного регулирования в целом. Основная мысль, которую отстаивает автор, революционна по своей сути: антимонопольное регулирование — это проявление интервенционистской власти государства, используемой частными компаниями в собственных интересах и во вред обществу, а монополистические злоупотребления неразрывно связаны с государственным вмешательством в производство и товарный обмен. Государство — единственный источник монопольной власти и связанных с нею проблем, утверждают профессор Арментано и его единомышленники.

Олаф Герземанн
Ковбойский капитализм
Серия «Экономика»

В книге немецкого исследователя проводится сопоставление американской модели «ковбойского» капитализма и европейской модели «уютного капитализма». Первая модель в большей степени полагается на использование рыночных сил; вторая — на государственную регламентацию различных сторон экономической и социальной жизни в целях достижения большей «социальной справедливости». Сравнение оказывается не в пользу европейской модели, причем не только по показателям, характеризующим экономический рост и эффективность, но и по степени социальной защищенности граждан. Основной вывод состоит в том, что европейская модель, основанная на жесткой регламентации экономической жизни, оказывается гораздо менее конкурентоспособной в современном мире.

Бринк Линдси
Глобализация: повторение пройденного
Серия «Экономика»

Автор предлагает новый взгляд на проблему глобализации, идущий вразрез с расхожими штампами. Экономическая глобализация последних 15—20 лет не является ни уникальной, ни необратимой. Нынешняя волна вызвана не развитием технологий и мифической политикой «рыночного фундаментализма», а всеобщим разочарованием в практике всеобъемлющего государственного регулирования. Проводившаяся с конца 70-х гг. XX в. правительствами разных стран прагматическая политика дерегулирования дала неожиданный эффект в виде бурного развития международной торговли и финансовых рынков. Но дальнейшее движение в этом направлении вовсе не гарантировано. Поступательное развитие мировой экономики и повышение благосостояния широких масс требует более фундаментальных политических и идеологических изменений.

Фридрих фон Хайек
Право, законодательство и свобода
Серия «Политическая наука»

Книга является наиболее развернутым изложением идей автора, лауреата Нобелевской премии по экономике 1974 г., относительно эволюции социальных норм и институтов. Существующие правила и обычаи, институты собственности и контракта, а также такие ценности, как честность и мир, укоренились в обществе в силу своей целесообразности. Но мы не вполне понимаем, как они работают; они установились сами, а не благодаря сознательным усилиям людей. Именно потому, что связь между индивидуальным поведением и всеобъемлющим порядком так трудно поддается предсказанию, не следует думать, что, заставляя людей действовать определенным образом, можно создать действительно жизнеспособное общество. На социально-политической концепции автора основывается его доктрина конституционализма, весьма оригинальная и при этом критическая по отношению к существующим институтам либерально-демократического государства.

Роберт Нисбет
Прогресс: история идеи
Серия «Социология»

Идея прогресса в значительной степени определила облик западной цивилизации. Человечество развивается, «движется вперед», причем это движение понимается в двух аспектах — как накопление знания и как наращивание материального богатства. Рождение идеи прогресса — результат взаимодействия христианства с античными представлениями. Первоначально она была вариацией на тему линейного представления об истории, свойственного иудео-христианской религиозной традиции. В период с 1750 примерно до 1900 г. происходит отделение идеи прогресса от религиозных корней и «срастание» понятий

прогресса и науки. Этот процесс сопровождался угрожающими явлениями: если первоначально прогресс трактовался как расширение человеческой свободы, то примерно со второй половины XIX в. он все более стал пониматься как расширение «управляемости» — попросту говоря, власти абстрактного государства над человеком и природой.

Дипак Лал
Непреднамеренные последствия
Серия «Экономика»

Книга посвященная одному из наиболее актуальных вопросов современной экономической науки — значению культурных предпосылок для экономического роста в разных странах. Это попытка междисциплинарного и кросс-культурного объяснения экономического возвышения Запада (в сравнении и на фоне китайской, индийской и исламской цивилизаций). Обозревая тысячелетний период экономического развития Евразии, автор ищет ответ на вопрос: должна ли модернизация неизбежно сопровождаться вестернизацией, и приходит к выводу о том, что хотя эти два показателя были тесно связаны в экономическом развитии Запада, это условие не всегда выполнялось в остальном мире. В книге разработана новая аналитическая схема, позволяющая инкорпорировать «культуру» в экономический анализ.

Мартин ван Кревельд
Расцвет и упадок государства
Серия «Политическая наука»

Институт государства (state), как он существует в наше время, обладает целым рядом свойств, которые мы считаем само собой разумеющимися. Государство является корпорацией в исконном смысле этого слова — обладает собственным юридическим лицом, отличным от личности правителей; включает в себя правительственный аппарат и совокупность граждан (подданных), но не совпадает ни с тем, ни с другим; имеет четко определенные границы и существует только при условии признания другими государствами и т.д. Но институт такого рода — довольно позднее явление в истории человечества, и нет никаких оснований считать его вечным. Мартин ван Кревельд, известный израильский историк и военный теоретик, описывает процесс зарождения, вызревания и расцвета государства-корпорации. Значительная часть книги посвящена кризису этого института, происходящему на наших глазах. Причина — в потере государством легитимности ввиду его неспособности исполнять взятые на себя обязательства по поддержанию правопорядка, защите от внешних угроз и обеспечению населения «социальными благами». Упадок государства может в обозримом будущем привести к радикальной трансформации всего современного мира.

Мартин ван Кревельд
Трансформация войны
Серия «Военная мысль»

В книге предпринят пересмотр всей парадигмы военно-теоретической мысли, господствующей со времен Клаузевица. Автор предлагает новое видение войны как культурно обусловленного вида человеческой деятельности, в рамках которого организованное насилие ограничено правилами, и тем самым отличающегося от неорганизованного насилия. Современная ситуация связана с фундаментальными сдвигами в социокультурных характеристиках вооруженных конфликтов. Этими изменениями в первую очередь объясняется неспособность традиционных армий вести успешную борьбу с иррегулярными формированиями в локальных конфликтах. Отсутствие адаптации к этим изменениям может дорого стоить современным государствам и угрожать им полной дезинтеграцией.

Томас Шеллинг
Стратегия конфликта
Серия «Международные отношения»

Книга посвящена исследованию общей логики поведения участников конфликтных ситуаций — теории игр. Впервые вышедшая в 1960 г., она стала фундаментальным вкладом в эту науку, заложив основы теории стратегического поведения. Автор обходит без сложного математического аппарата и посвящает значительную часть объема книги практическим приложениям теории, в первую очередь — к сфере международной политики. Предметом рассмотрения являются неантагонистические конфликтные ситуации, когда интересы сторон, хотя и противоречат друг другу, не являются в точности противоположными и требуют определенной кооперации. К числу таких ситуаций относятся, например, военные действия, переговоры о контроле над вооружениями, политика взаимных угроз и т.д.

Лон Л. Фуллер
Мораль права
Серия «Право»

Известный американский правовед Лон Фуллер (1902 – 1978) является одним из крупнейших современных представителей естественно-правового направления в теории права. Данная книга, ставшая классикой, представляет собой систематическое изложение концепции права, основанной на специфических моральных требованиях к праву как таковому. Автор показывает, что к числу этих требований относятся такие, как непротиворечивость, общий характер норм, ясные и понятные нормы, общеизвестность, отсутствие ретроактивных норм, отсутствие неисполнимых требований, стабильность, соответствие административных и судебных действий законам. Эти требования соответствуют самой природе права и являются внешними по отношению к правоустанавливающим институтам. Данная концепция представляет собой разработанную альтернативу распространенной в наше время позитивистской концепции права.